

С. М. Червонная

**СВЕТОТЕНИ МИНУВШЕГО ВЕКА
CV (Curriculum Vitae)
на смутном политическом фоне**

Чебоксары
Издательский дом «Среда»
2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6-46
Ч-45

Червонная С.М.

**Ч-45 Светотени минувшего века. CV (Curriculum Vitae)
на смутном политическом фоне / С.М. Червонная. –
Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 342 с.: илл.**

ISBN 978-5-907313-73-6

«Светотени минувшего века» – книга авторских воспоминаний, записанных в 2016–2020 годах. Эти воспоминания касаются не только личной жизни автора и истории ее семьи, формировавшейся на основе сложного переплетения разных этнических комплексов и корней (русского, польского, литовско-татарского компонентов), разных социальных структур, политических ориентиров и культурно-географических опорных пунктов (Воронеж, городок Рославль на Смоленщине, Владикавказ, Варшава, Херсон, Крым, наконец, Москва – прежде всего и главным образом Москва во всем контрасте ее яркого света и черной тени на протяжении 1930-90-х годов), но также многих вопросов, представляющих интерес для краеведов, историков и исследователей советской культуры, художественной жизни, системы школьного и университетского образования, фантомов господствующей идеологии, духовной идентичности и повседневной жизни москвичей в меняющейся и в то же время во многом почти неизменной атмосфере середины и второй половины XX века. Книга содержит широкий ряд упоминаний и развернутых литературных портретов (представленных в субъективной интерпретации автора) известных деятелей искусства, культуры, науки, политики, партийных функционеров этой эпохи, с которыми автора сводила при различных обстоятельствах судьба.

DOI 10.31483/a-10219
ISBN 978-5-907313-73-6

© Червонная С. М., 2020
© ИД «Среда», оформление, 2020

Оглавление

Об авторе	4
Вместо введения: небезопасный жанр мемуаров	5
ГЛАВА 1. Начало	10
ГЛАВА 2. Отец и тайная родословная по отцовской линии	23
ГЛАВА 3. Мама и ее родословная.....	38
ГЛАВА 4. Кривоникольский, 8 – дом польский	53
ГЛАВА 5. Война. Эвакуация. Туркмения	88
ГЛАВА 6. Школа (1943–1953)	110
ГЛАВА 7. Первая любовь	128
ГЛАВА 8. Наш университет	148
ГЛАВА 9. Работа: полвека полуподневольного труда в советских «шарашках» высшего класса. Искусство, идеология и бюрократия. Границы свободы.....	175
ГЛАВА 10. Ах, лето красное... ..	240
ГЛАВА 11. Литва – окно в Европу?.....	275
Вместо заключения. В треснувшем зеркале поздней переписки	309
Приложения	321
262 избранные работы из 800 публикаций С.М. Червонной (книг, альбомов, каталогов, брошюр, буклетов, журнальных и газетных статей, разделов в коллективных трудах и сборниках, рецензий, переводов с немецкого, английского, польского языков и других изданий, появившихся на протяжении 1958–2020 годов).....	321
О Светлане Червонной – публикации в справочниках, словарях, энциклопедиях	342

Об авторе



Червонная Светлана Михайловна (Czerwonnaja Swietłana), доктор искусствоведения (Диплом ВАК – 1990), профессор (аттестат ВАК – 2004), выпускница Московского Гос. Университета им. М.В. Ломоносова (кафедра истории и теории искусства Исторического факультета МГУ – 1958), до 2010 года – главный научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств (поступила в этот Институт на должность младшего научного сотрудника в 1963 г. и работала непрерывно до 2010 г.), в 1967–68 гг. – главный художник-эксперт Министерства культуры РСФСР, в 1991–1997 гг. – главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (по совместительству), в 1998–2008 гг. – главный научный сотрудник Российского института культурологии (по совместительству), с 2004 года – профессор Исторического факультета Университета им. Николая Коперника в Торуни (Польша). Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Тбилисского Гос. Университета им. Ивана Джавахишвили (1996), Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Карачаево-Черкесского Гос. Университета (2003), Заслуженный деятель искусств Татарской АССР (Республики Татарстан) (1982), член Ассоциации историков искусства и художественных критиков (1991), член Московского Союза художников (1963), почетный член Польского Института исследований мирового искусства (Варшава) (2015).

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ: НЕБЕЗОПАСНЫЙ ЖАНР МЕМУАРОВ

Для чего люди пишут мемуары? Большинство авторов уверяют читателей в том, что хотят рассказать не о себе (или о себе в последнюю очередь), а о времени, о стране, в которой они жили, о людях, иногда знаменитых, с которыми им приходилось встречаться или работать, о своей профессии, о главном деле своей жизни. На самом деле они пишут мемуары все-таки для того, чтобы сохранить собственный след в большой или хотя бы в маленькой, провинциальной, локальной истории, оправдать или объяснить свои поступки, собрать, высечь, как искры, из уже угасающей памяти как можно больше фактов, свидетельствующих о том, что жизнь прожита не даром, не напрасно, убедить современников и потомков в том, что на языке одной пошлейшей рекламы, которая сейчас часто звучит по телевидению, называется «нам есть чем гордиться» («нам» – это во множественном числе от собственного, единственного лица).

Именно все то, что они пишут сами о себе, даже приукрашивая самих себя, преувеличивая свою роль и свои достоинства, сочиняя легенды, касающиеся различных эпизодов их биографии, – это и есть важнейший момент истины. Правда все равно прорвется в таких личных воспоминаниях: правда и о времени, и о стране, и о том окружении, в котором эти люди находились, и о том, чему они верой и правдой служили или с чем отчаянно, успешно или безуспешно боролись.

В трехтомнике Ильи Эренбурга *Люди, годы, жизнь* самые скучные страницы – это литературные портреты тех «великих мира сего», к которым он старался привлечь внимание читателей, а самые интересные страницы – те, на которых он сам о себе – о своих добрых и недобрых делах, надеждах, разочарованиях, страхах – непосредственно рассказывает. В прекрасной книге Марка Захарова *Контакты на разных уровнях* главное – не мудрые уроки театральной режиссуры, не вехи истории театра «Ленком», а те крупицы исповедальных признаний (к сожалению, скупо рассеянные в ее тексте), которые дают представление о его молодости, о его непростой карьере, о том мужестве, какое требовалось в советском обществе, чтобы, буквально по Высоцкому, пройти по натянутой проволоке и две, и три, и все четыре четверти отмеренного судьбой

пути. Лучшие повести и романы Владимира Войновича – от сверкающей сатирическими молниями *Иванькиады* до философского *Замысла* и *Персонального дела* – это рассказы о самом себе, и мальчик Вова, занесенный ветрами военной эвакуации в прикубанскую степь, и «муж беременной жены», отстаивающий в коллективе-кооперативе московских писателей свое человеческое достоинство и свои права, и лишенный советского гражданства великий российский гражданин, нашедший временный приют в баварской деревушке Штокдорф (там мне посчастливилось познакомиться с ним прозрачным декабрьским днем 1991 года), – мне (и наверно, не только мне) интересен гораздо более, чем любой сочиненный персонаж.

Вспоминая имена выдающихся деятелей отечественной культуры, оставивших нам свои мемуары, я, разумеется, не ставлю себя рядом с ними и не надеюсь написать что-либо, что могло бы сравниться с их творениями по литературным качествам или по тому общественному значению, каким обладают воспоминания таких замечательных людей. Столь дерзостный и высокий контекст понадобился мне для защиты авторского права на личную исповедь, на рассказ о своей собственной жизни, на отказ от заверений в том, что в этой книге речь пойдет не обо мне лично, не о моей семье, не о моих близких и друзьях (а порою и недругах), а о целой эпохе, о важных для страны и всего человечества событиях. Речь об этом все-таки, несомненно, пойдет, но только сквозь призму мною пережитого, мною виденного, мне памятного, со мной случившегося.

Намерения авторов мемуаров часто сильно отличаются от результатов. Всем хочется писать правду и только правду, не обманывая читателя. Не всегда это получается. Подводит память, подводит субъективное отношение к тем или иным фактам, людям, событиям. Трудно написать доброе слово о человеке, который причинил тебе много зла, которого ты до сих пор презираешь и ненавидишь. Но это вовсе не значит, что такой человек должен войти в историю в черном свете твоей ненависти или презрения. С содроганием прочитала недавно то, что написал в своей книге *Рельеф памяти* Игорь Светлов о скончавшемся и уже не способном защитить самого себя Виталии Абакумове: «Куратором изобразительного искусства был тогда некий Абакумов – матерый служака, переходивший из одного кабинета в другой. С большим сладостра-

ствием он выкручивал руки МОСХу, пристально наблюдал за молодежью, контролировал печать. Как мы узнали позже, прямо во время открытия Седьмой молодежной Абакумов дал указание, чтобы ни в коем случае ни в одной газете об этой выставке не было даже упоминания»¹. Игорю, наверно, кажется, что он пишет правду, но это такая дикость, такая неправда, такая ложь! Виталий Абакумов был честным, добрым человеком, стремившимся, по мере своих сил и возможностей, никогда не причинять людям зла. Седьмая молодежная выставка состоялась в Москве во многом именно благодаря его доброжелательной по отношению к молодым художникам позиции, которую он сумел отстоять при весьма непростых отношениях с собственным начальством в Московском Горкоме партии, и с лидерами Союза художников РСФСР и Академии художеств СССР, не хотевшими, чтобы эта выставка состоялась. Он не только никому не давал указаний (тем более во время вернисажа) не писать о ней в газетах, но содействовал публикациям и в «Вечерней Москве», и в «Московской правде», тон которых был весьма одобряющим, что не исключало и серьезной критики (в этом легко убедиться, подняв подшивку московских газет этого периода). Никаких рук МОСХу он не выкручивал, любил свою работу, любил МОСХ, и единственным его передвижением «из одного кабинета в другой» был уход с должности инструктора МК КПСС (это случилось в середине 1980-х годов), который он тяжело переживал. Несколько лет он еще проработал в Комитете по делам печати (кстати, на очень невысокой должности), а когда оттуда ему пришлось уйти на пенсию, умер через несколько недель. До приезда в Москву он служил в армии (молодой участник последних месяцев Великой Отечественной войны, он после войны не был демобилизован), ни до каких высоких чинов не дослужился, скитался с семьей по разным гарнизонам и военным городкам в Румынии и Монголии; когда его тестя в начале 1960-х годов перевели в Москву, тот помог ему устроиться на работу в Горком партии. Виталий долго не мог поверить в перемену своей судьбы и сам признавался, что чисто случайно стал «партийным работником». Если бы все «партийные работники» были такими порядочными людьми, как Виталий Абакумов, то жизнь в стране была бы совсем другая.

¹ Светлов И.Е. *Рельеф памяти*. – М.: Канон-Плюс, 2017. – С. 143.

Пишу об этом так подробно не только потому, что считаю себя обязанной защитить честь человека, бывшего моим другом, но и для того, чтобы подчеркнуть, как небезопасен жанр мемуаров: хочешь сказать правду, пишешь искренне то, что кажется тебе неоспоримой истиной, а получается чуть ли не клевета.

Наверно, и я не застрахована от таких ошибок.

Еще более трудно (и опасно в контексте поисков правды) писать о людях, которых ты уважала, любила, которыми восхищалась, которым ты благодарна, как говорится, «по гробу». Твои любовь, обожание, чувство дружбы и признательности вовсе не являются гарантиями объективной оценки того или иного человека, который останется в твоих воспоминаниях в светлом ореоле и таким образом как бы войдет в историю. Здесь возможно очень сильное несоответствие между лелеемым в памяти романтическим идеалом и реальной жесткой действительностью, а воспитать в себе такую дисциплину чувств, чтобы всегда оставаться на объективной почве, наверно, просто непосильная задача. Особенная опасность заключается еще и в том, что когда ты пишешь очень хорошо о человеке, который, вероятно, этого вполне заслуживает, и твоя субъективная оценка вроде бы совпадает с объективной истиной, тебе могут не поверить по какой-то странной причине внутреннего психологического сопротивления, отторжения от того, что тебе кажется столь бесспорным и очевидным, и чем больше добрых (красивых, выспренных, сладких?) слов ты найдешь для характеристики этого человека, тем сильнее окажется читательское подозрение («что-то здесь не так!») и даже скептическое отношение к такому персонажу, что будет несправедливо и очень обидно.

Отдавая себе во всем этом отчет, я все же начинаю писать эту книгу, превращая свой Curriculum vitae (автобиографию, описание жизненного пути) в мемуары широкого тематического радиуса – с заходом в разные десятилетия, в разные предметно-тематические блоки, в разные макро- и микросоциумы (Москва, быт коммунальной квартиры, школа, университет, студенчество, художественная среда, научный мир, партийно-государственная номенклатура советской эпохи, правозащитные и национальные движения народов бывшего СССР, неизвестная и любимая новая родина – Польша – колыбель моих забытых предков, хрупкий рай на беспокойной земле начала нового, XXI века), в разные страны и в ту подверженную удивительным мутациям материю, которую я условно назвала

«смутным политическим фоном» моей жизни. Буду стараться говорить правду и только правду и при этом неизбежно в чем-то обманывать хотя бы уже потому, что не все знаю, не все правильно понимаю, верю в ставшие нерушимыми легенды, да и писать буду не обо всем, а только о том, что хочу сохранить в памяти, безжалостно вычеркивая из этой памяти многое, что было в моей жизни и что сегодня мне очень не нравится. Буду писать только о себе и о том, что сама видела, слышала, переживала, надеясь, что в моей личной жизни другие люди увидят зеркало (буквальное подобие, кривое искажение или контрастную противоположность) того, что случилось или могло случиться с ними, к чему они стремились, чего боялись, что их привлекало, что им угрожало, что просто не могло быть биографией одного человека, а было общей судьбой поколения советских людей, бывших беззащитными «детьми войны», беззаботными нищими студентами эпохи хрущевской «оттепели» и Московского молодежного фестиваля, полубунтарями-полуконформистами времен хищного брежневского социализма и – на короткий, счастливый момент – безымянными героями той «революции достоинства», которая выпала на нашу долю на ломком, как весенняя лыдинка, рубеже 1980–90-х годов. Буду вынуждена в этих воспоминаниях, в основном, оставаться в интерьере (родительского дома; университетской аудитории и студенческого общежития, которым для меня была не бедная Стромынка, а элитарная высотка – МГУ на Ленинских горах, незабываемые, невиданные в убогой Москве «Ленгоры»; ставшего второй Alma Mater Союза художников со всей сложной иерархией его центров, республиканских, областных и городских отделений, выставочных площадок, домов творчества, начальственных кабинетов и демократических форумов; Академии художеств, Министерства культуры, Академии наук и далее по длинной цепочке вплоть до нынешних просторных и блистательных интерьеров нового здания гуманитарных факультетов Университета имени Николая Коперника в Торуне и моей новой, сверкающей зеленым малахитом и красным гранатом квартиры на улице Броневского, из окон которой виден весь прекрасный город – его готические крыши и зеленые дали Быдгощского предместья), но постараюсь как можно шире открыть окна и двери и даже раздвинуть стены этих интерьеров, чтобы ветер времени ворвался в них.

ГЛАВА 1. НАЧАЛО

Я родилась в Москве 7 июня 1936 года. Накануне...

Хотела написать: «Накануне самых трагических событий в истории страны», но решила себя поправить. Наверно, более трагическими – по количеству человеческих жертв, пролитой крови, по зверскому облику преступников и преступлений, по степени массового безумства – были другие периоды нашей истории, в том числе истории XX века: и октябрьская революция, и гражданская война, и уничтожение крестьянства «на фоне сплошной коллективизации», и искусственно организованный «голодомор» – в Поволжье, в Крыму, Украине, и холокост, и ленинградская блокада да и вся «Великая Отечественная война» с ее двусторонним ожесточением и бандитизмом.

Да, бывало всякое, бывало и пострашнее того, что символизировал собою 1937 год. Но условный «1937 год» (в хронологическом измерении он длился дольше: наверно, начался с убийства Кирова в декабре 1934-го и продолжался в 1938 году) был наиболее болезненным и опасным для той части населения, к которой наша семья принадлежала: для советской интеллигенции, может быть, прежде всего для столичной, московской интеллигенции, для партийных работников и «военспецов», среди которых так легко было найти «троцкистов» (а мой отец был членом РСДРП с апреля 1917 года и «комбригом» в гражданской войне), для советских граждан нерусской национальности и иностранного происхождения (а мой отец был поляком, родившимся в Варшаве), для «бывших» – дворян и «буржуев» (а мои предки, хотя к дореволюционной аристократии и не принадлежали, уж никак не были людьми рабочего или крестьянского происхождения). Так что «1937 год», в канун или, может быть, уже в разгар которого я появилась на свет, должен был ударить по нашей семье: вероятность прямого попадания была многократно выше, чем, скажем, в 1918, в 1920, в 1929 или даже в 1941–1945 годах. Каким-то колдовским образом не ударил, прошел стороной, только смертным холодом от него повеяло, и это чувство смертного холода осталось на всю жизнь. Не только у людей взрослых, понимавших, что творится вокруг, знавших, что означает ночной звонок в дверь или приглушенное урчание мотора «черного во-

рона», въезжающего во двор, но, наверно, у детей и даже у младенцев, как-то чувствующих своей обнаженной нервной системой безмолвную, но пронзительную тревогу.

Я потом часто спрашивала себя, почему так случилось, что террор 1937 года обошел нашу семью стороной, хотя, образно говоря, «снаряды» разрывались буквально рядом, слева, справа, спереди, сзади, все более приближаясь к нашему дому: уничтожили маршала Тухачевского, в штабе которого моя мама работала машинисткой в 1920-х годах, с женой которого – Ниной – и сестрой – Елизаветой – дружила; который часто бывал у нас дома уже в 1930-х годах, играл с моим папой в шахматы, помог установить в нашей квартире еще редкий в ту пору в Москве телефон под предлогом необходимости оставаться на связи в те часы, когда он гостил у нас (и телефон на имя Тухачевского в нашей квартире оставался и после его расстрела!); «взяли» близкую подругу мамы – Руфину, мужем которой был племянник Троцкого Борис Бронштейн (а мама еще продолжала навещать ее мать Матрену, помогала ей деньгами); вызвали в Москву из Парижа друга мамы Аркадия Семенова, бывшего «дипкурьера», потом работника советского торгпредства во Франции и сразу же посадили (после освобождения он нам рассказывал, через какой пыточный ад он прошел, прежде чем попал в лагерь; выжил чудом) – об их давней дружбе с мамой знал, кажется, весь «Наркоминдел», где они одновременно какое-то время работали; для папы самым страшным, самым близким ударом был арест Николая Федоровича Доброхотова, под руководством которого он работал в Херсонском Реввоенсовете в 1920 году. Отца даже вызывали в КГБ (или как там этот Комитет тогда назывался) в качестве свидетеля в надежде, что он даст показания о «вражеской, троцкистской» деятельности Доброхотова; отец отказался давать такие показания, сказал, что знает Доброхотова как честного коммуниста и революционера, эта запись осталась в «деле Доброхотова» и была опубликована украинскими исследователями после его посмертной реабилитации. Такими словами отец, казалось бы, подписал себе смертный приговор, но вот выпустили его железные щупальца КГБ, и маму не тронули, и никто в нашей семье не был репрессирован.

Я знаю все логичные ответы на собственные «почему». Во-первых, для отца оказалось спасением то, что 1937 год застал его в

Москве, а не в Украине, где он работал в 1920-х годах: там он никуда бы не ушел из разрастающихся клубков «групповых дел», «троцкистских связей». «нацдемовских уклонов» и т. п., а в Москве он был сравнительно новым человеком, не мог участвовать в «группировках», разоблаченных в 1930-х годах, не мелькал в воспоминаниях и в показаниях, выбиваемых под пытками, обреченных участников этих «группировок»; в Украине же к 1937 году о нем уже немного забыли, вряд ли вспоминали по ходу проводившихся там следствий, во всяком случае он не был таким человеком, за которым украинским следователям и прокурорам представлялось бы целесообразным, осложняя себе жизнь, ехать в Москву. Во-вторых (и это, может быть, самое главное), мой отец не занимал слишком высоких постов, не мелькал на самом «верху», где, конечно, попал бы в поле подозрительного внимания самого вождя и был бы обречен. У отца было поразительное внутреннее чувство какой-то меры или самодисциплины, удерживавшее его от соблазнов сделать себе блестящую карьеру. С его образованием, интеллектом, заслугами военного времени, дореволюционным партийным стажем он мог бы стать министром, крупным военачальником, но он не был ни министром, ни маршалом, ни генералом. В «Наркомлегпроме» (Наркомате / Министерстве легкой промышленности), в котором он работал в Москве в 1937 году, он не был даже начальником крупного Управления, только начальником небольшого Отдела художественной промышленности и народных промыслов. В это время «органы» громили Наркоминдел (Министерство иностранных дел), Наркомат обороны, Наркомат тяжелой промышленности, поедали, как пауки, сами себя вечно перестраивавшихся «чекистских» структурах ГПУ – НКВД – позднейшего КГБ (Комитета Государственной Безопасности). До Наркомлегпрома у них просто не дошли руки в длившемся несколько лет «1937 году». Если бы отец занимал высокую должность, если бы он находился в эпицентре советских и партийных властных структур, если бы был, к примеру, делегатом партийного съезда 1934 года, он ни за что бы не уцелел. На его скромной должности у него был шанс уцелеть, и этот шанс счастливо выпал на его долю.

То же самое, только немного по-другому касается мамы и бабушки. Бабушка при советской власти, вообще, никогда нигде не

работала, ни в каком учреждении не подвергалась контролю Отдела кадров, не заполняла анкет, в которых пришлось бы написать что-то о собственном «социальном происхождении» (отнюдь не рабоче-крестьянском) или о судьбе своего сына, погибшего в Анапе в 1920 году (не в бою, а от тифа, но так или иначе по «ту»), белогвардейскую сторону баррикад еще продолжавшейся гражданской войны). Мама нигде не работала (точнее, нигде не числилась на работе) после того, как вышла замуж в 1932 году. Если бы она к 1937 году еще продолжала работать в Наркомате иностранных дел, откуда исчезли все ее бывшие начальники и сослуживцы, ей ни за что было бы не сносить головы. За «домохозяйками» и «иждивенками» в 1937 году, конечно, тоже иногда «приходили» (по доносу, по случайному стечению обстоятельств, иногда просто по ошибке), но это не были массовые аресты, еще не была заброшена такая густая сеть. Можно было уцелеть, и мама и бабушка уцелели.

Вообще, решающую роль сыграло здесь то, что наша семья была очень маленькая: в 1937 году всего четыре человека – папа, мама, бабушка и я. Всего четыре человека не только в узком кругу проживавших вместе людей, но в кругу всех родственных связей, которые поддавались какой бы то ни было фиксации. Не было ни родных, ни двоюродных, ни троюродных сестер или братьев, тетей или дядей, племянников или внуков – абсолютно никого. На самом деле, физически, наверно, были: и в Польше остались у отца дальние родственники, и у бабушки была сестра Александра со множеством детей, а к 1937 году, возможно, и внуков, и у моего деда оставалась дочь от первого брака, то есть мамина сводная сестра – Инна, вероятно, в ту пору еще живая и имевшая своих детей, но со всеми этими родственниками у нашей семьи не было никаких связей, никаких контактов, ни малейшего понятия, живы ли они, где они, даже как зовут их детей и внуков. Отсутствие родственников было залогом спасения. Если бы арестованным «троцкистом» оказался брат, дядя, племянник, дедушка, это автоматически могло бы повлечь аресты в нашей семье. Но не было ни у кого из нас в 1937 году ни брата, ни дяди, ни племянника, ни дедушки, объявленных «врагами народа», и мы уцелели.

Конечно, все равно уцелели чудом. Вероятность «попадания» смертельного удара и в нашу семью, несомненно, существовала. Сработал фактор везения, просто счастливого везения. Наверно, он

был как-то связан и с личными, человеческими качествами отца, мамы, бабушки. Понимаю, что смешно об этом писать, потому что «брали» не только скверных, наглых, но и скромных, добрых, милых, самых безупречных в моральном отношении людей, но все-таки люди, если можно так сказать, «конфликтогенные», вызывавшие к себе неприязнь, зависть, ревность, антипатию, чаще были подвергнуты опасности стать жертвой доноса. Мой отец был человеком исключительным: его обожали женщины (причем ни одну из них он никогда не обманул, не обидел, не дал повод для ненависти после любви), его очень любили и уважали друзья, мужчины (мужская дружба была для него превыше всего, и они это чувствовали), ему не слишком завидовали, потому что он не «возносился», не подчеркивал и даже, наверно, не чувствовал собственного превосходства над многими, не «лез наверх», не был карьеристом. Не поднялась ни у кого рука написать на него донос. К тому же (и это тоже очень важно) он был очень осторожным, сдержанным человеком: никогда не болтал, не разглаживал на политические темы, не рассказывал анекдоты, не делился с посторонними (и даже с близкими) людьми Бог весть какими личными воспоминаниями. Он умел молчать (чего я совершенно от него не унаследовала), и даже если бы нашелся в его окружении ярый недруг, тому просто нечего было бы процитировать из высказываний Михаила Червонного, которые можно было бы оценить как враждебные власти или хотя бы как двусмысленные. И отец умел во многом отказывать себе именно в силу своей осторожности, сдержанности, самодисциплины. В 1937 году ему предложили поездку в Париж на Всемирную выставку, где он должен был организовать экспозицию произведений художественной промышленности и кустарных промыслов в павильоне СССР. Поездка казалась роскошной, соблазнительной, можно было ехать вместе с женой. Отец принес домой анкеты, которые надо было заполнить, эти анкеты лежали на письменном бюро; мама, мечтавшая о Париже, торопила его, он медлил и, наконец, сказал: «Знаешь, Зоюшенька, куда мы с Тобой не поедем». А уж если он принял решение, то поколебать его было невозможно никаким доводами, просьбами, возражениями. Он ничего не объяснял, просто принял решение, и они не поехали. В Париж поехал, можно сказать, помчался его заместитель, на которого возможность такой поездки свалилась, как неожиданное счастье;

по возвращении из Парижа его с женой «взяли» прямо на Белорусском вокзале.

Моя мама была, конечно, совсем не такой предусмотрительной и осторожной, но и ее, наверно, спасало присущее ей человеческое обаяние. В «1937 году» (в 1934–1938 годах) она была молода, очаровательна, буквально излучала какой-то особенный свет, легкость, доверчивость, нежность; после моего рождения она особенно расцвела.

Именно в это время в ее жизни произошел эпизод, который мог (должен был!) привести к гибели всей нашей семьи. Соседи по дому, которые завидовали тому, что в нашей квартире есть балкон (а у них не было балкона), написали в КГБ донос с сообщением о том, что в нашей квартире бывал Тухачевский и установил телефон на свое имя. Это случилось в начале зимы 1937/38 года, Тухачевского расстреляли несколько месяцев тому назад, всю его семью и многих сослуживцев уже уничтожили. Маму вызвали на Лубянку, отобрали при входе паспорт, в кабинете следователя дали ей бумагу и попросили написать объяснение по вопросу об установке телефона. Мама сидела одна в комнате, не снимая шубки, было ей жарко, страшно, и объятая ужасом она писала, кажется, уже третью или четвертую страницу, подробно и честно рассказывая о том, как она работала в штабе Тухачевского, как потом подружилась с его семьей, как он приходил к нам в гости, как велел провести в нашу квартиру телефон, чтобы его могли найти в экстренных обстоятельствах. В комнату вошел офицер (никогда не узнаю ни его имени, ни фамилии, ни даже звания, потому что мама плохо разбиралась в знаках отличия да наверно и не разглядела их), встал за ее спиной, просматривая все, что она пишет, и тихо сказал: «Порвите все это и напишите, что когда Вы по обмену въехали в эту квартиру, телефон уже стоял и при каких обстоятельствах и на чье имя он поставлен, Вам неизвестно. Больше ничего». Подписал ей пропуск на выход, и она вернулась домой. Я не знаю, что это было: чудо, случай, возможно просто грубый эгоистический расчет (если «органы» уже отчитались, что дело Тухачевского все «расчищено», то обнаружить такой недосмотр в собственной работе было не в их интересах); может быть, план по арестам на этот месяц был уже выполнен и перевыполнен, и эта женщина в шубке была там никому не нужна; может быть, какие-то новые веяния по коридорам

Лубянки гуляли и в кадровых хитросплетениях надо было кому-то подставить ножку, кого-то подозреваемого не посадить, а освободить. Ничего не знаю. В проснувшуюся совесть офицера той «госбезопасности» верю слабо, но вот в то, что шевельнулось в его душе что-то вроде жалости, сочувствия, симпатии к этой милой светленькой дурочке, которая сама лезет в страшную петлю, – верю. Этот человек отлично знал, во что уже через несколько часов после ареста превратится очаровательная, доверчивая молодая женщина, оставившая дома годовалую дочку, и он спас ее от этой участи. Может быть, если бы мама была другая – злобная, агрессивная, грубая, просто несимпатичная, этого бы не случилось.

Погрузившись в атмосферу «кануна» (а может быть уже разгара) трагического «1937 года», в которой я появилась на свет, я все никак не могу вернуться к самому факту своего рождения и к первым месяцам, может быть, к первым двум годам существования на свете, соответствующим понятию «начало» (начало моей жизни – младенчество).

Итак, был ясный солнечный июньский полдень (мама говорила, что я родилась в полдень). Наверно, день 7 июня был не такой теплый, как теперь это обычно бывает (лето!): в первой половине XX века климат в Москве, кажется, был более холодным; судя по фотографиям, даже 22 июня люди на улицах, которые замерли и слушают по радио известие о начале войны, одеты в теплые пальто и шапки. Может быть, было прохладно, но солнце, видимо, точно светило, или во всяком случае так казалось моей маме, которая находилась в родильном доме имени Грауэрмана около Арбатской площади.

Спустя 20 лет в том же доме родился мой сын Дмитрий, был осенний вечер (20 сентября 1956 года), и солнце тогда уж точно не светило.

Мама рассказывала, что родила меня почти без боли, не испытыв при родах никаких страданий. Не знаю, возможно ли такое чудо, но маме я верю, и мысль о том, что хотя бы при своем рождении я не причинила ей страданий, доставляет мне радость.

Из роддома меня привезли домой – в большую, по тем меркам и временам прекрасную квартиру в многоэтажном доме на Лубянской площади (родители и бабушка жили в этой квартире сравнительно недавно, после удачного обмена, который они совершили,

«съехавшись», то есть обменяв папину комнату, которую он получил после перевода из Украины в Москву, и квартиру в Варсанюфьевском переулке, где раньше жили бабушка и мама, на одну большую квартиру на Лубянке). Мы жили в этой квартире до зимы 1938–39 года, и как ни странно, каким-то проблемным младенческого сознания я что-то в этой квартире помню: золотистый паркет (потом в Кривоникольском переулке у нас не было паркета, полы были застелены темным линолеумом), большой красивый буфет «Наполеон» (при переезде на Кривоникольский его пришлось то ли продать, то ли просто бросить, поскольку в квартиру с низким потолком он не влезал), кровать, застеленную желтым кружевным покрывалом, связанным руками моей бабушки. Помню маму в голубом платье, ее нежность. Ее живописный портрет, сделанный около 1936 года известным российским художником первой половины XX века (работавшим сначала в Казани, потом в Москве) Николаем Михайловым (Диомиди), мне кажется очень точным «попаданием»: и нежность, и доверчивость, и легкость (уж никак не тяжелый и не угрюмый характер) – все здесь, как на ладони.

Балкона, который мог сыграть такую трагическую роль в жизни нашей семьи, не помню. Видимо, я засыпала сразу же, как только коляску со мной на этот балкон вывозили. Но сейчас мне кажется, что мои младенческие сны на этом балконе, который висел над двором той самой страшной «Лубянки», куда въезжали «черные вороны» с новыми жертвами очередных арестов, должны были на всю оставшуюся жизнь как-то вкачать в мою кровь это ощущение страха, кошмара пребывания над бездной, в которой происходит нечто ужасное. Ну, просто не может быть, чтобы ребенок, который в течение первых полутора лет своей жизни вот так, каждый день, висел над самым эпицентром «1937 года», не заразился чувством страха, собственного бессилия и собственной невольной причастности к тому, что здесь происходит.

Но, – наверно, к нашему счастью, – начальство «Лубянки» в том протяженном «1937 году» довольно скоро сориентировалось и сообразило, что никакой, заселенный жильцами дом с окнами и балконами, выходящими в сторону этого грозного ведомства, здесь не нужен, что само здание, освобожденное от жильцов, пригодится для его нужд и расширяющихся проектов, и нас всех просто выгнали из этого дома, наспех разделив между жильцами ордера

(«жировки») – направления в другие районы Москвы, в другие дома и квартиры. Нам досталось направление в дом 8 по Кривоникольскому переулку, с которым связан новый, следующий этап моей жизни – довоенное детство, заполненное уже многими образами и эпизодами, оставшимися в памяти.

Как нас выселяли из дома на Лубянке, я не помню, но по рассказам мамы знаю, что все произошло очень быстро, на сборы и вы провождение из квартиры дали буквально несколько часов (потом эта практика стремительных эвакуаций применялась при депортации целых народов, на нашем доме она была в миниатюре опробована). Из дома выгнали сразу, но с раздачей «ордеров» была задержка, и люди долго сидели на улице, среди своих чемоданов, узлов и мебели, которую смогли и успели вынести; маленьких детей держали на руках; боялись да и не могли никуда отлучиться. Была зима, было холодно, и мама, в страхе, что я простужусь и заболею, не выдержала и что-то сказала военному чиновнику (кагебисту), который нашим выселением и расселением занимался, в том духе, что у нас не фашистское государство и нельзя детей держать на морозе на улице. Что он ей ответил (кажется, «Поосторожнее, гражданочка...») и как он на нее посмотрел, на минуту ее отрезвило, ужаснуло и заставило замолчать, но в общем-то моя мама была нерасчетливой, неосторожной, наивной, доверчивой и могла сказать то, что она думает, не считаясь с последствиями, особенно в тех случаях, когда ей казалось, что она защищает своего ребенка. Папы с нами тогда не было, он «бегал» по каким-то инстанциям в надежде получить более-менее сносное направление на новое место жительства (о компенсации утраченного жилья в соответствии с его ценностью не было и речи, лишь бы хоть что-то не самое страшное и не самое убогое получить) и пришел, наконец, с направлением в «польский дом» (как это выяснилось позднее), то есть в дом 8 по Кривоникольскому переулку, в квартиру 23, откуда только что вывезли в «детский распределитель» маленьких детей, оставшихся после произведенного накануне ареста проживавшей там польской семьи. Последняя картина, которая осталась в памяти моей мамы, связанная с прощанием с домом на Лубянке, – это выбрасываемые на улицу белоснежные ванны, не нужные новым хозяевам служебных кабинетов, в которые переделывались бывшие

квартиры. Вместе с ваннами вскоре были сокрушены также балконы, и жилой дом (мой первый родной дом) навсегда исчез за гранитными стенами расширившейся «Лубянки», видимо став филиалом ее пыточных камер и следственных лабораторий.

Если кто-нибудь скажет, что нет в этом никакой многозначительной символики, я с ним не соглашусь. Говорят, что любовь к родине начинается с любви к отчему дому, к родному дому, в котором человек увидел свет. Хозяева той страны, в которой я родилась, у меня этот дом отняли, и я не знаю, что я должна любить.

Кроме Москвы «1937 года», я каким-то чудом помню зеленый мир Подмосковья. До войны мы каждое лето «снимали» дачу (адреса подмосковных поселков менялись – Удельная, Валентиновка, Перловка, Быково, еще что-то), и меня вывозили на дачу, где мы с бабушкой, а иногда и с «домработницей»-няней (эти «домработницы» тоже менялись, помню только одну – девушку Фросю) жили постоянно, а мама и папа приезжали из Москвы на воскресные дни (субботы в те времена еще были рабочими днями, так что «уик-энды» со счастливой возможностью видеть сразу и папу, и маму были очень короткими).

Среди дачных дней я на всю жизнь запомнила свой первый «день рождения» – 7 июня 1937 года, потому что в этот день я научилась ходить. До этого времени тоже как-то передвигалась, за что-то цепляясь и держась, а тут пошла сама. Няня меня отпустила, а мама, только что приехавшая на дачу, находившаяся в нескольких шагах от нас, присела на корточки, чтобы быть ближе к моему росту, и протянула ко мне руки, зовя меня к себе. И я побежала, не пошла, а именно побежала, чтобы упасть в конце этого пробега в ее объятия, и запомнила навсегда, как мои ноги (помню светлые туфельки и носочки, от которых не отрывала глаз) несут меня по зеленой траве и как земля стремительно летит мне навстречу (именно не я бегу, а земля бежит, набирая стремительные обороты). Шок от нового ощущения, понимание своего рода перехода в новый статус (я становлюсь другим человеком, я умею ходить!) были такими сильными, что пелена младенческого беспамятства рассеялась, расступилась, и я научилась в этот день не только ходить, но и помнить, что со мной происходит (пока, разумеется, далеко не всё, а лишь важнейшие эпизоды, фрагменты).

Вот эти памятные солнечные картины моей младенческой и очень ранней детской поры – все того же, продолжающегося несколько лет «1937 года» заставляют меня сегодня задуматься, права ли я, представляя весь этот период в одном черном свете. Конечно, были страх, отчаяние, чувство собственного бессилия и постоянной угрозы (взрослые это понимали, ребенок мог только инстинктивно ощущать), но ведь было и счастье, естественное счастье вступающего в жизнь человека, великое счастье безграничной любви к своим близким и их встречного обожания. Как-то очень странно совмещались друг с другом эти несчастье и счастье. Конечно, проще простого отделить от государственного террора личную, семейную жизнь и втолковать нынешним малахольным ветеранам-коммунистам, что они напрасно принимают за достижения «социализма» (кровавого, сталинского социализма второй половины 1930-х годов) свое естественное счастье, связанное с тем, что они начинали жить, любили, – в общем, как в песне: «как молоды мы были», и этой молодостью (в еще большей степени здоровым, не омраченным никакими заботами детством) объясняется их естественная способность радоваться каждому дню: социалистический строй, мудрый вождь и зоркое око госбезопасности к этому не имеют никакого отношения. Но ведь на самом деле все это как-то сложнее, и недостаточно отделить одно от другого, чтобы все встало на свои места. Чудовищная мимикрия этого сталинского социализма заключалась в том, что он принимал не только зверское, но и человеческое обличье, и неслучайно гениальная фантазия Оруэлла порождала представления о министерствах мира и любви. Это был не только маскарад, не только словесный блуд, не только цинизм «ряженных», отлично отдававших себе отчет в том, какими делами занимаются все эти министерства мира и любви. Некое безумие веры витало над всем народом, и если ребенок мог инстинктивно ощущать кошмар 1937 года, он так же инстинктивно должен был ощущать и этот массовый энтузиазм, подъем, взлет каких-то невероятных надежд, искренность веры в то, что мы строим счастливый мир и справедливое общество.

Я не помню, когда я впервые увидела скульптурную композицию Веры Мухиной *Рабочий и колхозница*, созданную в 1937 году, но знаю, что я росла под ее крыльями – крыльями, распрямленными для свободного полета и победоносного движения вперед. Моей

колыбельной была песня *Широка страна моя родная* с ее торжественным заверением («Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»). Она гремела, наверно, из всех радиопродукторов, и люди не смеялись над этой бессмыслицей, а искренне этому верили (им это было легко, ибо большинство из них, действительно, никакой другой страны, кроме Страны Советов, не знали и в глаза не видели).

Символом начала моей жизни было построенное в Москве метро (первая его «очередь» открылась 15 мая 1935 года). Я тоже не помню и не знаю, когда меня первый раз ввели или внесли под его своды, но видимо, это случилось очень рано, ибо ощущение, что рядом существует, светит своими огнями, гремит поездами, шелестит мягкими эскалаторами («лестницами-чудесницами») метро, относится к самым первым представлениям об окружающем мире и о вещах, без которых жизнь просто немыслима. В этом ощущении постоянно существующего рядом и стремительно куда-то летящего метро было невыразимое словами чувство торжества и радости. Это было не естественное, природное, а безусловно социально-политическое явление, и каким-то образом «всенародная гордость» (по поводу того, что «мы такое метро построили»), нагнетаемая до гигантских размеров всеми прессами и насосами массовой пропаганды, проникала в сознание и мироощущение ребенка, и это проникновение совершалось легко, поскольку станции были, действительно, чистыми и красивыми и в светлых подземных дворцах как-то легко дышалось. Фотография, которая сохранилась в семейном альбоме (рядом с которой рукой моей мамы написано «Любительница путешествий в метро»), относится к более позднему периоду: мне там уже три года, вероятно, это осень 1939-го или ранняя весна 1940 года, но по сути она «родом» из того же, просторного «1937 года». Весь его смутный мрак каким-то невероятным образом приглушается, прячется, растворяется в ослепительном солнечном свете, заполняющем весь мир. Все вокруг красиво и чисто, приведено в порядок, проникнуто бодростью и вполне соответствует поэтике написанных в год моего рождения стихотворных строф Маяковского, заверяющих – каждого сомневающегося – в том, что «жизнь хороша, и жить хорошо», и «моя милиция меня бережет». Даже этот легкий павильон с красивым

названием «Нарзан», выложенным золотистыми буквами, увенчанный невиданным кавказским орлом, с наглухо закрытыми ставнями (нарзану-то здесь на самом деле не купишь) что-то обещает москвичам, напоминая о том, что на высоте этого орлиного полета кто-то как-то о них заботится.

Не в буквальном, а в символическом смысле яркое солнце светило в Москве непрерывно на протяжении всего «1937 года» (между прочим, и Никита Михалков это почувствовал, назвав один из лучших фильмов о том времени словами, заимствованными, вернее переделанными из популярного романа, – «Утомленные солнцем»), и в этом солнечном свете, полыхающем над черным мраком вечной мерзлоты, начиналась моя жизнь.

ГЛАВА 2. ОТЕЦ И ТАЙНАЯ РОДОСЛОВНАЯ ПО ОТЦОВСКОЙ ЛИНИИ

Мой отец – Михал Мечислав (в российской традиции имен и отчеств – Михаил Александрович) Червонный родился в Варшаве 31 декабря 1898 года, умер в Москве 9 ноября 1968 года, немного не дожив до своего 70-летия.

Я бесконечно люблю своего отца – любила всегда, люблю сейчас, в настоящем времени, говорю с ним, обращаюсь к нему. За все время, когда он был рядом со мной и когда его уже не было, ни единая тень сомнения, разочарования, раздражения не упала на это мое чувство безграничного доверия, безграничной любви. Я не знаю, есть ли другой такой человек на земле, которому, как мне, дано такое счастье любви *beyond the limits* (почему-то захотелось выразить эту мысль по-английски), есть ли такой ребенок, на которого родной отец никогда не повысил голоса, не поднял руку (даже представить немыслимо, чтобы он как-то наказал меня), возможны ли, вообще, такие отношения между отцом и дочерью вот уж буквально *sans douts et questions* (без тени сомнения и упрека).

Все это чистая правда, но, Боже мой, какой же сложный клубок противоречий в ней заключается, каким страшным деформациям она подвержена! Счастье этой любви оборачивалось таким глубоким горем расставания (двойного: первый раз, когда он ушел из семьи, второй раз, когда он умер), что я просто не знаю, есть ли другой такой человек на земле, который мог бы пережить такое горе, не смягченное никакой старой затаенной обидой, никакой возможностью самого отца в чем-то обвинить, как-то от него отстраниться (тогда было бы легче это горе пережить).

В вечной, как мир, парадигме «отцы и дети» миллионы детей относятся к своим отцам совсем не так однозначно, как я, не сотворяют себе ни идеалов, ни кумиров, видят в своих отцах недостатки, слабости, пороки, порою непростительные, но, наверно, среди этих детей, даже самых *не любящих* своих отцов, не найдется (или трудно будет найти) такого, как я, неблагодарного человека, не только проявлявшего невнимание, черствость к родному отцу (очень нуждавшемуся во внимании и сочувствии, особенно когда с ним случилось несчастье в 1946 году: он попал под машину, стал

инвалидом, с большим трудом ходил на больных ногах, а я, пионерка-школьница-отличница, жила себе, как ни в чем не бывало, между прочим, на его деньги жила, училась, летом отдыхала на даче или у моря), но хуже, много хуже того – человека, фактически своего отца убившего.

Кажется, Виктор Ерофеев свою книгу воспоминаний начинал с признания «Я убил своего отца». Он, однако, все-таки дурака валял, немного кокетничал, немного ёрничал и совсем не раскаивался, рассказывая о том, что его участие в диссидентском движении стоило его отцу дипломатической карьеры. У меня к самой себе совсем другой счет. Отец, гордившийся моими успехами, не пережил того сокрушительного краха, который произошел в моей министерской работе (я лишилась высокой должности главного художника-эксперта Министерства культуры РСФСР) да и в личной жизни осенью 1968 года. Тогда вокруг моего имени, вокруг моего романа с Юрием Титовым, попавшим в капкан КПК (перемоловшей тысячи жизней Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС), разразился громкий скандал. Отец, наверно, узнал последним (и не от меня) о том, о чем вся художественная Москва и вся Россия уже судачила. Ни единого вопроса он мне не задал, ни единого упрека не сделал (его деликатность, тактичность, выдержка была исключительной), но я уверена в том, что виновата и в том первом сердечном приступе, с которым он слег в больницу в октябре, сразу после Второго Съезда художников РСФСР, и в том втором сердечном приступе ноябрьской ночью, которого он уже не пережил. Мачеха позвонила мне утром 10 ноября и сказала, что отца больше нет, я закричала: «Ты врешь!».

Вот такая любовь, которая убивает, и такое счастье, которое оборачивается непереносимым горем.

А доверие?

Миллионы детей, которые при социологических опросах, наверно, ответили бы, что они «не доверяют» или «не вполне доверяют» своим отцам, все-таки не сомневаются в происхождении, семейном прошлом, наконец, в имени и подлинной фамилии своего отца. Я же, доверяя своему отцу безгранично, не знаю, кто он.

Червонный? Разве такую фамилию носил мальчик, родившийся в богатом каменном особняке, возведенном в стиле модерн на

улице Шопена в Варшаве, и крещеный в соседнем костеле Св. Михаила в первый январский день 1899 года – день именин Мечислава? Разве такую фамилию носил его отец, бывший инженером крупного механического завода «F. Puls» (социальный статус, по тем временам, «генеральский»)? Но я не знаю достоверно никакой иной своей «родовой» фамилии по отцовской линии. Во всех анкетах, которые заполнял мой отец, во всех документах, включая сохранившиеся делегатские мандаты различных «съездов Советов» и партийный билет, выданный ему Лефортово-Бологушинским райкомом партии при вступлении в РСДРП в апреле 1917 года, стоит фамилия «Червонный». Кажется, один единственный раз в своей жизни, раздраженный фамильярным обращением к нему по фамилии одного из гостей, он, как рассказывала мне присутствовавшая при этой сцене моя мама, побледнел и резко ответил: «Я – не Червонный, я граф Суходольский!». Когда потом она пыталась в разговоре с ним вернуться к этому признанию, он отвечал: «Что ты, Зоюшенька, о чем ты говоришь, наверно, я много выпил и так пошутил, ничего не помню». Я, спустя много лет, не смея спросить прямо о его фамилии (псевдониме?), попыталась подойти к вопросу о его происхождении с другой стороны и спросила, как девичья фамилия его матери Марии. Он ответил после короткой паузы: «Она – из дома Бонч-Тарнаковских». Вот и все, что я знаю. Кто эти Бонч-Тарнаковские, кто этот граф Суходольский, кто Вы, пан, или мистер, или товарищ Червонный? Тайна, сохранение которой спасло ему жизнь в лихие годы сталинского террора. Тайна, которую он унес с собой в могилу (в огонь кремации).

А национальность? Да, поляк, конечно, поляк – во всех легитимациях, паспортах, анкетах (кроме одной, начала 1920-х годов, где в графе «национальность» он написал своей рукой «Англичанин»), во всех его симпатиях, чувствах, воспоминаниях о Варшаве, в потрясающей поэтической дедикации на подаренном мне к 20-летию альбоме *Варшава*, – во всем поляк.

Наконец, его внешность – это просто идеальный, классический образ поляка, и хотя физическая антропология – наука далеко не точная, трудно усомниться в польском происхождении человека глядя на его фотографии.

Я позволю себе, наверно, не совсем дозволенный литературный прием и попытаюсь описать внешность моего отца (конечно, до

случившегося с ним в 1946 году несчастья) словами нашего земляка (не только в широком, польском, но и в узком значении этого понятия – человека, жившего в том же доме 8 по Кривоникольскому переулку в Москве, правда покинувшего этот дом за два десятилетия до того, как отцу выделили там квартиру), а именно Вацлава Ледницкого. Он писал не об отце, которого он, естественно, в силу 20-тилетней дистанции во времени их пребывания в Москве не мог знать, а о своем друге, который стал Послом Второй Польской Республики в СССР, Вацлаве Гжибовском.

«...После майского переворота Гжибовский был назначен на должность руководителя администрации Председателя Совета Министров Бартеля, а затем стал Послом Польской Республики в Праге [...] и, наконец, Послом в Москве. На этой должности он находился вплоть до момента советского нападения на Польшу в сентябре 1939 года [...]. В тот период, когда Гжибовский был Послом Польской Республики в Москве, его внешность и манеры производили на всех сильнейшее впечатление. Тонкие черты лица, молодое лицо и совершенно седая голова, голубые глаза и прекрасно сочетающийся с их цветом темно-синий костюм, синева сапфирового перстня с печатью на пальце – все это делало его похожим на персонаж с портрета какого-нибудь художника-импрессиониста»².

Прочитав эти слова в *Дневниках (Записках)* Ледницкого, я была просто потрясена тем, как абсолютно точно, зеркально точно созданный им литературный портрет отвечает облику моего отца примерно того же времени – конца 1930-х годов. Я помню своего отца именно таким, точно таким (разве что перстней он никогда не носил), и поскольку лучше Ледницкого сказать не сумею, просто перевожу его слова на русский язык.

Это портрет Михаила Червонного, в которого, кажется, влюблялись все женщины, каким только удавалось перехватить взгляд его серо-голубых глаз, загоравшихся небесно-синим огнем. Очарование и магнитное притяжение его личности обладали огромной силой.

Нет, я не сомневаюсь в его польском происхождении, но есть два вопроса, на которые мне трудно найти ответ.

² Lednicki W. *Pamiętniki*. – Т. II. Londyn: B. Świdorski, 1967. – С. 80–81. Здесь и далее все цитаты из польских источников приводятся в авторском переводе на русский язык.

Первый касается языка. Он знал польский язык, хотя в конце жизни говорил по-польски с трудом, медленно вспоминая и подыскивая ускользавшие из его памяти слова. Знать польский язык, который не преподавали (как французский, немецкий или английский) в российских гимназиях и школах, – это значит жить, хотя бы какое-то время, в детстве, в юности, в Польше. Отец не знал даже украинский язык ³, хотя почти 15 лет (с 1918 по 1932 год) жил и работал в Украине. Следовательно, польский был его родным языком? Но отец никогда не говорил по-русски с польским акцентом. Весь наш «польский дом» (Кривоникольский, 8, о котором дальше подробно еще напишу) говорил с польским акцентом, а русский язык моего отца, и устный, и письменный, был просто безупречен и совершенно свободен от полонизмов, которые многие поляки, даже погруженные надолго в иную этническую среду, до конца своих дней не могут изжить.

Возможно, в Варшаве он учился в русской гимназии ⁴. Но могла ли гимназия, которую к тому же, судя по всему, он не слишком любил и не считал своей родной школой, так сильно повлиять на его устный и письменный язык, что польский оказался едва ли не вытесненным русским языком? С поляками, уроженцами Варшавы, такое редко случалось.

Не знаю, на каком языке говорила с ним его мать, которую он так или иначе помнил (не раз говорил, что я на нее очень похожа), хотя в своих автобиографиях писал, что она умерла, когда ему было восемь лет или когда ему было три года (эти данные в разных документах расходятся, иногда указывается 1910 год как год ее смерти). И на каком языке они общались с отцом, который, опять же судя по некоторым упоминаниям в анкетах и автобиографиях

³ Правда, в некоторых анкетах М.А. Червонный писал, что хорошо владеет украинским языком, но, вероятно, он имел при этом в виду лишь то, что хорошо понимает украинскую речь (для любого человека, владеющего польским и русским языком, такое понимание совершенно естественно).

⁴ Сначала он учился в 1-й гимназии, откуда его, как он вспоминает в одной из своих автобиографий, «исключили за громкое поведение», что, вероятно, следует понимать как намек (без уточнения деталей) на его участие в революционном движении школьной молодежи; из 1-й его перевели в Варшавскую гимназию № 4, которую он окончил в 1915 году.

Михаила Червонного, прежде работал в Бельгии и переехал с женой в Варшаву, где поселился на улице Шопена, незадолго до рождения сына? Не знаю, ничего не знаю. Иногда мне кажется, что мой отец знал и польский, и другие европейские языки гораздо лучше, чем сам он в этом признавался, и по каким-то причинам скрывал это знание. В таком случае и его блестящий русский язык можно объяснить как в совершенстве освоенный иностранный язык (при желании человека можно научить говорить без ошибок и без акцента).

В моем распоряжении – лишь предельно скудные данные, касающиеся родословной моего отца. Ни одной фотографии его родителей. Я знаю, что моего деда звали Александр, он умер в Польше в 1918 году (точнее, мой отец узнал о его смерти в 1918 году и за одну ночь поседел; у моего молодого отца, сколько я его помню, были совершенно белые, седые волосы, да и задолго до моего рождения мама выходила замуж за седого человека, который был старше ее всего на четыре года). Отчего и как умер мой дед и какими путями известие об этом дошло до моего отца, который мог быть в 1918 году еще в Москве или уже в своих военных походах на дорогах гражданской войны где-нибудь под Моршанском, или под Ростовом-на-Дону, или под Херсоном, не знаю. Где могила моего деда? Неизвестно. По имени и отчеству он был Александр Станиславович, так что моего польского прадеда звали Станислав, и тень жизни этого Станислава (Червонного? Суходольского? Человека с совсем иной фамилией?) теряется в сумерках XIX века.

Я знаю, что мать моего отца звали Марией (в советских анкетах, требовавших указания имени и отчества родителей, отец называл ее Марией Ивановной), что происходила она «из дома Бонч-Тарнаковских», но каким-то романтическим образом была связана с Италией, с Сицилией, откуда ее отец будто бы привез в Польшу красавицу-итальянку – мою прабабушку. Вот уж в самую пору спросить вслед за Мариной Цветаевой: «Польская бабушка, кто Вы?», только Цветаева задавала этот вопрос, глядя на портрет неизвестной бабушки, а у меня нет никаких портретов, одна фантазия. В 1970 году, когда я впервые попала в Италию, я выскочила из отеля на флорентинскую улицу в диком восторге и страстном желании в каждом встречном итальянце узнать своего потенциального трою-

родного брата. Помнится, встречные итальянцы ответным желанием не горели и за итальянку меня не принимали. Уличный торговец, с которым я заговорила по-французски, ткнул пальцем в направлении моей прически (по-моему, это были вполне приличные косы) и спросил: «Марокко?». Я поняла, что дальше отступать некуда, дальше уже только Руанда и Конго, и меня в Италии скорее признают негритянкой, чем своей соотечественницей. Между прочим, всю жизнь меня, можно сказать, гоняют по свету, ни одна этническая группа не принимает меня за «свою», русские подозревают, что я еврейка, евреи по каким-то признакам точно знают, что я не еврейка, татары думают, что я грузинка, грузинам кажется, что я армянка или турчанка, и так далее до бесконечности, да и у меня самой выработался комплекс «отрицательной этнической идентичности»: в любой группе я не совсем своя и воспринимаю окружающих меня людей не в категории национально-этнического «мы», а в парадигме «они и я». И в России сегодня я, конечно, «чужая», и в Польше – не совсем «настоящая» полька. Наверно, это тоже вытекает из тайн родословной моего отца.

Второй вопрос, на который у меня нет ответа: как мог мой отец покинуть Польшу как раз в тот звездный час, когда возрождалась ее независимость? Почему не вернулся в Польшу хотя бы в том же 1918 году, когда многие поляки, в том числе и бывшие каторжане и ссыльные, и беженцы, и раненые, эвакуированные вглубь России в годы Первой мировой войны, не имевшие возможности пересечь линию фронта, пока продолжалась эта война, после Брестского мира возвращались на родину? Почему всю свою энергию, все свои военные способности, видимо, незаурядные, если смог он организовать оборону Каховского плацдарма и получить от скупого на награды советского правительства Орден Боевого Красного Знамени, не посвятил он любимой Польше? Неужели так увлекла его утопия коммунистического рая, что он в свои неполные 20 лет сделал сознательный выбор, поставив выше родины идею мировой революции, и пошел не за Пилсудским, а за Лениным и Троцким, обагрив свою саблю (ведь была, наверно, настоящая сабля, во всяком случае точно был верный конь, и красное знамя, и кавалерийская бригада, которой он командовал) кровью «белогвардейцев» в чужих ему, поляку, варшавянину, дворянину (не знаю, представителю обедневшей шляхты или блистательной аристократии, но уж

точно не крестьянину, не рабочему-мастеровому), донецких и причерноморских степях? Или все было проще: жизнь «засосала»; случайно, под влиянием соседа – старого рабочего, спасшего его, мальчишку, от голода в Москве, где он оказался после ранения и госпиталя совершенно один, – вступил в 19 лет в партию, втянулся в работу и в революцию (кажется, действительно, в октябре 1917 года брал штурмом московский арсенал), и пути назад уже не было, и «железный занавес» за ним захлопнулся прежде, чем он успел это осознать. Или все было сложнее, много сложнее, и этой тайны мне никогда не разгадать. Пока он жил, к ней невозможно было прикоснуться из страха навлечь подозрения на родного, любимого человека. Даже осторожный вопрос с моей стороны был бы похож на провокацию. И я ни о чем его не спрашивала, и он ни о чем не рассказывал мне, кроме того, что составляло официальную версию-легенду его жизни, зафиксированную в анкетах, автобиографиях, делах по учету кадров, а потом и в публикациях, ему посвященных, и в экспозиции Херсонского музея, и в некрологах после его смерти. Потом, когда его не стало, и еще спустя двадцать лет после этого, когда рухнул коммунистический режим, с этой тайны можно было снять невидимые грифы секретности, но зачем, что я узнаю, чего добьюсь? В отличие от Войновича, которому КГБ–ФСБ выбросило, как кусок с барского стола, в виде милости, для ознакомления «дело» его отца, я у них не получу ничего, во всяком случае ничего, что отличалось бы от материалов сбереженного мною богатого личного архива отца (частично переданного мною на хранение в архив Исследовательского Центра «Восточная Европа» при Бременском университете, фонд 22). Мой отец никогда не был репрессирован, и урна с его прахом находится в мемориале – «Стене старых большевиков» – на Новодевичьем кладбище. Пусть так все и останется.

Приложение 1

*Из анкеты Михаила Червонного,
собственноручно заполненной им 1 января 1944 г.⁵*

Личный листок по учету кадров.

Фамилия: **Червонный**, имя: **Михаил**, отчество: **Александрович**.

1. Пол: **муж**. 2. Год и м-ц рождения: **ХП.1898**. 3. Место рождения (по сущ. административному делению): **г. Варшава**. 4. Национальность: **поляк**. 5. Соц. происхождение: а) бывш. сословие (звание) родителей: **из мещан**; б) основное занятие родителей до Октябрьской революции: **отец – механик, мать – дом. хоз.**; после Октябрьской революции: **отец умер в 1915 г.⁶, мать в 1910 г.** 6. Основная профессия (занятие) к моменту вступления в партию: **учащийся**; стаж: **10 л.⁷**. 7. Соц. положение: **служащий**. 8. Партийность: **Член ВКП/б**. 9. Какой организацией принят в члены ВКП(б): **Московской**. 10. Партстаж: **IV–1917**; № партбилета **1251555**; или № к/карт.: –. 11. Стаж пребывания в ВЛКСМ с – по – 12. Состоял ли в других партиях (каких, где, с какого и по какое время): **нет**. 13. Состоял ли ранее в ВКП(б): **нет**; с какого и по какое время: – и причины исключения или выбытия: –. 14. Участвовал ли в оппозициях (каких, когда, где): **нет**. 15. Членом какого профсоюза состоите и с какого года: **работников искусств с 1926 г.** 16. Образование: **высшее**.

Подробное название учебного заведения (вуза, втуза, техникума, комвуза, школы и проч.) и его местонахождение. Название факультета. Дата (м-ц, год) вступления, окончания или ухода.

⁵ Все особенности лексики и грамматики данного документа, характерные сокращения и аббревиатуры воспроизводятся здесь в точном соответствии с оригиналом. Курсивом и жирным шрифтом выделены ответы, записанные рукой отца и вписанные в соответствующие параграфы данной анкеты.

⁶ Мне кажется, что мой дед умер все-таки не в 1915, а в 1918 году. Точной даты его смерти отец мог не знать: Первая мировая война разлучила их в 1915 году. Не исключаю и того, что указать в анкете более раннюю дату смерти своего отца было удобнее, поскольку освобождало от необходимости сообщать, чем занимался этот человек после Октябрьской революции.

⁷ Видимо, отец указывает здесь не свой партийный стаж (к 1944 году – почти 27 лет), а общий стаж своей учебы к моменту вступления в партию (апрель 1917 года).

Окончил или нет. Если не окончил, то с какого курса ушел. Какую (узкую) специальность получил в результате окончания учебного заведения:

4 Варшавская гимназия – 1907–1915. ок. [окончил]– общее образование.

Тверское Кавалерийское Училище – 1915–1916. ок. – военную.

Крымский Университет – экономич. 1921–1922. не ок. С 3-го. экономич.

Курсы ответ. дипломат. раб. НКВД – западный. 1932–1933. ок. – политическ.

1 Московский Университет, искусствовед. 1929–1934. ок. Искусствоведч.

Свердловский Университет. Заочный. 1923–1925. ок. – партийно-политич.

17. Ученая степень (звание): **нет**. 18. Имеет ли научные труды и изобретения: **нет**.

19. Был ли за границей: **да**.

Дата (м-ц, год). В какой стране. Цель поездки (пребывания):

V.1925. – VIII. 1925. Латвия – г. Рига. По делам Укрвнешторга.

V. 1928. – VIII. 1928. Германия – г. Берлин. V.1928. – VIII.1928. Франция – Париж. По делам Красного Интернционала быв. участников войны.

20. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности.

Дата (м-ц, год) вступл., ухода; Должность или выполняемая работа; Подробное название учреждения, организации или предприятия; Местонахождение учреждения или предприятия (город, район, область, край, республика).

VII. 1915 – X.1915 Вольноопределяющийся. 13 Уланский Владимир. полк. Юго-западный фронт.

X. 1915 – III. 1916. Юнкер. Кавалерийское училище. г. Тверь.

III. 1916 – VI. 1916. Прапорщик. Гродненский Гусарский полк. Юго-западный фронт.

IX. 1916 – III. 1917. Студент. Московский Университет. г. Москва.

IV.1917 – IX. 1917. Агитатор. Лефортово-Балагушинский Р.К. ВКП(б). г. Москва.

IX. 1917 – XI. 1917. Инструктор – к-р отряда. Штаб Кр. Гвардии. г. Москва.

XII. 1917 – II. 1918. Зав. Отд. Пропаганды. Редакция газ. «Беднота». г. Москва.

III. 1918 – V. 1918. Ст. Комиссар, к-р отряда. Всерос. Бюро Воен. Комиссаров. Москва и Тамбов. Губ.

V. 1918 – XI. 1918. Председатель. Чрезв. Следств. Ком. г. Моршанск.

XII. 1918 – III. 1920. Командир, 4 отд. Кавалер. Дивизион. Член трибунала. Воентрибунал 9 стрел. Дивизии. Командир 1 Москов. Конно-партизан. полк. Южный фронт. Командир. Отдельн. Кавказ. Кавалер. Бригада. Кавказский фронт.

V. 1920 – VI. 1921. Председатель Чрезв. Ком. Член Ревкома (Ревком – Исполком). г. Херсон.

VI 1921 – X. 1921. Зам. Наркома. Наркомвнудел Крыма. г. Симферополь.

X. 1921 – XII. 1922. Зам. Председателя. Ц. Ком-т помощи голодающим. г. Симферополь.

XII. 1922 – III. 1924. Председатель. Подольский Губпотребсоюз. г. Винница.

IV. 1924 – I. 1926. Член Правления. Укргосторг. г. Харьков.

I. 1926 – IX. 1928. Председатель. Вукоопинсоюз. г. Харьков.

IX. 1928 – IV. 1931. Всекоопинсоюз. Г. Москва.

IV. 1931 – X. 1932. Член Президиума, Председатель. Всекоопромсовет, Культпромообъединение. г. Москва.

X. 1932 – III. 1933. Слушатель. Курсы ответ. дипломат. работников НКВД. г. Москва.

III. 1933 – XII. 1933. Начальник. Политотдел МТС. Семь Колосов (Крым).

XII. 1933 – III. 1934. Зав. Отделом, член Правления. Всесоюз. О-во культ. связи с заграницей. г. Москва.

III. 1934 – V. 1936. Зам. Председателя. Союз Совет. Художников. г. Москва.

V. 1936 – VII. 1937. Зав. Отделом искусства. Сов. Часть Международн. Парижской выставки. г. Москва.

VII. 1937 – XII. 1941. Руковод. Худож. отд. Наркомлегпром СССР. г. Москва.

XII. 1941 – VII. 1942. Нач. Производ. Отд. Наркомлегпром Туркмении. г. Ашхабад.

VII. 1942 – XII. 1943. Зам. Председателя. Туркменпромсовет. г. Ашхабад.

XII. 1943 – Директор. Научно-Исследовательский Ин-т художеств. промышленности. г. Москва.

22. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных, городских выборных органах.

Место выборного органа. Название выборного органа. В качестве кого выбран. Дата (м-ц, год) избрания, выбытия.

г. Моршанск. Уком ВКП(б). Чл. Бюро. V. 1918 – XI. 1918.

г. Моршанск. Ревком – Уисполком. Чл. Презид. V. 1918 – XI. 1918.

Херсон. Уком ВКП(б). Чл. Бюро. V. 1920 – VI. 1921.

Симферополь. Окружком ВКП(б). Чл. Бюро. XII. 1921 – XII. 1922.

Винница. Губком ВКП(б). Член. IV. 1923 – II. 1924.

Винница. Губисполком. Член. XII. 1926 – III. 1928.

Харьков. Горсовет. Член, Предс. Секции. III. 1926 – IX. 1928.

Москва. Моссовет. Член. 1934 – 1936.

23. Знание иностранных языков и языков народностей СССР

Слабо – немецкий, Хорошо – польский, французский, Хорошо – украинский.

24. Участвовал ли в революционном движении и подвергался ли репрессиям за революционную деятельность до Октябрьской революции и после, во время оккупации (за что, когда, каким).

В июле 1917 г. подвергался двукратным арестам за большевистскую агитацию.

25. Служба в армиях: а) в старой армии: с **VII. 1915 по VI. 1916**; последний высший чин: **прапорщик**; б) в Кр. Гвардии с **IX. 1917 по XI. 1917**, в каких должностях: **инструктор, командир отряда**; в) в РККА с **XI. 1918 по XI. 1920**; последняя высшая должность: **командующий боевой группой**; г) участвовал ли в боях во время гражданской войны (где, когда и в качестве кого): **участвовал с IX. 1918 по XI. 1920 г. на Украине и Сев. Кавказе в качестве командира части Кр. Армии.**

26. Служил ли в войсках или учреждениях белых правительств: **нет.**

27. Отношение к военной службе в настоящее время: **снят с военного учета.**

28. Состоит ли на учете как красногвардеец или Красный партизан.

29. Отметки о наградах и поощрениях после Октябрьской революции.

Дата (м-ц, год), Кем выдан, за что награжден, чем награжден.

1920 г. Реввоенсовет Южфронта. За оборону Херсона и строительство Каховского пландарма. Золот. часами.

1920 г. ВЦИКом. За успешную борьбу с бандитизмом на Херсонщине. Почетной грамотой.

1922. IV Сессией КрымЦИКа. За успешную борьбу с голодом в Крыму. Почетной грамотой.

1929. III Собранием уполномоченных Вукоопинсоюза. За хорошую работу. Золот. часами.

Неоднократно премировался по работе.

30. Привлекался ли к судебной ответственности, подвергался ли админ. или дисциплинарным взысканиям (кем, когда, за что и каким): **нет**.

31. Подвергался ли партвзысканиям за время пребывания в ВКП(б): **нет**.

32. Результаты прохождения партчистки и партпроверки: **прошел без замечаний**.

33. Семейное положение в момент заполнения личного листка: семья – жена, дочь 7 л., мать жены ⁸.

34. Домашний адрес: **Москва, Кривоникольский пер. Д. 8, кв. 23.**

Дата заполнения: 1 января 1944 г. Личная подпись: М. Червонный ⁹.

⁸ В других анкетах М.А. Червонный пишет подробнее и точнее: «Любина Зоя Георгиевна, 1903 г. рожд., жена; Червонная Светлана, 1936 г. рожд., дочь; Морозова Анастасия Ивановна, 1879 г. рожд, мать жены» (Анкетный лист, заполнен 10 апреля 1942 г в Ашхабаде).

⁹ Не могу удержаться от комментариев к этому документу, выражающих всю степень моего безмерного удивления, моей головокружительной неуверенности в самом близком мне человеке – в родном отце. Думаю, что только историк, досконально знающий все факты, все особенности, все государственные и общественные структуры советского времени способен понять, сколько здесь **невозможного** – невозможного, как чудо, как один из миллионов шансов, выпавших на долю человека. Быть членом партии с апреля 1917 года и не иметь никаких взысканий, и не участвовать ни в какой оппозиции, и пройти все партчистки и партпроверки «без замечаний»! Выезжать в 1928 году в Берлин и Париж «по делам Красного Интернационала» (даже если это не Коминтерн, а какой-то другой Интернационал участников Первой мировой войны, но и в этом случае – тем более!) и спокойно вернуться, и не иметь после этого никаких проблем! Оказаться в 1932 году в Москве на Курсах ответственных дипломатических работников Наркомата иностранных дел, не будучи, во всяком случае формально, «ответственным дипломатическим работником», а занимаясь до этого делами украинской промышленной кооперации! Нет, это

Из некролога

«9 ноября 1968 года скоропостижно скончался Начальник Управления охраны авторских прав Союза художников СССР Михаил Александрович Червонный.

М.А. Червонный родился 31 декабря 1898 года в Варшаве. С юных лет вступил он на путь революционной борьбы. Член КПСС с апреля 1917 года, Михаил Александрович принимал активное участие в гражданской войне – он был командиром и комиссаром отряда в Москве, председателем Чрезвычайной комиссии в г. Моршанске, командиром 4-го Кавдивизиона и 1-го Московского конно-партизанского полка. При освобождении Новороссийска в 1919 году, будучи командиром отдельной Кавказской кавбригады, он был тяжело ранен. Партия направляет М.А. Червонного в Херсон, где он возглавляет Чрезвычайную комиссию и является одним из руководителей обороны Херсона от войск Врангеля.

В 1922–1932 гг. М.А. Червонный отдает все силы восстановлению и развитию народного хозяйства в Крыму, на Украине и в Москве. С 1933 года он работает в организациях культуры: заведующим отделом выставок ВОКС, заместителем председателя МОСХ, директором НИИ художественной промышленности, начальником художественной группы Наркомлегпрома СССР.

В 1944–45 гг. он был директором Художественного фонда СССР. С 1945 года М.А. Червонный – начальник Управления охраны авторских прав Союза художников СССР. [...]

не реальность 1920–30-х годов, это какое-то царство фантазии. Но ведь все указанные здесь факты подтверждаются свидетельствами людей, знавших Михаила Червонного чуть ли не с 1917 года, документами, сохранившимися в Херсонском, в Симферопольском архивах, да и семейными традициями, моими воспоминаниями. Значит, все это правда. Правда?! Думаю, что только психолог тончайшей квалификации способен оценить высший пилотаж этой правды, постоянно находящейся на грани фола, отрицания истины, рискованной игры в то, что было и чего не было. А можно ли было выжить – в той стране, в то время, с исходными биографическими данными человека польской национальности, выпускника варшавской гимназии и прапорщика Гродненского Гусарского полка, не вступая в эту рискованную игру с государством и не ведя ее – искусно и последовательно – всю жизнь?

За заслуги перед родиной М.А. Червонный был награжден орденом Боевого Красного Знамени ¹⁰ и медалями.

Принципиальный коммунист, чуткий и внимательный товарищ, М.А. Червонный много сделал для развития советской изобразительной культуры, он снискал любовь и уважение художников, искусствоведов, архитекторов, всех знавших его и работавших с ним.

Секретариат, партбюро и местком Правления Союза художников СССР ¹¹, Управление охраны авторских прав Союза художников СССР».

Декоративное искусство СССР. – 1969. – Февраль (№135). – С. 56.

¹⁰ Орденом Красного Знамени (№ ордена 556817) М.А. Червонный был награжден Указом Президиума Верховного совета СССР от 28 октября 1967 года – к 50-летию Октябрьской революции.

¹¹ Некролог, естественно, не отражает того, как нелегко работалось отцу в Союзе художников СССР, председателем которого в 1960-х годах была Екатерина Алексеевна Белашова – женщина деспотичного нрава, злопамятная, мстительная, благоволившая только к тем, кто морально стоял перед ней на коленях (а мой отец не принадлежал к числу таких коленопреклоненных льстецов). И она, и послушный исполнитель ее воли секретарь партийной организации Союза художников СССР Владимир Иванович Володин делали все возможное для того, чтобы отец оставил работу и ушел на пенсию. К счастью для отца, он умер до того, как эта кампания завершилась успехом, умер «на рабочем посту». Существование в качестве пенсионера было бы для него просто невыносимым.

ГЛАВА 3. МАМА И ЕЕ РОДОСЛОВНАЯ

Моя мама Зоя Георгиевна Любина (урожденная Морозова) родилась в Тифлисе (нынешнем Тбилиси) 15-го (по старому стилю 3-го) мая 1903 года, умерла в Москве 30 июля 1979 года.

Здесь сразу возникают два вопроса, ответы на которые приоткрывают важные стороны в истории моих предков, в характере наших семейных традиций.

Первый вопрос касается ее фамилии. Почему «Любина»? Она родилась в семье потомственного дворянина Георгия Алексеевича Морозова. У нее никогда не было никакого мужа по фамилии «Любин», чью фамилию она могла бы носить, а фамилию своего мужа (моего отца) «Червонный» она не взяла, вступив в брак в 1932 году как «Любина» и оставшись «Любиной» до конца своих дней. «Любина» – это ее псевдоним, я даже не знаю, как точнее сказать – «литературный» или «сценический» псевдоним, потому что и литературной, и театральной деятельностью она всерьез начала заниматься позже, в 1930–40-х годах, а псевдоним взяла себе раньше, в начале 1920-х годов, когда перемена «родовых» фамилий в России была массовым явлением и это разрешалось законом. Тысячи потомков бывших крепостных крестьян, которым не нравились их «простые» и неблагозвучные фамилии, выбирали себе что-то романтическое, иногда «иностранное», связанное с историческими, революционными легендами. Между прочим, это происходило и в высших эшелонах советской власти, и все эти Ленины, Сталины, Молотовы, Троцкие, Кировы и им подобные именно тогда сделали свои бывшие клички и псевдонимы своими легальными и единственными фамилиями. Мама не была ни крестьянкой, ни революционеркой-подпольщицей, но мода коснулась и ее, отцовская фамилия показалась ей слишком громоздкой и холодной («мороз»), и она придумала себе короткую фамилию, которая казалась ей нежной, как-то ассоциировалась с любовью. Ни о чем сомнительном ни с этической точки зрения (все-таки как никак отречение от фамилии отца, которого она любила), ни в контексте социальной этимологии нового слова (по краткому женскому имени – «Машиными», «Таниными», или «Машкиными», «Танькиными», «Любкиными» в царской России часто «записывали» незаконнорожденных детей какой-нибудь одинокой женщины) она, по-моему, даже не задумалась.

Мама была человеком увлекающимся, крайне нерасчетливым, если не сказать – легкомысленным.

Второй вопрос: как случилось так, что русская девочка Зоя (если быть точной, то не совсем русская, в полу-русская, полу-татарка, но о своем татарском происхождении по отцовской линии она, кажется, даже не подозревала) родилась в далеком Закавказье, в Грузии, которая и тогда, и сейчас по всем культурным параметрам никакой Россией не была и не является? Здесь все дело в моем дедушке, о котором я дальше попытаюсь рассказать подробнее, хотя сама я его никогда не видела: он умер ровно за девять месяцев до дня моего рождения – 7 сентября 1935 года, на Северном Кавказе, в Ессентуках. Его звали Георгий Алексеевич Морозов. Год рождения моего деда – 1861, а место рождения – городок Рославль Смоленской губернии. Его отец Алексей Васильевич Морозов, получивший свое славянское, православное имя, отчество и фамилию, вероятно, от приемных родителей, происходил из семьи литовских татар, чьей фамилии ни я, ни мама не знали, да вероятно не знал и не помнил сам Георгий Алексеевич Морозов, осиротевший почти в младенческом возрасте. Известно лишь то, что его отец, мой прадед, примкнул к «мятежникам», принял активное участие в «январском» восстании 1863 года, был за это арестован и вскоре казнен. Его жена, моя прабабушка, ни имени, ни национальности которой я тоже не знаю (может быть, татарка, может быть, литовка, полька, белоруска, русская – у литовских татар, особенно в дворянском сословии, в XIX веке широко были распространены смешанные этнические браки), вместо сообщения о его казни получила официальное уведомление о том, что она является вдовой и может вступить в права наследства (имение прадеда каким-то чудом не было конфисковано). Где могила моего прадеда, неизвестно. Шел 1863 год, и тогда так называемые «муравьевские» виселицы (szubienicy) с телами повешенных стояли по всему поработанному краю (бывшему Великому Княжеству Литовскому). Если человек имеет право гордиться своими предками, то я своим прадедом по-настоящему горжусь. Случаи, когда дворяне (а он был дворянин, владелец небольшого поместья в Рославле) примыкали к крестьянскому по своей социальной сути (и антисамодержавному по своей политической сути, одному из тех, что в конечном итоге привели к освобождению Польши и Литвы от ига Российской империи) восстанию, в

1863 году имели место, хотя и не часто, и то, что мой прадед выбрал именно такой путь, пожертвовав не ради какой-либо выгоды и корысти, а ради прекрасной идеи свободы и справедливости всем, что он имел, в том числе собственной жизнью, осеняет всю мою сознательную жизнь ощущением причастности к такой традиции.

Так, как я думаю и чувствую сейчас, наверно, не думали и не чувствовали подданные российского царя в 1860-х годах. Вероятно, для моей прабабушки потеря мужа и отца ее маленького сына была трагедией, может быть, даже позором, и вряд ли она гордилась поступком своего мужа. Вскоре после его казни она вышла замуж за Виктора Алексеевича Милеева, который воспитал (формально, однако, не усыновил) своего пасынка. Для прабабушки этот брак был недолгим, она вскоре умерла, Виктор Алексеевич Милеев женился вторично, и маленький Георгий воспитывался в русской семье своего отчима и мачехи.

Моя мама хорошо помнит эту семью: ее вместе с ее братом Колей в детстве несколько раз отправляли на летние каникулы в Рославль в «родовое» имение отца, ставшее собственностью Милеевых. Имение было, по ее представлениям, богатым, дом – полная чаша, но суровый нрав деда-отчима не давал домочадцам свободы (однажды за завтраком маленькая Зоя потянулась к сахарнице, чтобы добавить ложку сахарного песка к тарелке с клубникой; дед бросил на нее пронзительный взгляд и грозно спросил: «Зачем солишь?»).

Сохранилась поздняя фотография Виктора Алексеевича Милеева и его жены (отчима и мачехи моего деда), на оборотной стороне которой написано «На добрую память нашим внучатам от любящих дедушки и бабушки. 1915 г. 2 марта, Борисоглебск Тамбовской губернии» (в Борисоглебск они, возможно, переехали в начале Первой мировой войны, а до той поры все время жили в Рославле).

Не знаю, принадлежали ли они к дворянскому или купеческому сословию (судя по костюмам и прическам, особенно по характерному рисунку седой окладистой бороды неродного прадедушки – скорее к купеческому), но, несомненно, это были состоятельные люди, одни из тех, кого называли в ту эпоху «господами» и «барами». Своему пасынку В.А. Милеев дал хорошее образование, впрочем, не за свой, а «за казенный счет». В нашем семейном архиве сохранился рукописный листок, датированный октябрём

1927 года, озаглавленный «Жизнеописание (Curriculum vitae)» Г.А. Морозова», где написано его рукой: «Воспитание получил на казенный счет в Лепельской школе кондукторов путей сообщения». Школа дала ему специальность, которая называлась на языке того времени «кондуктор (с французским ударением на последнем «о») путей сообщения». Ничего общего с современным понятием «кондуктора» это не имело, а означало инженерную квалификацию в области «путей сообщения» (коммуникаций, строительства железных и грунтовых дорог, геодезии и «землемерного дела»). И дедушка мой был, видимо, весьма энергичным, способным, успешным в своей работе инженером (на многих фотографиях он носит железнодорожную форму, соответствующую офицерскому званию и чину), возглавил множество экспедиций, изъездил едва ли не всю страну – казахские степи, Урал, Зауралье, Кавказ, занимался прокладкой новых дорог в «целинных» и предгорных районах, измерением и разделом земель, поступавших в соответствии со «столыпинскими» реформами начала XX века в крестьянскую собственность и в пользование государства. В своем «Жизнеописании» он пишет: «По окончании школы был назначен на службу 20 сентября 1876 г. в Киевский округ путей сообщения, откуда переведен 1 февраля 1879 г. на службу в Кавказский округ путей сообщения, где занимался изысканиями и постройкой шоссейных дорог (Дагестанская и Карская области). В 1883 году поступил на службу по Межевому ведомству и занимался съемкой и межеванием в должности землемера до 1894 г. в Тифлисской губернии. В 1894 году перешел на службу в Общество Юго-Восточных железных дорог, где при постройке ж.д. Балашов – Харьков, Графская – Анна, Луганск – Миллерово и Потасная – Никитовка состоял в должности техника и землемера. В 1899 году поступил на службу в Тургайскую землеотводную партию топографом. В 1902 году перевелся на службу в Закавказье, где и служил по поземельному устройству и колонизации до 16 марта 1918 года».

У него были незаурядные способности физика и математика; мама сохранила множество его рукописей с расчетами и чертежами, свидетельствующих, что его особенно увлекала (на протяжении всей жизни) задача создания «вечного двигателя». Вместе с дедушкой по степям, горным дорогам и перевалам кочевала по всей стране моя бабушка – Анастасия Ивановна, на которой Георгий

Алексеевич женился в год ее 18-летия (1897), будучи значительно старше ее и к тому времени уже вдовцом (от первого брака у него была дочь Инна, которой он помогал и после ее совершеннолетия и замужества). Бабушку и дедушку по их внешнему виду и по звучанию фамилии знакомые, знавшие их в годы этих непрерывных кочевий, звали «Дед Мороз» и «Снегурочка», да кажется, они сами так называли друг друга – с улыбкой нежности. При этом если воронежская «снегурочка» обладала очарованием сероглазой славянской девушки, то «Дед Мороз» был явно персонажем из восточной сказки, и чем старше он становился, тем сильнее проступали в его внешности татаро-монгольские черты (широкие скулы, узкий разрез глаз, их темный блеск, даже бородака какая-то типично «татарская»), да и в его характере все больше выявлялась степная неукротимость, нечто «чингисхановское». Был он человеком любвеобильным и, я бы сказала, склонным к многоженству, что, наверно, причиняло большие страдания моей гордой бабушке, которая никогда ни о чем таком не вспоминала и не рассказывала. Но каким-то образом моя мама (а из ее рассказов и я) знала, что мой дедушка, «укравший» свою «Снегурочку» – мою бабушку – из Воронежа и прямо из Никитинской книжной лавки (библиотеки), где она работала, умчавший ее в казахские степи, спустя несколько лет снова поехал по делам в Воронеж, там встретил ее младшую сестру Александру, поразившую его и сходством с женой, и очарованием молодости, уже покидавшей его измученную долгим кочевьем жену, завел с ней весьма серьезный роман, от которого вроде бы были и дети (на фотокарточке типичные «татарчата»), мамины сводные братья, в нашей семье, конечно, непризнанные.

О семье и происхождении моей бабушки Анастасии Ивановны Морозовой (урожденной Шетуновой) я знаю гораздо больше, чем о прошлом всех других моих предков; это, кажется, единственный случай, когда в истории своей родословной я имею возможность заглянуть в двухсотлетнюю глубину – в самое начало XIX века. Именно тогда в Воронеже на Дворянской улице стоял особняк, в котором проживала известная в городе семья Селивановых. Я знаю об этом не только по семейным хроникам, но и по материалам, сохранившимся в исторических архивах города, о чем сообщили мне воронежские историки и краеведы, с которыми я переписывалась в 1990-х годах. Им известны даже места захоронения на городском

кладбище старших представителей этой семьи – Ивана, Алексея Селивановых, их высокий по тем временам социальный статус купцов первой гильдии, следы их успешной торговой и благотворительной деятельности. Мне известно и то, что в этих архивах, кажется, никак не зафиксировано. Где-то ближе к середине XIX века в семье Селивановых произошла настоящая драма, связанная с тем, что младшая дочь преуспевающего купца и влиятельного, известного в городе человека Ивана Селиванова Капитолина «ушла в театр». Видимо, был человек, который «увел» ее в этот театр; может быть, в ней самой открылись способности актрисы. Во всяком случае что-то вскружило ей голову, что-то увлекло ее настолько, что стало важнее семьи, материального благополучия, послушания родителям, строгих нравственных традиций. Это что-то называлось «Воронежский театр», ставший в XIX веке одним из процветающих провинциальных театров России. Конечно, речь шла не только об искусстве и профессии (не могу судить о том, какими качествами профессиональной актрисы моя прапрабабушка обладала), но и о большой любви (не знаю, к достойному или недостойному человеку), плодом которой явилась моя прабабушка Калерия, рожденная где-то на рубеже 1840–50-х годов вне законного брака и носившая, как и прапрабабушка, фамилию Селиванова и отчество «Ивановна». Когда она выросла, она также стала актрисой Воронежского театра, на сцене которого выступала под псевдонимом «Негина».

Вся эта «театральная история», очень похожая на то, о чем с прекрасным знанием дела и нравов своей эпохи писал Салтыков-Щедрин, воспринималась родителями Капитолины как позор для семьи. Капитолина лишилась родного дома, родительской помощи, приданного, наследства. Некоторое время ее материально поддерживал, возможно, втайне от отца, ее старший брат Александр Иванович Селиванов, о чем свидетельствует сделанная ее рукой дарственная подпись на фотографии, относящейся к 1850-м годам: «Бесценному брату Александру Ивановичу и сестре [видимо, его жене] Елене Никаноровне Селивановым от Капитолины».

Умерла Капитолина Ивановна в глубокой бедности, в «богательне», куда моя бабушка в детстве приходила ее навещать, принося с собой из дома скромные гостинцы. Здесь надо сказать, что

на всю жизнь у моей бабушки Анастасии, которая, как она сама говорила, «насмотрелась» на закулисную театральную жизнь, выработалось нечто вроде аллергии (или собственного иммунитета) к самому понятию «театр». Не высокое и чистое искусство, а интриги, измены, все виды человеческой подлости, цинизм и разврат были в ее представлении связаны с этим понятием. Сама она ни за что не хотела бы стать актрисой (как и я, через поколение унаследовав от нее этот затаенный внутренний протест: ни в каком возрасте на обычные вопросы взрослых «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» я не отвечала «Артисткой»; это было совершенно несовместимо с моей формирующейся идентичностью, хотя в школьных самодеятельных спектаклях я «играла», помнится, принцессу в сказке Маршака «Двенадцать месяцев» в пятом классе и Валю в пьесе Симонова «Русские люди» в седьмом классе, по-своему даже успешно, но мне это по-настоящему никогда не нравилось). Своей дочери (моей маме) бабушка этот иммунитет не передала, и моя мама во многом пошла по пути своей бабушки и прабабушки, связав значительную часть своей жизни с театром.

Калерия Ивановна Селиванова (актриса Негина) «вырвалась» из театральной жизни (не знаю, полностью или частично), выйдя в конце 1970-х замуж за Ивана Ивановича Шетунова. Первым ребенком от этого брака была моя бабушка Анастасия, родившаяся в Воронеже 27 апреля 1879 года. Значительно моложе ее были младшая сестра Александра и брат Сенечка (Арсений), мобилизованный в 1914 году в русскую армию и сложивший свою голову на неизвестном мне поле битвы Первой мировой войны.

Иван Иванович Шетунов был, по рассказам моей бабушки, идеальным человеком, добрым, доверчивым, честным, отзывчивым. Безграничная, ничем не омраченная любовь к отцу является чем-то вроде постоянной традиции в женской линии моей родословной: и бабушка ни одного недостатка не знала за своим отцом, и мама потом относилась к своему отцу с любовью и только с любовью (хотя вместе с ним практически никогда не жила и, наверно, нелегко переживала и семейный разлад, и разлуку, и то, что с отцом ее связывало не столько постоянное пребывание под одной крышей, сколько редкие встречи), а я уж вообще довела этот культ отца почти до идолопоклонства.

Иван Иванович Шетунов успешно вел свои торговые дела в Воронеже, но однажды, вскоре после женитьбы (женитьбы по любви, на актрисе-бесприданнице, без малейшей корысти, в готовности сделать все, что в его силах, для счастья своей возлюбленной) по своей доверчивости и доброте душевной подписал какой-то вексель, поручившись своим именем и своим состоянием за приятеля, который оказался банкротом, проходимцем, сбежал из Воронежа, а все его долги перенесли на моего прадедушку. Пришли в дом судебные приставы и описали все имущество. К счастью, этого дома и имущества хватило на то, чтобы погасить долги и не сесть «в долговую яму». Прадедущка остался на свободе, но абсолютно разорился и от этого удара уже никогда не оправился. Того немногого, что в семье Шетуновых осталось (среди прочих сбережений был и сундучок с серебряными ложками, на котором сидела моя двухлетняя бабушка во время обыска в доме: приставы не потревожили ребенка и не «описали» этот сундучок), хватило на то, чтобы приобрести скромный деревянный домик с маленьким садиком, где-то около воронежской водоканализационной (пожарной «каланчи»), в котором и выросла моя бабушка. И школа (воронежская женская гимназия), и семья, и как-никак все-таки всегда близкий Воронежский театр сделали ее человеком грамотным, начитанным, с довольно широким кругозором. Отца она лишилась еще в отроческие годы; не выдержало его сердце свалившихся на него испытаний.

В 18 лет, в 1897 году, она стала работать в Никитинской книжной лавке, бывшей в Воронеже той поры и книжным магазином, и читальней, и чем-то вроде дома культуры – просветительским центром. Эта первая ее работа, связанная с совмещением обязанностей продавца, литературного консультанта, библиотекаря, продолжалась недолго и стала последней в ее официальной «послужной карьере». Больше ни в каких учреждениях бабушка никогда не служила и не работала. Если на бюрократическом языке (в анкетах уже советского времени) ее статус определялся словом «иждивенка» (когда она жила с мужем, потом с дочерью и зятем), то это просто какая-то издевательская ирония. Такой труженицы, как моя бабушка, надо еще поискать. Весь наш дом, как уже я его помню в военные и послевоенные годы, держался на ее незаметном, неблагодарном, но таком необходимом труде. И дрова принести, и голландскую печь растопить, и что-то сварить, пожарить, испечь (без

газа, на каких-то примусах, керосинках, а в годы эвакуации в Ашхабаде на «мангалке» – маленьком костре среди камней), и постирать, и сшить, и связать (последняя ее работа – зеленое кружевное вязаное платье, подаренное мне, законченное, когда глаза ее уже плохо видели и руки плохо слушались) – все это было делом ее рук, ее доброго сердца, ее сильной воли. Могу только представить себе, каким ее неутомимым трудом, умением, терпением и старанием держался их совершенно неустроенный быт в период вечных переездов с места на место, когда не было даже крыши над головой.

Все трое детей моей бабушки – старший сын Николай, младший сын Виктор и дочь Зоя – родились в разных местах и городах, куда вели дедушку бесконечные дороги его экспедиций, его вечных служебных командировок. Своего постоянного дома у них долгое время не было. Коля родился в 1899 году в Оренбурге, откуда они вскоре уехали. Витя прожил всего неполные три года: 1901–1903. Мама родилась в Тифлисе, и этот город был лишь краткой остановкой на пути их семейных скитаний; мама его совершенно не помнит, поскольку увезли ее оттуда в младенческом возрасте. Потребовались очень большие потрясения, которые заставили мою бабушку, наконец, остановиться, что практически означало расстаться с мужем, продолжавшим работать в экспедициях и разъездах. Такими потрясениями были и дошедшие из Воронежа слухи о близости дедушки с сестрой Александрой (после этого бабушка разорвала всякие связи, всякую переписку не только с сестрой, но и со своей матерью, которую считала прямо или косвенно виноватой в произошедшем, – разорвала раз и навсегда), и в еще большей степени смерть младшего сына Виктора, погибшего в трехлетнем возрасте от простуды или ангины.

После переезда из Тифлиса в Кусары (горное «урочище» недалеко от Баку) заболела тифом и едва не погибла моя мама, которую чудом удалось спасти. Бабушка поняла, что вечная жизнь «на перекладных» опасна для здоровья ее детей, а по мере того, как они подрастали, надо было думать о том, где они будут учиться; в диких степях и горах это было невозможно.

Местом постоянного проживания был выбран Владикавказ. Не знаю, купили они или «сняли» в аренду кирпичный домик, в котором прошло детство моей мамы. Домик (на улице Льва Толстого)

был одноэтажный, скромный и маленький. У них не было даже горничной (это обстоятельство весьма огорчало мою маму, гимназические подруги которой жили в семьях, где дверь на звонок открывала горничная), только одна «приходящая» кухарка немного помогала бабушке по хозяйству. Тем не менее жили они на то «жалованье», которое получал дедушка (кажется, около 100 рублей в месяц; для сравнения: кухарке в месяц платили 3 рубля, пирожные в немецкой «кофейне», которые обожала моя мама, стоили от трех до пяти копеек за штуку) весьма неплохо, нужды и беды не знали. Мама училась в женской гимназии, Коля – в реальном училище. У мамы была любимая подруга, немка, Мария Кайзер. Они учились в одном классе владикавказской гимназии, расстались после революции и чудом нашли друг друга в конце жизни, в 1970-х годах. Немецкая семья Кайзер пережила страшную депортацию, ссылку в казахские степи, Мария умерла, не дождавшись ветра перемен. Ее младший брат Владимир еще имел шансы репатриации в Германию, но смог ли ими воспользоваться или умер раньше, не знаю. Я написала ему в 1979 году о смерти мамы, найдя его адрес в ее записной книжке, но он мне не ответил.

Бабушка бывала в «дворянском собрании» города на балах, у нее было много подруг и друзей среди узенькой прослойки владикавказской интеллигенции да и в других городах (в Харькове жила ее близкая подруга Дуня Антоненко).

Гимназия, в которой училась моя мама во Владикавказе, кажется, давала своим воспитанницам неплохое образование, знание двух языков (французский язык мама обожала, а немецкий, в отличие от меня, не любила). Во всяком случае знания, которые она успела получить в гимназии до обрушившейся на Кавказ революции и гражданской войны, составили основу ее образованности и культуры на всю оставшуюся жизнь (в советские вузы молодежь не «рабоче-крестьянского» происхождения в 1920-х годах не принимали), позволили ей ориентироваться в вопросах отечественной литературы, которая стала главным предметом ее профессиональной деятельности к концу ее жизни.

Во Владикавказе мама пережила и Февральскую революцию, оставшуюся в ее памяти парадом стихийных демонстраций, маршами духовых оркестров, разгоряченными лицами людей, алым полыханием красных бантов в петлицах, и нечто более страшное,

что началось уже зимой 1917–1918 года и продолжалось в 1918 году. Гражданская война уже врывалась на Северный Кавказ крутыми смерчами. Въезжали в город ингушские подводы и увозили все, что успевали наgrabить (а грабили систематически и дочиستا, дом за домом, квартал за кварталом, до дома Морозовых каким-то чудом не успели дойти). Врывались в дом, и среди ночи, и среди бела дня, патрули, и Коля дрожащими руками искал нужное удостоверение: «белым» надо было предъявить студенческий билет ученика реального училища, «красным» – какую-то выданную реввоенсоветом легитимацию; если перепутаешь бумаги, могли расстрелять на месте. Уроки в гимназии фактически прекратились. Начинался голод: Владикавказ – это, конечно, не Петроград, но и там, на плодородном юге, рынок стремительно опустошался.

Конец владикавказской жизни семьи Морозовых наступил накануне 1919 года. Маме тогда было 15 лет. Ее старший брат Николай «ушел» к «белым», вместе с частями белогвардейского корпуса покинул город. Погиб он в Анапе от тифа в 1920 году.

После ухода Коли в армию моя бабушка решила съехать из Владикавказа в Москву. Не знаю, продали или бросили они свой маленький домик на улице Льва Толстого. Не знаю, хотела ли бабушка взять маму с собой в Москву и по своей или по маминой воле приняла решение отправить ее к отцу, который в это время находился, кажется, в Махачкале или где-то еще в Дагестане. Не знаю, что тянуло бабушку в Москву, хотя самое последнее, о чем она мне не то чтобы рассказала (никакого рассказа не было), но как-то сказала накануне своей смерти, вспомнив чудесные белые цветы, было связано с именем Евгения Ивановича – человека, который был ее последней любовью и, кажется, жил в Москве и звал ее к себе. Что с ним случилось, как они расстались, не знаю. Известие о гибели сына, от которого бабушка «почернела» и надолго «слегла», видимо, было концом ее женской жизни и женского счастья. Спустя несколько лет она разыскала мою маму, которую волны и ветры гражданской войны занесли к началу 1920-х годов в Ростов-на-Дону, приехала за ней, увезла с собой в Москву, и с той поры они уже всегда жили вместе, и у Анастасии Ивановны Морозовой была до конца жизни только одна роль – маминой мамы, папиной тещи, моей бабушки, прабабушки моего сына Дмитрия, которого она безумно любила.

Умерла она в Москве 22 февраля 1972 года, и я никогда не прощу себе, что не успела навестить ее в больнице в последний день ее жизни.

Не знаю, как получилось, что к своему отцу мама из Владикавказа не доехала (а может быть, доехала, но не осталась жить в его доме) и куда ее понесло, и что пришлось пережить этой девочке в скитаниях по ошалевшему Кавказу, ошалевшей России, по фронтам и тылам гражданской войны.

Перепробовав в своей жизни и перебрав на практике множество рабочих и интеллектуальных профессий (и машинисткой-стенографисткой она работала, и санитаркой в госпитале, и воспитательницей в детском саду, и «сестрой-хозяйкой» в санатории, и актрисой на сцене «народного» – самодеятельного – театра, играла Панову в спектакле «Любовь Яровая»; и стихи она писала, и рассказы и сказки для детей сочиняла, иногда остававшиеся в рукописях, иногда публиковавшиеся; и пьесы писала, из которых одна – «Право на жизнь» – была поставлена в годы войны на сцене ашхабадского ТЮЗа – Театра юных зрителей, другая – самая лучшая из всех ее литературных творений – «Волчья стая», о гражданской войне на Северном Кавказе, никогда почему-то не увидела ни публикации, ни света сцены), она к концу жизни стала, можно сказать, профессиональным «литератором», выступала с лекциями по истории русской и советской литературы и с самостоятельными поэтическими, музыкально-драматургическими композициями на различных эстрадных площадках страны, от Московской филармонии и от Общества «Знание».

Она была человеком увлекающимся, и на взлете очередного увлечения (театром, режиссурой, литературой, школьной педагогикой и многими другими сферами) могла достичь ярких успехов (могла стать неплохой актрисой, могла стать профессиональным драматургом), но у нее никогда не было сильной воли, последовательности, умения довести до конца начатое дело, дойти по избранной дороге до высшей точки или хотя бы до заметной вершины. Конечно, во всем, что она делала, не было высокого профессионализма. Не знаю, винить ли в этом дилетантстве владикавказскую женскую гимназию, которую она до 1918 года даже не успела закончить, отсутствие систематического высшего образования или ее

характер, но могу с уверенностью сказать, что в тех условиях, в которых она оказалась уже в советской стране, она все-таки очень многого добилась. Она не была бесцветной личностью, и хотя она не обладала сильной, «железной» волей, но все же умела прорваться сквозь самые неблагоприятные обстоятельства и оказывала сильное, надеюсь, положительное влияние на людей, ее окружавших, в частности, на меня. Особенно в тяжелых, драматических обстоятельствах, в которых она оказывалась (конечно, прежде всего в период гражданской войны, когда ее, можно сказать, девчонку, носило по всему бурному морю взорванной классовой ненавистью страны, а потом и в годы Великой Отечественной войны), она умела проявить неожиданную силу воли, интуитивно найти спасительный выход – для себя самой, для людей, за которых она считала себя ответственной, не смея бросить их на произвол судьбы (к таким людям ее ближайшего окружения относились бабушка и я; с папой у нее были более сложные отношения, в динамичном развитии которых перевешивали разные силы и становилось не совсем понятным, кто за кого несет ответственность, кто кому служит опорой, кто кого может в трудную минуту даже предать).

Из ее рассказов я знаю, что она очень любила моего отца. Их встреча летом 1927 года в Евпатории, где он и она случайно оказались в одной санатории, была, во всяком случае для нее, обжигающей, опаляющей сильнейшим пламенем любовью с первого взгляда. Мама рассказывала, что даже не видя его, не глядя в его сторону (например, в большом помещении санаторной столовой, куда он входил) ощущала его появление всей кожей, буквально горела в его присутствии.

Курортный роман при всем его ослепительном накале мог кончиться ничем, но спустя несколько лет, навсегда расставшись с Украиной, отец приехал в Москву, разыскал маму, внезапно появившись у мамы дома в Варсановьевском переулке. В 1932 году они поженились.

Выдержала ли эта любовь, – казавшаяся такой бескрайней и дарившая такое полное счастье, – последующие испытания временем? К сожалению, нет. Даже мое появление на свет не спасло их брак сначала от охлаждения, наступившего уже в годы войны, когда какая-то кошка пробежала между ними (я даже знаю имя этой

«кошки» – Софья Юнг, наша соседка по Кривоникольскому переулку), затем (в 1950-х годах) – от полного развала. Не имею права судить их, разбираться в причинах этого несчастья (для меня – великого горя). Скажу только, что я никогда не отвернулась от отца, да и меня он никогда не «бросил». Для сравнения припомню, что когда подруга моей молодости Наташа Селиханова пережила подобный удар (ее отец, известный скульптор советской Белоруссии Сергей Селиханов «ушел», оставив семью), она решительно встала на сторону матери и не простила отцу измены (даже на его похороны отказалась придти). Я – нет, я отказаться от отца была просто не в состоянии, и чем острее была боль, тем сильнее оставалась моя привязанность к нему. До самого конца. Хотела написать «до конца его жизни». Но почему же только «его»? До самого конца моей жизни.

Даже спустя много лет после развода родителей, если кто-либо из старых знакомых или папиных сослуживцев, об этом разводе не знавших, случайно звонил нам домой и спрашивал Михаила Александровича, я всегда отвечала по телефону: «Папы нет дома. А что ему передать?». Просто физически я не в силах была кому-то сказать: «Папа с нами больше не живет». В том, что случилось, я скорее готова была упрекнуть бабушку (она папу никогда не любила и при ее прямоте не умела этого скрыть), маму (за то, что недостаточно папу ценила, недостаточно была добра и внимательна к нему), наконец, саму себя (и это вполне справедливо). Тот духовный пьедестал, на котором – в моем восприятии – стоял отец, поколебать было невозможно. Мое отношение к семейным разногласиям, как в капле воды, отразилось в одной сцене, которая произошла в период нашей эвакуации в Ашхабаде зимой 1941/42 года, когда мне было пять лет (всего пять лет). Бабушка при молчаливой, но очевидной поддержке мамы сказала что-то резкое моему отцу (вероятно, и ее, и мамина обида была чем-то вполне обоснована), затем, все больше распаляя в себе эту обиду, стала говорить еще резче, громче, грубее; отец, не говоря ни слова, поднялся, оделся и пошел к двери, чтобы уйти из дома, и тогда я, вскочив в постели, куда меня уложили спать, закричала диким голосом, обращаясь к бабушке: «Не смей! Не смей так говорить с моим папой!», протянула к нему руки и взмолилась: «Папа, возьми меня с собой! Папа,

я с Тобой!». Отец вздрогнул, вернулся ко мне, остался, но я представляю себе, как горько было моей маме видеть и слышать все это. Ведь я предавала ее на каждом шагу.

Развод (продолжавшийся фактически от начала до самого конца 1950-х годов) она пережила очень тяжело, хотя в плане материального благополучия он не так уж сильно по ней ударил: отец не взял из дома ничего, кроме своих бумаг и носильных вещей (фактически того, что было на нем надето), не только не «делил», но фактически подарил нам новую квартиру, которую выделили ему, как «старому большевику», в только что отстроенной «хрущевке» в районе Фили-Мазилово в 1959 году, а деньги, которые он раньше «приносил» домой (небольшие), она скоро стала зарабатывать сама, много работая, выступая с лекциями от московской Филармонии и общества «Знание». На эти, ее деньги и жила теперь наша семья, в которой все остальные (бабушка, я после того, как потеряла свою первую работу в Дирекции художественных выставок и панорам Министерства культуры СССР, маленький Дмитрий) были иждивенцами. Мама была великой труженицей, и всё, что зарабатывала, отдавала близким, не думая о себе.

Моя вина перед ней безмерна. Летом 1979 года, не распознав в ее плохом самочувствии смертельной болезни, я оставила ее одну в Москве и уехала в Болгарию (возможность такой зарубежной поездки была счастьем, в котором я, со свойственным мне эгоизмом, не могла себе отказать), а по возвращении застала уже только замороженный труп в морге больницы. Даже похоронить ее достойно я не сумела. Прости, мама. Прости меня, Боже. Знаю, что такое нельзя простить.

ГЛАВА 4. КРИВОНΙΚΟΛЬСКИЙ, 8 – ДОМ ПОЛЬСКИЙ

Второй в моей жизни «родной дом» (после первого, на Лубянке, в котором прошли мои младенческие годы) также уничтожила советская власть. Вот уж, действительно, как поется в песне, «враги сожгли родную хату», и каждый раз такими врагами оказывались не захватчики извне, а собственные сограждане, наделенные высокими полномочиями и по своему усмотрению решавшие, как нам, москвичам, и вообще всем советским людям жить.

Находился этот второй дом недалеко от Арбата в чудесном, как сказка, оставшаяся от давних, «наполеоновских» времен, переулке, который назывался Кривоникольский. Свое название он получил от церкви Св. Николая, которая к моменту нашего переезда сюда была уже давно разрушена. Первоначально этот переулок, действительно, был «кривым», точнее он шел от Большой Молчановки вниз к Арбату по прямой линии, а затем, как раз в том месте, где стоял наш дом № 8, резко ломался под прямым углом, направляясь уже не к Арбату, а направо к Серебряному переулку. На этом изломе, ближе к Серебряному переулку, находился военный госпиталь, который сначала вел себя довольно тихо, не проявляя агрессивности в области городской топографии, но к концу войны начальство решило основательно изолировать этот госпиталь от всего окружения, проход в сторону Серебряного переулка был перекрыт, в воротах дежурила непреклонная стража (вооруженная охрана – «вохра»), никого не пропускавшая. На Арбат, к дому 12, к табачному магазину, можно было выйти только проходным двором, всегда очень мрачным, над которым постоянно витала какая-то криминальная атмосфера, так что в детстве, торопясь в школу или возвращаясь из школы домой, мы бежали через этот двор, затаив дыхание от страха и шарахаясь от каждой тени. Сейчас этот проходной двор закрыт.

Потеряв «колено», ведущее к Серебряному переулку, Кривоникольский переулок перестал быть «кривым», но стал очень коротким. По его обеим сторонам было всего восемь дворов (по четыре с каждой стороны), и все дома (хочется сказать «домики» – двух- и одноэтажные), чьи стены выходили в переулок и формировали его «красную линию», начиная с керосиновой лавки на углу с Большой

Молчановкой и кончая нашим домом в самом низу, были выдержаны в одном стиле – того «наполеоновского» ампира, в котором строилась и перестраивалась Москва после пожара 1812 года. Это был единый архитектурный ансамбль, обладавший естественной гармонией, окрашенный в теплые тона золотисто-желтой и розовой штукатурки, с вкраплениями живой зелени за воротами и заборами из ажурной чугунной решетки. Надо было обладать поистине твердокамненным мышлением главного архитектора Москвы эпохи брежневской стагнации Михаила Посохина, чтобы именно этот чудесно сохранившийся уголок Москвы приговорить к полному уничтожению во имя возведения на его месте в 1960-х годах гигантских бетонных болванок современного проспекта Калинина – «Нового Арбата».

Говоря о Кривоникольском переулке, я неслучайно пользуюсь наречиями «вниз» и «вверх». Он, действительно, был поразительно крутой, можно сказать – взбегал вверх, к Молчановке, как на высокий холм, или спускался вниз, в сторону Арбата, словно с горки. В детстве мы использовали эту его географическую структуру, как мне кажется, по ее прямому назначению: скатывались зимой по занесенной снегом проезжей части на санках или на лыжах, потом снова взбирались вверх. Понятно, что это было возможно еще и потому, что это был очень тихий переулок. Машины появлялись здесь крайне редко. Существовал такой оазис тишины, старины, скромной провинции в самом центре новой Москвы.

О нашем доме («польском доме») в Кривоникольском переулке мне уже довелось писать, публикуя свои воспоминания в польской печати, и рассказывать о нем в докладе на научной конференции «Время Коминтерна», организованной в Москве в марте 2019 года Государственной публичной исторической библиотекой России и Российским государственным социальным университетом. Повторю здесь кое-что из написанного раньше, добавлю то, что в прежние публикации не вошло.

В истории польской диаспоры в Москве существует малоизвестный, но безусловно достоверный эпизод, связанный с формированием в начале XX века общественной организации «Дом Польский». Наиболее полные данные, касающиеся этой истории, приводит в своем исследовании *«Польское население в России 1863–1914»* историк Зигмунт Лукавский. «В Москве, – пишет он, –

вплоть до 1905 года вся общественная жизнь польской колонии была сосредоточена вокруг церковного прихода и благотворительного товарищества. Только в 1905 году московские поляки включились в более широкую общественную и политическую деятельность. В 1906 году началось обсуждение разного рода проектов создания новых общественно-просветительских организаций [...] С конкретным предложением в конце 1906 года выступил Теофил Шульц, который разработал основы проекта объединения под названием «Круг польский» («Koło Polskie»). 26 октября 1906 года он представил этот проект для обсуждения на собрании, в котором участвовало 28 проживавших в Москве поляков. Собрание приняло решение назвать будущее объединение «Домом Польским» («Dom Polski») [...] Готовый, переведенный на русский язык проект устава удалось представить для регистрации только в сентябре 1907 года, и спустя еще месяц власти утвердили этот проект. Целью товарищества «Дом Польский» было объединение проживающих в Москве и московских пригородах поляков для совместной работы и взаимной поддержки. Для достижения этой цели устав предусматривал целый ряд средств – таких, как заложение организаций взаимопомощи (биржи труда – бюро, помогавшие в поисках работы, кассы взаимопомощи, выделяющие кредиты, юридические консультации, медицинские пункты, чайные, магазины и т.п.), библиотек, читален, проведение лекций, театральных представлений, издание собственной периодики и брошюр [...] В момент заложения «Дом Польский» насчитывал 66 членов, а к 1 января 1908 года их было уже 185»¹².

Надо отметить, что в публикациях, в которых упоминается московский «Дом Польский» начала XX века (заметим в скобках, публикациях – скупых и немногочисленных), не указывается его адрес – ни юридический, под которым эта общественная организация была зарегистрирована, ни фактический адрес тех торжеств, собраний, съездов, лекций, представлений, которые там устраивались (вероятно, не всегда в одном и том же месте). По всей вероятности, на раннем этапе своей деятельности (в 1907–1911 годах) московский «Дом Польский» еще не имел постоянного адреса.

¹² Zygmunt Łukawski, *Ludność polska w Rosji 1863 – 1914*, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum (Zakład Narodowy imienia Osolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk), 1978. – С. 151–152.

Положение изменилось в 1911 году, когда польский магнат Александр Ледницкий¹³ приобрел участок земли и дом, стоявший в Кривоникольском переулке, переселился сюда со своей семьей из особняка на Собачьей площадке, произвел масштабную перестройку всего комплекса строений в Кривоникольском переулке и сделал свою постоянную резиденцию (московский «Дом Ледницкого») главной площадкой общественной деятельности московской колонии. Постепенно понятия «Дом Польский» (как общественная организация) и «Дом Ледницкого» (как место встреч видных представителей московской колонии, как средоточие в Москве польской национальной культуры, как исходный пункт политических инициатив в интересах польского народа) сливались в общественном сознании воедино. Таким образом, еще задолго до революции комплекс строений в Кривоникольском переулке («Дом Ледницкого») стал «домом польским», что можно писать и с большой буквы, как название сыгравшей свою историческую роль общественной организации, и с маленькой буквы, как определение этнической принадлежности большинства жителей и гостей этого дома, его «национального характера», языка общения его обитателей, сумевших сохранить свою польскую идентичность в русской Москве.

В Москве Ледницкий жил до конца 1918 года, с трудом вырвался, оставив все свое состояние новой советской власти¹⁴,

¹³ Александр Ледницкий (1866–1934) был известным общественным деятелем, адвокатом, журналистом, членом Партии конституционных демократов (кадетов), с 1906 года депутатом Первой Государственной Думы от Минского округа, где находилось родовое имение Ледницких Шейбиче (Szejbicze), с 1914 года – председателем так называемой «Ликвидационной комиссии», созданной в России для урегулирования вопросов, связанных с историей Королевства Польского (Герцогства Варшавского), с судьбой его территорий и материальных ценностей, а также основателем и председателем Польского Комитета помощи жертвам Первой мировой войны. См.: *Lednicki Aleksander* [w:] *Wielka Encyklopedia PWN*, t. 15, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2003. – С. 407–408; *Aleksander Manusiewicz, Polacy w rewolucji październikowej*, Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. – С. 27; *Dariusz Tarasiuk, Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917–1918*, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – С. 59–63, 101–105, 132–135.

¹⁴ «По оценочным данным его [Александра Ледницкого] состояние перед началом Первой мировой войны измерялось несколькими миллионами

уехал в Варшаву ¹⁵, где дальнейшая его жизнь сложилась довольно трагично, в 1934 году он покончил собой. Это, однако, уже другая история, не имеющая отношения к дому в Кривоникольском переулке. Мы, дети предвоенных, военных и послевоенных лет, выросли здесь, *ничего*, абсолютно ничего о прошлом этого дома не зная, никогда даже не слышали имени Ледницкого.

Признаюсь, что идентифицировать «дом Ледницкого» в Москве, а уж тем более «Дом Польский», созданный в 1907 году, с тем жилым массивом, в котором прошли мои детские, школьные и студенческие годы, было довольно сложно. Первым обратил мое внимание еще в 2008 году на то, что дом 8 в Кривоникольском переулке принадлежал до революции Александру Ледницкому, Т. Зарыцкий (заместитель Директора Института социологии Варшавского университета) ¹⁶, которому я за эту информацию приношу сердечную благодарность. Позднее (непростительно поздно – только в 2016 году!) мне довелось прочитать изданные в Лондоне *Дневники* Вацлава Ледницкого ¹⁷ и, сопоставив его описания этого дома с сохранившимися в моей памяти картинами, буквально воскликнуть: «Это же наш дом!».

Собственно, сам «дом» состоял из трех зданий: главного, четырехэтажного, серого каменного строения в стиле модерн в глубине

публей» (См.: Czesław Brzoza, Kamil Stepan, *Posłowie Polscy w Parlamencie Rosyjskim 1906–1907. Słownik biograficzny*, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2001. – С. 113).

¹⁵ В том, что семье Ледницких удалось продержаться в Москве до конца 1918 года и благополучно выехать из советской России, по сведениям, который сообщил мне Т. Зарыцкий, решающую роль сыграл Феликс Дзержинский, который в трудное для него время, когда за ним охотилась царская охранка, несколько ночей скрывался в доме Александра Ледницкого и не забыл оказанного ему гостеприимства.

¹⁶ Письмо Т. Зарыцкого от 25 июня 2008 года в личном архиве автора.

¹⁷ Сын Александра Вацлав Ледницкий (1891–1967), впоследствии профессор Ягеллонского университета, известный историк литературы, автор книг об Александре Пушкине, Льве Толстом, Иване Тургеневе, в своих *Дневниках*, изданных уже в эмиграции, в Лондоне, и в дополняющей эти *Дневники* статье, не раз упоминает события, происходившие в доме его отца. См.: Waław Lednicki, *Pamiętniki*, t. 1–2, Londyn: [Wydawnictwo] R. Świdorski, 1963–1967; Waław Lednicki, *Pamiętniki*, t. 1–2, Londyn: [Wydawnictwo] R. Świdorski, 1963–1967; *Rosyjsko-Polska Entente Cordiale (jej początki i fundamenty 1903–1905, «Zeszyty Historyczne»* (Instytut Literacki Paryż) 1966. – №10. – С. 9–142.

двора и примыкавших к нему желтых двухэтажных флигелей, обрамлявших его с двух сторон, так что общая трехчастная композиция постройки в форме буквы «П» формировала внутренний двор – главный форум и эпицентр нашей детской жизни. Этот большой двор, отделенный от переулка старинной кованой решеткой с витыми узорами на воротах и прямыми вертикальными пиками-стрелами забора, имел два садика, прилегающих к флигелям: правый, северный, у крыльца перед квартирой семьи Барчик (мы говорили всегда во множественном числе – «Барчиков»), бывший крошечным огородом, возделанным руками трудолюбивых членов этой семьи, цветущий весной и плодоносящий осенью, и отделенной от этого огорода площадкой со скамеечками, на которых заседали наши старушки, ведя точный счет всем протекавшим на их глазах событиям; с детской квадратной песочницей, ставшей, наверно, первым вещественным объектом, осознанным моим пробуждающимся сознанием; левый, южный, под окнами нашей квартиры, с незабываемой черемухой, стоявшей до июня в белом цвете и приносившей в августе свои черные вязкие ягоды, бывшие лучшим лакомством для детей нашего двора.

Рисую букву «П», я немного упрощаю конфигурацию всего архитектурного ансамбля. Дело в том, что главный, четырехэтажный корпус не был единым строением, а состоял из двух частей, хотя и «подогнанных» друг к другу (одной высоты, одного цвета, с подобным рисунком окон), но между собой внутри разделенных глухой стеной, и их общий фасад шел не по прямой линии, подобной верхней перекладине буквы «П», а был изломан под углом – и не по центру, а асимметрично, с сильным смещением этого излома влево («влево» – если стоять во дворе лицом к большому дому). Как я теперь понимаю, левая (меньшая) его часть предназначалась для семьи хозяина этого дома Александра Ледницкого, была соответствующим образом перестроена в 1911 году¹⁸ и служила местом

¹⁸ Вспоминая лето–осень 1911 года, Вацлав Ледницкий пишет: «Именно в это время наш дом в Москве подвергся значительным изменениям [...] Отец построил четырехэтажный каменный корпус с прекрасными квартирами, непосредственно прилегающий к нашему *особняку*. Часть нового каменного корпуса была присоединена к нашей квартире так же, как и помещения на втором этаже в глубине уже стоявшего здесь ранее каменного дома, которые прежде сдавались жильцам в аренду. Были выполнены также другие внутренние перестроечные работы, в результате чего наша

собраний и общественной деятельности московской полонии начала XX века; правая, более просторная часть была «доходным домом», причем апартаменты, включающие всю анфиладу помещений одного этажа, предназначались для состоятельных арендаторов, об образе жизни которых могли свидетельствовать остатки былой роскоши: широкие зеркальные окна, паркетные полы, высокие потолки, в нескольких квартирах – балконы.

В наше время каждый из четырех этажей был превращен в коммунальную квартиру коридорной системы (в одной из больших комнат на первом этаже жила Лилечка Ивлева, на четвертом этаже – Ирочка Махницкая, две самые любимые подруги моего дошкольного детства, проведенного в Кривоникольском переулке). Самую хорошую комнату-квартиру с балконом на третьем этаже занимала пани Левандовская, негласная «староста» (председатель «домкома» – «домового комитета») всего нашего дома (формально никаких выборов и назначений не производилось, но все признавали ее авторитет), одинокая, энергичная и решительная женщина, красивая, элегантная блондинка, которая, по слухам, была любовницей Берии; в начале 1950-х годов ее арестовали и посадили, и она навсегда исчезла из нашего дома, но до этого сама успела «посадить» нескольких его жильцов, в том числе девочку-сироту Галю, якобы укравшую у Левандовской ее заграничные туфли. В отличие от Левандовской, Галя, отсидев несколько лет, в наш дом вернулась. Потом так получилось, что в сентябре 1956 года мы с ней едва ли не в один и тот же день стали «мамами», и три коляски – с ее дочкой, с моим Митей и с Сашей – сыном жившего в том же «большом доме» на первом этаже Генки Козакевича (племянника известного писателя Козакевича) стояли всегда рядом в нашем дворе под балконом пани Левандовской.

От жилых комнат, рабочих кабинетов, знаменитой библиотеки и залов для приема гостей Александра Ледницкого к моменту нашего вселения в этот дом остались только фрагменты. Я хорошо помню те из них, что сохранились в квартирах на третьем этаже в

квартира превратилась в настоящий дворец с колоннами, просторными покаями, украшенными резными карнизами, прекрасными паркетными полами и т. п.» (Wacław Lednicki, *Pamiętniki*, t. II, Londyn: B. Świderski, 1967. – С. 152–153).

левой части большого каменного дома (вероятно, именно это пространство Вацлав Ледницкий называет «помещениями на втором этаже»: второй этаж в европейском понимании соответствовал третьему этажу в нашей системе архитектурных отсчетов). В одной из таких комнат жила семья Сокольских (мать с двумя дочками – Галей и Ирой). С младшей дочкой, Ирой, мы были одного возраста, я ходила к ней в гости, и помню, с интересом рассматривала сохранившиеся капители колонн, оказавшихся в жилой квартире, и уходившие за перегородку с соседней квартирой рельефы пластичного аттика, и совсем неожиданные ступени, которые вели от двери вниз – в бывшую балльную залу, покрытую узорным паркетом. Вся эта зала была разделена перегородками на несколько тесных квартир (одной из них была квартира Сокольских), и от былой роскоши «просторных покоев» каждому из обитателей таких квартир остались лишь удивительные отрезки.

Наиболее благоустроенная квартира в бель-этаже каменного дома (той его левой части, где когда-то оборудовал Ледницкий свой жилой «дворец»), с застекленной верандой, принадлежала в наше время семье Юнг, и об этой семье мне хотелось бы здесь сказать, сделав отступление от изложения общей истории нашего «польского дома». Причудливые витки судеб людей «сталинской эпохи» сплелись в истории этой семьи, глава которой был ученым, кажется, в области минералогии. И он, и его жена Софья Александровна, выводившая на прогулку во двор нашего дома двух милых белых собачек, и соответственно их дочь Софья были немцами (я бы даже не сказала, «обрусевшими» – скорее «настоящими» немцами), но никакие гонения, которым было тотально подвергнуто все немецкое население Советского Союза с началом Великой Отечественной войны, Юнгов никак не коснулись. Не думаю, что спасением могли стать научные заслуги и способности Юнга-старшего ¹⁹, тем более что, как известно, никакие научные достижения не служили людям гарантией от сталинских репрессий, достаточно вспомнить в этой связи судьбу академика Николая Вавилова. Просто так улыбнулась им судьба. Наверно, и доносы на них писали. Если уж я ребенком слышала от соседей (говорили об этом все

¹⁹ Я даже не нашла его имени ни в каких энциклопедиях и академических справочниках, так что слишком крупным ученым он, видимо, не был.

кому не лень), что в октябре 1941 года Юнги никуда эвакуироваться не собирались, а «ждали немцев», Софья Александровна выбивала пыль из ковров и чистила квартиру до блеска, – то наверняка нашлись желающие известить о таком поведении Юнгов «компетентные органы». Но, по-моему, даже никаких мелких неприятностей у Юнгов никогда не было. Лицо Софьи Александровны всегда сияло безмятежной, доброй, приветливой улыбкой.

Итак, повторю, что обитатели нашего дома ничего не знали о его польском дореволюционном прошлом, и имя Ледницкого никогда не упоминалось ни в советской документации, касающейся этого дома (его «управление делами» – контора «управдома» Юлии Павловны Боевской – располагалось во дворе дома 2 по Кривоникольскому переулку), ни в разговорах его жильцов, хотя, вероятно, среди них могли быть и некоторые «старожилы» (большой дом нуждался в обслуживающем персонале – в истопниках, уборщиках, сторожах, швейцарах, библиотекарях, и может быть, не все они уехали вместе с Ледницкими в 1918 году в Варшаву). Однако, ничего не зная о прошлом, мы все-таки знали, что наш дом и двор (Кривоникольский, 8), в отличие от всех известных нам больших и малых московских домов, является «польским домом».

Вероятно, где-то в 1919 или в 1920 году было принято решение о заселении всего этого жилого комплекса семьями людей, бывших членами и работниками польско-литовской секции переехавшего в Москву из Петрограда Коминтерна. Никакими документами, проливающими свет на точное время принятия такого решения, его «авторство» и его мотивацию, я, к сожалению, не располагаю, и честно говоря, сегодня мне трудно представить себе ход мыслей московских чиновников, заседавших в городском совете или в аппарате Коминтерна, принявших решение о заселении бывшего дома Ледницкого семьями работников польско-литовской секции Коминтерна. Вряд ли этим чиновникам было известно такое понятие, как «дух места», и уж тем более сомнительно, будто им хотелось сохранить ниточку преемственности между старым «Домом Польским» (да еще местом «кадетских сборищ»!) и московскими поляками советской формации. Вероятно, выбор на бывший дом Ледницкого для передачи его полякам Коминтерна пал чисто случайно, хотя не исключено, что уже тогда, на рубеже 1910–20-х годов, смутно вырисовывался проект будущего «большого террора»

(было удобно собрать в одном месте все «подозрительные элементы», так легче было за ними следить, пользуясь услугами осведомителей, издавна говоривших в этом доме на польском языке).

Итак, перестав быть «Домом Ледницкого» Кривоникольский, 8 второй раз стал «польским домом» уже на совершенно иной социально-политической и культурной основе. Надо иметь в виду особый, специфический характер этой среды, на которую наложила свой отпечаток та идея *социалистической революции (коммунистической утопии)*, которая оказалась и величайшим заблуждением, и трагическим провалом всех благородных намерений и направленных на ее реализацию усилий, и в конечном итоге преступлением против человечества. Это была в точном соответствии с классическими определениями *революция, пожиравшая своих собственных детей*, революция, которую замыслили идеалисты, совершали авантюристы и плодами которой пользовались подонки и подлецы, функционеры тоталитарных и авторитарных режимов. Если о лицах этой последней категории много написано (особенно после 1991 года) и хорошо известно, то надежды тех *идеалистов*, в частности, поляков, которым социалистическая революция казалась формой продолжения национально-освободительной борьбы, которые видели единую нить преемственности между восстанием Тадеуша Костюшки, ноябрьским, январским восстаниями, баррикадами 1905 года и октябрьской революцией в России, забыты, можно сказать, вычеркнуты из истории. Мне хотелось бы восполнить этот пробел (или исправить этот историографический перекос), рассказав правду о поляках, оказавшихся в Москве в итоге их участия в революционном движении. Далеко не все из них были «исчадиями ада».

Так называемые политические «каторжане», освобожденные в 1917 году, возвращались с мест ссылки и каторги, главным образом, в Москву, поскольку линия фронта еще продолжавшейся Первой мировой войны отрезала их от Польши и не позволяла вернуться на родину (в Варшаву, Лодзь), даже если бы они хотели немедленно в родные места вернуться. Не все, однако, этого хотели, поскольку намеревались не отдыхать после тюрьмы и каторги, а участвовать в активной общественной деятельности, продолжать национально-освободительную борьбу – борьбу за освобождение своего народа, которую они связывали с идеалами социального

равноправия и пролетарского интернационализма. Москва представлялась им оплотом этого движения. Большинство из них изначально были связаны с Социал-Демократической партией Польского королевства и Литвы (SDKPiL – Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy), деятельность которой после революции возобновилась в новом формате – в рамках польско-литовской секции Коминтерна (III Коммунистического интернационала), обосновавшегося в Москве ²⁰.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что это была едва ли не единственная организация, делавшая ставку на объединение польского и литовского рабочего и национально-освободительного движений в борьбе против царизма. Вопреки реальному ходу истории, показавшему (кстати, к сожалению многих поляков) невозможность такого объединения и завершившемуся созданием разных, независимых от России государств – Литвы и Польши, «московские» поляки и литовцы, воспитанные в традициях SDKPiL, еще долго лелеяли иллюзию возможного политического сотрудничества друг с другом. Это нашло выражение и в организационной структуре Коминтерна, в котором существовала объединенная польско-литовская секция, и на уровне повседневной жизни польских и литовских диаспор в Москве. Те московские поляки и литовцы – как старшего, так и молодого поколений, – которые сохранили вопреки атеистической пропаганде (или обрели заново в годы «хрущевской оттепели» или «горбачевской перестройки») свою религиозную идентичность, были равными прихожанами единственного в столице католического костела Св. Людовика на Лубянке, а в доме 8 по Кривоникольскому переулку звучал и польский, и литовский язык, и если люди ссорились друг с другом, то

²⁰ SDKPiL возникла в 1900 году в итоге слияния Социал-демократии Королевства Польского с Рабочим Союзом Литвы. В 1906 году она объединилась с РСДРП (вошла в состав РСДРП) как единая территориальная организация. Сегодня мало кто о ней помнит. Буквально несколько слов посвятила ей в своей статье М.И. Смирнова, назвав среди активистов этой партии Т. Волостовского, А. Кэлзу, Л. Росола, Ф. Дзержинского, Ю. Мархлевского (Смирнова М.И. *Национальные политические партии России социал-демократического направления (конец XIX – начало XX в.)* // *История национальных политических партий России*. Материалы международной конференции. – М.: Росспэн, 1997. – С. 131–135).

никогда вражда не возникала «по национальному признаку», и некий призрак польско-литовско-еврейско-русского «интернационала», действительно, витал над этим бедным домом.

Выберу из своих воспоминаний два имени, две судьбы, каждая из которых вмещается в своего рода горькую, драматическую новеллу. Первую новеллу можно озаглавить «Анна Сулеевская», вторую – «Наденька Соколенко».

Анна Тимофеевна Сулеевская была нашей близкой соседкой, проживавшей, как и мы, на втором этаже южного флигеля (этот этаж, по сути, был большой «коммуналкой», хотя формально каждая семья имела свою «квартиру»: наша носила №23, комнатка Сулеевской – №21). Думаю, что родилась Анна Сулеевская в середине 1880-х годов. Юной девушкой, работницей Лодзинской фабрики, она принимала участие в революции 1905 года, за что была сослана на каторгу в Сибирь. В наше время она имела почетный титул «каторжанки», хотя уже в 1930-х, а тем более в 1940–50-х годах старые, царских времен, каторжане никакими льготами у советской власти не пользовались. Жила она очень бедно, скромно, в удивительно чистой, опрятной комнатке, такой крошечной, что там помещалась только одна узкая кровать и столик в изголовье, даже для стула рядом с кроватью не было места, и сколько я себя помню, когда я приходила к ней в гости, мы всегда сидели с ней друг против друга на ее кровати. Этой женщине я не меньше, чем своему родному отцу, обязана сохранением своей польской идентичности. Она не только говорила со мной по-польски, она умело как-то очень тактично внушить мне, как важно вопреки всему сохранить польское достоинство, не забыть своих польских корней. Думаю, что я в ее одинокой жизни тоже играла не последнюю роль: вероятно, она нуждалась в моем детском внимании, в моем неподдельном интересе ко всему, что связано с далекой Польшей.

Пик нашей дружбы, если можно так назвать отношения между семилетней девочкой и шестидесятилетней женщиной, приходится на последний военный год, когда наша семья вернулась в Москву из эвакуации. Долгие часы проводила я в ее комнате, внимательно слушая все то, что в принципе и идеале должно было сделать из меня последовательную, самоотверженную пионерку-комсомолку-коммунистку, наследницу дела «Великой Революции» (за этим-то

делом и за своим любимым вождем Влодзимежом Лениным и пошла она сама сначала на каторгу, а потом на полукаторжную жизнь в советской столице) и в то же время настоящую польку, никогда не забывающую свою историческую Отчизну и свой язык. Видимо, в полной мере ей не удалось ни то, ни другое, однако, забыть эту женщину я никогда не смогу и всегда буду поминать ее добрым словом.

Она была одной из тех немногих, мимо которых прошла стороной страшная чаша испытаний 1937 года, но никак нельзя сказать, что ее судьба сложилась благополучно. Дело в том, что в Польше осталась ее семья, муж (любимый муж, красивый муж) и двое детей (чудесных мальчиков, чьи фотографии она бережно хранила). Однако, период ее женского и материнского счастья (где-то пять лет между возвращением с каторги в родную Лодзь и началом новых бурь и потрясений в 1917 году) был очень коротким. Не знаю точно, какой именно порыв этих жестоких ветров повлек ее из Польши в Москву (даже не знаю, до октября 1917 года это случилось, или уже нелегальными путями перебиралась она из независимой Польши в свой красный Коминтерн), но точно знаю, что ее расставание с мужем и детьми было очень трудным, хотя тогда она еще надеялась скоро вернуться к ним, и с каждым годом жизни в Москве к своему ужасу и отчаянию все больше теряла эту надежду. Только после войны ей удалось добиться разрешения на поездку в Польшу. Это было в 1946 году (или в конце 1945 года), задолго до какой-либо либерализации «разрешений на временный выезд за границу», так что предполагаю, потребовалось от нее колоссальное волевое усилие для того, чтобы такого выезда добиться. Наверно, были у нее перед советской властью и заслуги, а может быть, и влияния, знавшие ее революционное прошлое покровители (или иные высокие чиновники, связывавшие с ее поездкой собственные расчеты и планы), которые способствовали получению такого разрешения. Никто другой в нашем дворе ни о чем подобном тогда не смел и мечтать. А Анна Сулеевская, на седьмом десятке лет своей жизни, после тридцатилетней разлуки, в Польшу поехала, и добиралась туда (и возвращалась обратно) не в скорых поездах и купейных вагонах повышенной комфортности, а в эшелонах, где ей пришлось встретиться с такими издевательствами, поборами, грабежами, хамством разного рода стражников и попутчиков (включая

и доблестных советских солдат-победителей), о которых она не имела и отдаленного представления даже по своему горькому каторжному опыту.

Эта поездка была для нее фатальной. Она нашла свою семью – и бывшего мужа, и ставших взрослыми мужчинами сыновей (оба служили в годы войны в Армии Крайовой и находились в конфликтных отношениях с новой властью, становящейся все более похожей на советскую диктатуру). И муж, и дети отвернулись от нее, не приняли ее в свои семьи, не пожелали признать ее ни женой, ни матерью, не простили ей ни давнего отъезда в Москву, ни нынешнего ее статуса советской гражданки и коммунистки. Перед ней были совершенно чужие люди, как и перед ними – чужая, незнакомая женщина, представительница враждебной им страны и враждебной, коммунистической идеологии.

Она вернулась из Польши разбитая и больная, постаревшая за пару недель на много лет, и очень скоро тихо скончалась в своей узкой комнатке. Помню, что похоронами ее распоряжалась Стефания Барчик, считавшаяся активисткой в нашем польском доме. Ничего ценного за всю свою жизнь Анна Тимофеевна Сулеевская не приобрела, не скопила, так что ни у кого даже мысли не возникло о том, будто из ее имущества можно было что-то присвоить или как-то на этом обогатиться, это исключалось. Но всем было жаль (я помню, даже мама, очень далекая от забот о сохранении материальной документации участия поляков в революции и деятельности Коминтерна, говорила: «Как жаль!»), что два полных мешка писем и каких-то других бумаг, хранившихся у Сулеевской, Барчик вынесла и выбросила в помойку (огромный деревянный ящик общей помойки стоял во дворе у самых ворот).

Уже через два дня в маленькой комнатке Сулеевской поселилась другая, русская семья Иваницких.

Вторая история из жизни обитателей нашего дома, которую я хотела бы рассказать, окончилась серебряным звоном возвещавшего сладкий «happy end» колокольчика в 1956 году. У нее только было трагическое начало.

В нашем доме, на первом этаже южного флигеля, жила семья Соколенко. Глава семьи был по национальности не поляк, а украинец, что каким-то образом все во дворе знали и особо подчеркивали. Кажется, в Коминтерне он занимался делами украинского

меньшинства «Восточных Кресов» Второй Польской Республики. К тому времени, как я его помню (а внешне на моей памяти он за много лет почти никак не менялся), это был человек с желтоватым мрачным лицом, в очках, с абсолютно лысой, как шар, головой, довольно высокий и широкоплечий, но это было незаметно, потому что ходил он, как-то сгорбившись, сутулясь, словно сжавшись от напряжения. Впрочем, «ходил» он мало, во всяком случае мы видели его во дворе крайне редко. Кажется, он работал дома, всегда сидел за письменным столом, и кому из ребят доводилось хоть глазком заглянуть внутрь этой квартиры, все видели только его спину в черном сюртуке и голову, склоненную над столом. Он, действительно, был очень мрачным, суровым, никогда не улыбался, и даже если случалось столкнуться с ним на площадке (наша лестница на второй этаж начиналась как раз от дверей его квартиры), никогда не отвечал на вежливые детские приветствия, вообще, не замечал детей и уходил к себе, резко захлопывая за собой дверь. Взрослые рассказывали, что раньше (еще совсем незадолго до нашего переезда в этот дом) у Соколенко была молодая жена, о которой все, не сговариваясь, обязательно говорили два слова: «полька» и «красавица» (видимо, одной красоты было еще недостаточно, важно было и то, что она полька, как, впрочем, и наоборот: дело было не только в том, что она была полькой, но еще и в том, что она была красавицей). Анна Тимофеевна Сулеевская, всегда придававшая большое значение политическому облику человека, еще добавляла, что она была активным членом партии и деятелем Коминтерна. Я эту женщину никогда не видела, ее арестовали в 1937 году. Зато я видела и хорошо знала ее дочь Ванду – Наденьку Соколенко. Мы были ровесницы, мы вместе росли в этом доме, в этом дворе, только у нас с ней было разное, совсем разное детство. Мое было окружено любовью и заботой мамы, папы, бабушки, а Надя Соколенко, при живом отце, была сиротой, даже хуже, чем сиротой, она была падчерицей ненавидевшей ее, буквально сживавшей ее со свету женщины.

На глазах у всего дома на протяжении многих лет разыгрывалась самая настоящая страшная сказка о злой мачехе и бедной Золушке, окрашенная зловещими тонами «социалистического реализма» московских 1930–40-х годов. Мачеха не с неба свалилась на бедную Надину голову. Раньше она была домработницей в семье

Соколенко, взятой в связи с рождением девочки и занятостью ее родителей (оба они работали в Коминтерне). Молодая, энергичная домработница (хорошо помню ее круглое лицо с бесцветными глазами), видимо, еще в своей деревне прошедшая школу советской политграмоты, быстро сориентировалась в 1937 году: по ее доносу жену Соколенко («польскую шпионку») арестовали, а сам Соколенко, кажется, навсегда, лишившийся голоса и дара речи, стал мужем этой домработницы. В отношении новой жены с подрастающей дочерью он никогда не вмешивался, и мне кажется, даже таланта Диккенса не хватило бы на то, чтобы правдиво и подробно описать все мучения, все издевательства, все истязания, которым подвергалась Наденька на протяжении всех лет ее детства и отрочества. Ее подлинное имя «Ванда» было под запретом. Она всегда была голодной, одетой в какое-то страшное черно-серое ветхое старческое тряпье (попытки моей мамы и других соседей подарить ей что-либо нарядное кончались ничем, все исчезало бесследно), ее так безобразно коротко стригли, словно она постоянно находилась в состоянии едва перенесенного тифа. Ей ничего не разрешали – играть, гулять, ходить к кому-нибудь в гости, у нее не было никаких игрушек, а когда появилась на свет ее сводная сестренка (к которой, надо сказать, Надя потом искренне привязалась и очень любила ее), мачеха заставляла Надю с утра до вечера нянчить ребенка и даже целыми неделями не отпускала ее в школу. Способная, живая девочка, она была настолько запуганной, забитой (это уж не в переносном смысле слова), лишенной всяких радостей, не имевшей даже элементарных возможностей делать дома уроки, что плохо училась (мы с ней были ровесницы, но вскоре, оставшись на второй год, она отстала от меня и даже не на один класс), и ни о какой красоте никто не мог бы подумать, взглянув на эту маленькую (Надя сильно отставала в росте), худенькую, как спичка, фигурку, на бледное личико или щербатый рот (Надю никогда не лечили и не водили к врачу).

А потом совершилась сказочная метаморфоза: Надя снова стала Вандой, Надя стала, как ее мама, «полькой» и «красавицей», у Нади нашлись родственники в далекой Польше – родная бабушка, родная сестра погибшей мамы, двоюродные братья и сестры, и все они любили ее (а до 16-ти лет Надя просто не знала, что это такое – любовь родных людей), и очень хотели вырвать ее из нашего дома,

из нашей Москвы, из нашей страны. Им это удалось. Я не знаю, через какие формальности прошла эта процедура (кажется, польская тетя оформляла опеку над еще не совершеннолетней Вандой), я даже не знаю точно, как эта тетя нашлась, помог ли здесь Красный Крест, к которому настойчиво обращались после войны польские родственники Ванды, что-то знавшие о ее рождении и о гибели ее матери, или сам Соколенко сделал из мрачной глубины своего письменного стола какой-то шаг навстречу этим поискам. Я знаю только, что Ванду отправили в Польшу. Весной 1956 года (а это была уже свободная весна нашей послесталинской студенческой жизни) Ванда (уже не Соколенко) приехала навсегда попрощаться со своим старым домом, с отцом и сестрой. Приехала настоящей принцессой. В бедной, убогой Москве каждая сверкающая косынка, юбочка, блузка, которую она надевала, выходя во двор, казалась ослепительной драгоценностью, но самым главным волшебством было все ее преображение: как лежали ее пышные локоны, как сияла ее белоснежная улыбка, как светились ее синие глаза (мы и цвета-то их раньше не знали), как легко и прозрачно звучала ее чистая польская речь. Не знаю, как дальше сложилась ее судьба, очень искренне желаю ей счастья и буду рада, если ей случится прочесть эти строки моих воспоминаний и запоздалых горьких размышлений.

Мне кажется, что все, о чем я вспоминаю и пишу, рассказывая об обитателях нашего «польского дома», так или иначе затрагивает очень сложную и интересную проблему польской идентичности в условиях жизни поляков в России – неизбежной утраты и поразительной силы сохранения этой идентичности. Позволю себе немного поразмышлять над этим чудом.

Начну с собственного горького опыта – с того, что пережила моя семья при вселении в дом по Кривоникольскому переулку зимой 1939 года, когда я была еще двухлетним ребенком (сознание не зафиксировало этого события, но мне кажется, осталась какая-то «подкожная» память).

Квартира 23, ордер на которую дали моему отцу, освободилась буквально накануне нашего вселения. До нас там жила молодая польская семья, как-то связанная Коминтерном: не знаю, работал ли там и на какой должности глава семьи, или они вместе с женой, да и фамилию этих людей я не помню, хотя мне ее называли и

смутно осталось в памяти что-то вроде «Рацкевич». Соседи (главным образом, Анна Сулеевская) рассказывали, что это были очень милые, интеллигентные люди, горячие энтузиасты социалистического преобразования мира, искренне верившие во все, во что должны были верить молодые коммунисты-интернационалисты той эпохи. Февральским вечером 1939 года эта семья праздновала день рождения (именины) молодой хозяйки, к ним пришли гости, было очень весело, и поздравляя именинницу, собравшиеся несколько раз пели по польской традиции поздравительные куплеты *Sto lat / Sto lat...* Наутро соседка, бабка Симонова («бабкой» ее называли в отличие от других женщин той же семьи Симоновых-Басковых, живших в подвале большого дома), побежала к уполномоченному НКВД с доносом на «польских буржуазных националистов», которые устраивают на своей квартире контрреволюционные сборища и поют («śpiewają», как пересказывала этот донос Сулеевская) националистические гимны: своим поступком старая Симонова очень гордилась и всем содержание своего заявления пересказывала. Вечером того же дня их арестовали. Взяли обоих – и мужа, и жену. В запечатанной, опломбированной квартире оставили двух маленьких детей, за которыми позже должны были приехать чиновники из детского распределителя. Из-за каких-то бюрократических несовпадений (то ли известили этих чиновников с опозданием, то ли помешал им выходной день) приехали за малышами только через двое суток. Два дня соседи слышали их то нарастающий, то затихающий крик. Когда мои родители въехали в эту квартиру (детей перед этим только что забрали), то увидели страшную картину ободранных детскими ручонками обоев. Эта история настолько травмировала сознание моей мамы и бабушки (отец никогда ни слова об этом не говорил), что на всю мою последующую жизнь наложил отпечаток их безумный, отчаянный страх. Они жили в стране, где быть поляком, говорить по-польски, петь по-польски невинные поздравительные куплеты (а ведь больше никакой иной вины перед государством у тех людей не было!) было смертельно опасно. Поэтому они умоляли меня не говорить никому в школе о том, что мой отец поляк. Когда отец говорил со мной по-польски и читал мне стихи Адама Мицкевича (а он помнил их наизусть целыми страницами), мама очень расстраивалась и гово-

рила ему, что это может плохо кончиться и для него, и для его дочери. Когда мне исполнилось 16 лет и пришла пора получать паспорт, в который по моему выбору и указанию должна была быть вписана моя национальность (в метрике у меня стояло: отец – поляк, мать – русская), мама, которая никогда прежде так со мной не говорила, сказала: «Боже тебя упаси выбрать польскую национальность, Боже тебя упаси!». Я не посмела послушаться. Шел тогда 1952-й год. И с той поры во всех моих российских документах и в паспорте (пока не ввели паспорт современного образца, без записи национальности) было указано: «русская».

Так мы теряли, во всяком случае формально, нашу польскость. Впрочем, «теряли» как-то странно. Возникало непреодолимое раздвоение идентичности: в школе я была обычная русская девочка, во дворе – полька; в общении с мамой и бабушкой – русская, в общении с папой – полька. Чем больше нагнетался страх, тем сильнее моя душа (или какая-то часть моей души), скованная вынужденным молчанием, кричала: «Я не русская, я полька!». Когда времена изменились и в своем польском происхождении уже можно было признаться, я стала полькой, может быть, больше (самозабвенно, со страстью), чем все поляки вместе взятые, жившие не в России, а в Польше. Однако, двойственность воспитания не прошла даром: по культуре, языку, знанию отечественной истории я не была настоящей полькой, даже во всеоружии высоких научных степеней и ученых званий (естественно, присужденных мне в России) я оставалась полуграмотной полькой. По убеждению и глубинному чувству «родной земли» я никогда не была настоящей русской, неведомую и далекую Польшу я всегда любила больше, чем очень хорошо известную мне Россию.

С моей детской подругой, жившей в том же доме 8, Ирочкой Махницкой, происходило нечто подобное: ранняя, насильственная «деполонизация» и упрямое сохранение «польскости» в глубине души. Полькой была ее бабушка, «каторжанка», революционерка и коммунистка Махницкая (имени не помню). Она жила на 4-м этаже большого дома, в хорошей по меркам того времени комнате с большим окном. Родных детей у нее не было, и она взяла на воспитание из детского дома девочку Нину (уже в перестроечное время, встретив ее в польском Посольстве на одном из культурных мероприятий, проводимых для поляков Москвы, и разговорившись, я узнала,

что по национальности она тоже полька, Янина, видимо, поэтому ее и выбрала бабушка Махницкая). Нина вышла замуж за русского человека, который переехал в эту квартиру, его звали Владимир Иванович Носихин. Ирочка (по записи в метрике – Ираида Махницкая) была настоящей польской девочкой – и внешне (светловолосая, сероглазая), и по языку, на котором мы с ней в нашем самом раннем возрасте общались, и по фамилии «Махницкая», которую знал весь двор и только так отличал Ирочку Махницкую от другой Ирочки – Сокольской. Но когда Ира Махницкая пошла в школу, ее записали по фамилии «Носихина», запретили даже вспоминать фамилию «Махницкая», строго-настрого не велели ей ни слова говорить по-польски, не позволяли ей дружить с польскими детьми (и меня тоже перестали приглашать к ним в дом, где я иногда сбивалась в разговоре на польский язык), и даже с бабушкой Махницкой ей не разрешали общаться. Последние годы жизни старой Махницкой, когда они жили впятером в одной комнате (у Ирочки еще был младший брат), были очень нелегкими. Мы с Ирочкой надолго расстались и встретились только в начале 1990-х годов.

Казалось бы, в нас систематически убивали все польское. Но убить не могли.

В нашем доме всегда звучала польская речь, правда, все более решительно вытесняемая русской речью, но даже в этой русской речи, и не только у людей старшего поколения, но и у детей, никогда никакой Польши не видевших, учившихся в русской школе, оставался неистребимый польский акцент и сохранялись удивительные полонизмы. Все мы говорили «**вода**», а не **вода**», делая ударение на первом слоге; все понимали, что такое «цыбуля» (любимое кушанье моего отца, которое оказывалось в его тарелке супа), не желая называть ее «вареным луком», а вместо «или» говорили «илибо», что было произвольной комбинацией русского «или» с польским «albo». Пусть историки и лингвисты попробуют объяснить эти особенности языка молодых московских поляков, которых никогда польскому языку не учили: никаких польских школ, никаких курсов польского языка тогда в Москве не было.

У обитателей нашего дома и двора были польские имена и фамилии. Не располагаю точной статистикой и историческими фактами, но наверно, не ошибусь, если скажу, что на начальном этапе «советской истории» нашего дома едва ли не каждая семья, получившая

здесь квартиру, имела польское происхождение (в этническом измерении это могли быть не только «чистые поляки», но и польские евреи, и литовцы, и украинцы, и смешанные семьи). Со временем это положение менялось. Многие поляки стали жертвами репрессий 1930-х годов, когда арестам и расстрелам подвергались не только главы семейств, но целые семьи выселялись, «вырезались» с корнем. Война также многих разбросала по свету: не все эвакуированные, не все, призванные на фронт, вернулись в родной дом. После войны «наши» поляки не могли воспользоваться правом репатриации, которое распространялось только на тех, кто был гражданами Польши (Второй Польской Республики) до сентября 1939 года (а «наши» поляки были советскими гражданами), и лишь очень немногим удалось вырваться из этих юридических капканов, воспользоваться какими-то исключениями или отступлениями от первоначально жестких правовых норм, уехать, вырваться из Советского Союза и вернуться на родину своих предков – в Польшу (такая возможность открылась лишь после смерти Сталина, после XX съезда КПСС, в еще большей степени после развала СССР, когда нашего «польского дома» в Кривоникольском переулке уже не существовало). Но если никуда не могли уехать поляки, то литовцы свободно могли переехать после войны в Литовскую ССР, и они делали это охотно и добровольно, никакого «московского патриотизма» не проявляя ²¹. Каждый отъезд (или арест, или смерть) поляка, проживавшего в нашем доме, или целой польской семьи означал появление в квартире новой, как правило, русской семьи, и весь дом со временем все более неотвратимо превращался из «дома польского» в обычный советский дом. В гораздо большей степени, чем внешние факторы (переезды, переселения) на утрату «польскости» жильцов нашего дома влияли процессы вынужденной, ускоренной, вызванной политическими и моральными обстоятельствами ассимиляции.

²¹ Так сложилась судьба наших непосредственных соседей, занимавших квартиру 22 в доме по Кривоникольскому переулку, – семьи Попечкис. Старшего Попечкиса, который занимал какую-то должность в Коминтерне, я в живых уже не застала, главой семьи была его вдова – властная, суровая, своенравная женщина; ее сын Зыгмунтас на моих глазах превращался из ангелоподобного белокурого мальчика в прекрасного юношу; он женился на русской девушке Наташе, над которой безжалостно измывалась свекровь; в конце 1940-х годов все они уехали в Литву. В их квартиру въехала русская семья.

Все, что с нами происходило, может служить классической иллюстрацией ассимиляции поляков в СССР. Люди боялись признаться в своем польском происхождении, выдавали себя за русских, своих детей (от смешанных и даже от моноэтнических польских браков) «записывали» русскими, если удавалось обойти бдительность органов, следивших за «правильным» и точным заполнением известного 5-го пункта советских анкет («национальная принадлежность»), старались говорить только по-русски. Историкам это хорошо известно. Вынужденная необходимость скрывать свою национальность самым горьким образом коснулась жизни не только московских поляков, но всей польской диаспоры в СССР. «В памяти старшего поколения поляков, – пишут в этой связи С. Шинкевич и И. Заринов, проводившие социологические исследования среди ссыльных поляков Казахстана, – сохранилось убеждение о том, что прежде, чем власти стали пристрастны (со знаком минус, конечно) к представителям других национальностей (немцы, финны, евреи и др.), поляки были, пожалуй, первыми, кому приходилось скрывать свою этническую принадлежность в школе, на работе, в ЗАГСе и т. д. Как показали опросы [...] уже к 1932 году проявилась самозащитная тенденция заявлять о принадлежности к русской национальности при заполнении документов»²². Я могла бы дополнить эти выводы конкретными примерами, касающимися судьбы жильцов нашего «польского дома». Но, пожалуй, главное, что хотелось бы при этом подчеркнуть, – это все-таки поразительная неистребимость «польского духа». Буквально вопреки всему. У нас не было никакой соломинки, за которую можно было бы схватиться в попытках сохранить польскую идентичность. У нас не было польских школ, а советская школа не учила нас ни любви, ни уважению к польской истории и культуре. У нас не было (во всяком случае, у большинства из нас) никаких связей с родными, оставшимися в Польше. Связи жильцов нашего дома с родственниками, проживавшими в Польше, практически были прерваны или тщательно скрывались. Магическая формула «Родственников за границей не имею», записанная в анкете по

²² С. Шинкевич, И. Заринов. *Поляки Российской империи и СССР: историческая справка и характеристика современной ситуации*. – М.: Институт этнологии и антропологии Российской Академии наук, [1992]. – С. 11.

учету кадров, в сталинские времена могла спасти человека от репрессий (хотя, разумеется, это была не гарантия, но все же некоторая иллюзия возможного спасения). Написавший такие слова человек по сути отрекался от своих родных, хотя у большинства польских жителей нашего дома близкие или дальние родственники в Польше были, но их судьбы, адреса и даже имена были нам (особенно детям середины XX века) уже неизвестны ²³.

Нами, по-моему, совершенно не интересовалось ни правительство довоенной Речи Посполитой, ни коммунистическое правительство ПНР, и соответствующие дипломатические представительства польского государства в Москве не проявляли ни малейшего интереса к «польскому дому» в Кривоникольском переулке, а может быть, и не подозревали о его существовании. Никаких контактов с «официальной» Польшей, с Посольством, с делегациями, посещавшими еще в сталинские, довоенные времена Советский Союз, жильцы нашего дома не имели, а «польская сторона» не предпринимала никаких попыток установить формальную или неформальную связь с жильцами нашего дома. Об этом красноречиво свидетельствует изданный в Кракове маленьким тиражом *Дневник поездки в Москву* Стефана Коморницкого, посетившего Москву в декабре 1933 года в составе группы польских экскурсантов, находившихся под опекой Интуриста ²⁴: ни единого упоминания о нашем доме в этом *Дневнике* нет.

Правда, ставший во второй половине 1930-х годов Послом Польской Республики в Москве Вацлав Гжибовский (Wacław Grzybowski), о котором я уже вспоминала выше, как выясняется из опубликованных в Лондоне *Дневников* друга его юности Вацлава Ледницкого, хорошо знал адрес «Кривоникольский, 8». Вацлав Ледницкий вспоминает об обеде, «который мама организовала в нашем доме по моей просьбе в связи с приездом в Москву

²³ Так, я, например, не знаю, что стало с семьей сестры моего деда Александра – тётки моего отца, которую он последний раз видел вместе с ее маленькими детьми в Люблине летом 1914 года; не знаю, где живут ее вероятные внуки и правнуки, даже как их зовут.

²⁴ Stefan Komornicki. *Dziennik podróży do Moskwy*. – Krakow: drukarnia «Czasy», 1934.

[в 1911 году] Вацека Гжибовского»²⁵. Но Гжибовский бывал (и вероятно, не раз) в дореволюционном «Доме Ледницкого», и никогда его нога не переступила порог советского «польского дома» в Кривоникольском переулке в тот период (вплоть до самого горького часа в ночь на 17 сентября 1939 года), когда Гжибовский был официальным Послом Польши в Москве. Знал ли он о том, что в этом доме по-прежнему живут поляки (совсем «другие» поляки), что доносила Послу о нашем доме польская разведка, проявляла ли она к нему какой-либо интерес или ни малейшего интереса за отсутствием достойных ее внимания субъектов среди жильцов этого дома не проявляла, – этого, наверно, мы уже никогда не узнаем (Вацлав Гжибовский умер в Париже в 1959 году).

Не замечало наш дом и Посольство ПНР в послевоенной Москве, причем даже в период *перестройки* его активная деятельность по пропаганде польской культуры, нашедшая богатое освещение в книге воспоминаний Посла Мечислава Войтчача, которую он сам характеризовал как *Хроника времен, когда польская культура завоевывала Советский Союз, потрясенный горбачевской перестройкой*²⁶, в самую последнюю очередь была адресована московским полякам, редко оказывавшимся среди гостей, приглашенных на просмотры фильмов, концерты или выставки, организуемые в Посольстве. Все эти мероприятия были в первую очередь рассчитаны на русскую общественность, симпатии которой новая Польша должна была завоевать.

Нас не могла утешить и объединить католическая церковь, и то, что пишут исследователи о ее позитивной роли в сохранении национально-культурной идентичности польской диаспоры в условиях «сибирской ссылки» и в иных обстоятельствах, к нам не имеет никакого отношения: мы не ходили в костел²⁷, нас не крестили и не

²⁵ Waclaw Lednicki. *Pamiętniki*. T. 2. Londyn: [Wydawnictwo] R. Świdorski, 1967. – С. 202.

²⁶ Mieczysław Wojtczak, *Zdobywanie Moskwy, Zapis czasu, gdy polska kultura podbijala Związek Radziecki wstrząsany Gorbaczowowską pieriestojką*, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2006.

²⁷ В Москве существовал и даже в самые страшные времена сталинского террора продолжал функционировать Костел Св. Людовика на Малой Лубянке, основанный в 1789 году как «французский приход». Здание было построено в первой половине XIX века архитектором Д.И. Жилярди в

воспитывали в католических традициях, не водили на торжества «причастия» (komunia), в нашей среде не было ни единого ксёндза, а может быть, и ни единого по-настоящему верующего католика. И все же, все же, еще раз скажу – буквально вопреки всему, какой-то частью нашего сознания, нашей духовной культуры, нашего внутреннего достоинства мы оставались поляками. Мы любили Польшу, не зная ее, и я даже думаю, что мы были (и до сих пор остаемся) более горячими патриотами Польши (а те, кому удалось позднее получить гражданство Польши, более верными ее гражданами), чем поляки, жившие в этой стране и до, и во время, и после войны, пережившие не лучшие времена ее истории и повидавшие разное. Для нас Польша оставалась идеалом кристальной чистоты – далеким, недостижимым идеалом.

И в католическую веру многие из нас вернулись (или приобщились к ней впервые) добровольно и радостно. Не крещенные и не верующие, мы буквально находили друг друга в стенах Костела Св. Людовика, открывшего для московских поляков свои двери. Если бы все мы были, действительно, оторваны от костела и католической веры, то было бы трудно объяснить, почему же мы так быстро, так единодушно, так поразительно дружно устремились в этот костел. Уже давно разъехавшиеся по разным районам бывшие жильцы дома 8, уничтоженного в процессе реконструкции Арбата в 1960-х годах, нередко встречались здесь в дни торжественных богослужений и католических праздников в 1980–90-х годах. Неслучайно также мы оказались в рядах активистов, участвовавших в пикетах и митингах, организованных Конгрессом поляков в России в

стиле ампира. Долгое время (после закрытия Костела Св. Екатерины в Ленинграде) Костел Св. Людовика был единственным католическим костелом на европейской территории Российской Федерации. До 1947 года он функционировал как храм Посольства Франции в Москве, благодаря чему этот памятник архитектуры прекрасно сохранился в мрачные времена воинствующего советского «богоборчества», но именно в силу этого обстоятельства доступ к нему простых москвичей-католиков, не защищенных дипломатическим статусом, был крайне ограничен. Костел считался территорией Посольства Франции, и даже представить себе было невозможно, что кто-то из нас, простых москвичей, не получивших от соответствующих «органов» никакого специального задания, просто так, по зову души и сердца, в этот костел зайдет.

начале 1990-х годов с целью восстановления и возвращения верующим Костела Непорочного зачатия Девы Марии на Малой Грузинской. Видимо, вера каким-то чудом тлела в душах и старых, и малых обитателей нашего дома, привлекая, как запретный плод, сохраняя для нас («юных ленинцев» и комсомольцев рубежа 1940–50-х годов), по сути к религии не приобщенных, романтическое очарование особенной, *нашей* веры, тайного кода взаимной солидарности.

В моем распоряжении нет статистических данных, но когда я читаю о том, что ныне «в Москве проживает около 50 тысяч католиков, главным образом поляков»²⁸, то не сомневаюсь в том, что среди этих 50 тысяч есть немало бывших жителей нашего дома, их детей, внуков и правнуков.

Я уже писала о том, что у нас не было польских книг. Но все-таки каким-то чудом польская литература проникала в наш мир. *Пана Тадеуша* я не читала – я слышала, как декламирует его наизусть, по памяти, мой отец. Наверно, у каждого из польских детей нашего дома был свой *Пан Тадеуш*, услышанный, не прочтенный. Единственной разрешенной и доступной нам в детстве польской книгой была *Комната на чердаке* Ванды Василевской, в русском переводе, в издании Детгиздата 1940 года, с рисунками С. Закржевской: она до сих пор хранится у меня, эта первая прочитанная мною, первая в моей жизни, полу-польская книжка. Никакими словами не описать, как сжималось сердце от сочувствия, от понимания, от странного чувства непреодолимого расстояния и удивительной близости к жизни детей, которых звали такими знакомыми, родными, нигде больше, кроме нашего двора не встречавшимися именами – Адашь, Зося, Анка, Игнась, Хеленка, Генек...

Первая книга «оттуда» появилась в 1956 году. Это был изданный издательством «Полония» альбом *Варшава* – большой альбом фотографий с силуэтом Сирены на золотисто-желтой твердой обложке. Отец подарил мне его ко дню рождения и сделал надпись, которую я процитирую полностью. «Моему дорогому Светику. Этот альбом я дарю тебе в душевном волнении, как память о моей дорогой Родине и родном городе, могучем в героическом величии

²⁸ Курило О.В. *Католики в Москве // Народы и религии* / ред. Б.Р. Логашова. – М.: Институт этнологии и антропологии Российской Академии наук. – С. 36–52, здесь с. 37.

народа, неповторимо, по-польски, прекрасном и еще более, чем раньше, примечательно красивом. Когда-нибудь ты обязательно побывай в нем. Не забудь тогда сходить на улицу Шопена и помяни доброй мыслью гениального художника, талантом и трудом прославившего свою великую Отчизну, а заодно вспомни и о скромном человеке – своем отце, некогда родившемся здесь и ушедшем отсюда сквозь бури войн – в жизнь».

Этот идеал «неповторимо, по-польски прекрасной» Варшавы (да не только Варшавы, а всей страны) каким-то почти мистическим образом сохранялся в душах людей, от этой страны навсегда оторванных или, – как мы, дети, – даже никогда ее не видевших, казалось бы, ничем с ней не связанных, порою вынужденных скрывать свое польское происхождение, отрекавшихся от него. Но если бы это было истинное отречение, разве можно было бы так легко, так охотно, с такой радостью «вернуться в Польшу», как только это стало возможным. Не всегда или не сразу это возвращение было связано с физическим переездом «на постоянное место жительства». Для многих такой переезд оказался невозможным по разным – возрастным, экономическим, юридическим причинам (правовой порог легальной репатриации для московских поляков – бывших советских граждан – до сих пор очень высок). Мне удалось получить польское гражданство и уехать из Москвы в Польшу очень поздно – в 2004 году, на 68-м году моей жизни, и это событие было для меня настоящим высшим счастьем. Но и задолго до того, как удалось испытать это счастье, мы (наверно, я имею право сказать «мы», имея в виду не только свой личный опыт, но круг мыслей и чувств многих моих соотечественников с печальной судьбой «советских поляков») буквально бросались на все польское, что притягивало нас к себе сильнейшим магнитом: польские фильмы, трансляции фестивалей песни из Сопота, гастроли польских театров в Москве, на само звучание польской речи. Польское землячество в Московском университете было для меня гораздо более родным домом, чем комсомольская организация, к которой я принадлежала.

При обострении отношений между Российской Федерацией и Польшей (после Смоленской катастрофы особенно) мы всегда были на стороне Польши – и те из нас, кто живет в свободном мире

и говорит об этом громко со всех возможных трибун, и те, кто вынужден молчать в стране, где вновь становится небезопасным быть поляком. Молчат многие, но сердцу не прикажешь. «Зов крови» оказывается более сильным, чем идеологические догмы, в которых нас воспитывали и которые нам навязывали. В самой Польше мы (в отличие от большинства граждан, в этой стране родившихся и воспитанных) не склонны особенно различать «правых» и «левых» и участвовать во внутренних гражданских конфликтах: нам все польское любо и хорошо, и мы не понимаем, зачем ссориться друг с другом, если все мы поляки. Мы беспартийные патриоты Польши. Этнопсихологический феномен, заслуживающий особого внимания политологов как ресурс национальной политики.

Завершая свое повествование о «Доме польском» в Кривоникольском переулке, напишу немного о нашем повседневном быте, о нашей жизни в тех ее материальных и социальных параметрах, которые людям XXI века уже могут показаться невероятными.

Надо признать, что для нормальной человеческой жизни весь дом, особенно его боковые двухэтажные флигели были мало пригодны. Вероятно, в прошлом здесь располагались комнаты для прислуги, служебные помещения или кладовки. В наше, «советское» время флигели, как и весь дом, были перенаселены, «уплотнены» многими жильцами. Всего в доме 8, предназначенном когда-то для одной семьи Ледницких и нескольких состоятельных арендаторов, проживало в наше время, наверно, человек двести. Заселен был даже подвал, правда, не по всему фасаду большого дома, а с левой (южной) стороны, где к дому примыкал глубокий пустой каменный колодец за решетчатым ограждением. В этот колодец выходили крошечные окна подвальных квартир. Из моих сверстниц там жили Люда Баскова, Таня Чемизинова; всего, наверно, человек пятнадцать. Еще ниже под ними, совсем в холодной глубине и кромешной тьме (электричество туда не проводилось), находился нежилой подвал, отведенный под общий дровяной склад нашего дома: каждая квартира имела там свой отсек, куда загружались покупаемые на зиму дрова и откуда их по частям, охапками, освещая крутые ступени дрожащим пламенем зажатой в руке свечки, люди разносили к своим печам (центральное отопление во всем доме провели незадолго до его сноса, во второй половине 1950-х годов).

По всем параметрам жильё в Кривоникольском было хуже того, что мы потеряли на Лубянке. Вместо отдельной квартиры (хотя номинально наше новое жилье считалось отдельной квартирой под номером 23) мы оказались фактически в большой «коммуналке», где проживало 7 семей (то есть, при некоторых происходящих со временем изменениях, – человек 30–40), с одной уборной (с выходом на чердак), с одной на всех, почерневшей от времени раковинной с холодной водой, с одной растапливаемой дровами плитой и с одной на всех ванной с колонкой, которую также топили дровами. Никаких балконов, никаких паркетных полов. Все три окна нашей квартиры выходили на север, и никогда ни единый лучик солнца не проникал в эти комнаты. Стены были изъедены грибком, а худая крыша не спасала в дождливые дни от «капели»: под воду, которая капала с потолка, надо было подставлять тазы и ведра, но иногда она падала и на кровать, так что от сырости не было спасения. Позднее крышу залатали, но остались проблемы с отоплением. Голландская печка, прекрасная сама по себе ²⁹, находилась в состоянии технической негодности, дымила, распространяла угар, а главное, быстро остывала; к утру во всех комнатах царил холод, почти как на улице. Ко всем этим бедам добавилось постепенно нараставшее в послевоенные годы нашествие клопов. Никакая личная, семейная гигиена в борьбе с ними не давала эффективных результатов; их полчища переправлялись из одной квартиры в другую, с одного этажа на другой, вылезали откуда-то из самой сердцевины стен, полов, потолков.

Вся наша квартира (№23) фактически была одной комнатой, разделенной внутри тонкими фанерными перегородками на прихо-

²⁹ Ледницкий пишет в своих *Дневниках*, что не знает ничего лучшего, чем голландская печка, и я его хорошо понимаю, и помню, какой красивой была наша печка, выложенная голубым кафелем, и каким удовольствием было, когда придешь домой с мороза, греть у нее замерзшие руки. Между прочим, эта печка считалась определенной ценностью в имущественном реестре нашего дома, во всяком случае в «Договоре найма жилого помещения» от 12 февраля 1939 года, выданном моему отцу, было записано (именно в такой транскрипции, соответствующей уровню грамотности работников коммунального хозяйства той поры), что в квартире имеется «одна голанская печь израсцовая со всеми приборами» (документ в моем личном архиве, предназначенном для передачи в Архив Центра «Восточная Европа» при Бременском университете).

жую с голландской печкой, узенький пенал-спальню с одним окном (для меня с бабушкой) и более просторную часть с двумя окнами, бывшую одновременно и столовой (где стоял наш круглый стол красного дерева под неизменно свисавшим над ним абажуром), и гостиной, и спальней родителей, и их рабочим кабинетом (признаком этого рабочего кабинета было маленькое бюро с откидной круглой крышкой и со множеством ящичков внутри, украшенное инкрустациями и живописью по лаку, чудесная миниатюра мебельного антиквариата, сохранявшаяся в нашем доме до конца 1950-х годов). В этой квартире были низкие потолки, так что не только крупногабаритная мебель здесь не вместиалась, но и люди (прежде всего мой отец, который был высоким стройным мужчиной) буквально чувствовали над собой тяжесть потолка, морально угнетавшую, вжимавшую их в землю.

При этом мы жили не хуже других, даже лучше, например, по сравнению с семьей Иваницких, состоявшей из семи человек (только по числу прописанных, не считая деревенских родственников, у них гостивших), ютившейся в крошечной комнатке с одним окном, где негде было даже поставить кровати и спать приходилось на полу впритык друг к другу, или по сравнению с семьей «Аннушки» Федоровой (вдовы Ивана Ивановича, бывшего истопника, убитого на войне), оставшейся с четырьмя детьми – сыновьями Виктором, Борисом, Алексеем и глухонемой дочерью Ниной в одной комнате, не имевшей никаких окон, – это был темный чулан, выходивший прямо на чердак; и мебели в их комнате практически не было (у нас все-таки была довольно дорогая мебель красного дерева, включая и зеркальный шкаф, и круглый стол), и никакой постели (простыней, наволочек) на то, на чем им приходилось спать, они никогда не стелили.

При всей этой бедности мы (имею в виду не только нашу семью, но и большинство обитателей нашего дома) все-таки не голодали. Правда, хлеб в военные и первые послевоенные годы получали по карточкам, но этого хлеба хватало. За мукой, помню, приходилось стоять в гигантской очереди, медленно продвигавшейся в течение даже не одного, а двух–трех дней (номера в очереди писали на руке химическим карандашом; дежурили, боясь пропустить «перекличку», во время которой происходила смена номеров), но и этой муки хватало на чудесные пироги и пирожки, которые пекла моя бабушка (ничего подобного ни в каком дорогом ресторане сейчас не

купишь). Вскоре после нашего возвращения из эвакуации (еще до окончания войны) в Москве на улице Горького открылся «коммерческий магазин», где за колоссальные деньги можно было купить уже все что угодно. Помню, что родители, взявшие меня с собой в этот магазин, смогли купить только одно пирожное (эклер), стоившее 50 рублей и я, к нынешнему моему стыду и раскаянию, одна сожрала его целиком, ни с кем не поделившись, умирая от восторга и наслаждения.

Фруктов в Москве в войну совсем не было. Мы привезли с собой из Ашхабада чемодан яблок, которые были единственными плодами на нашем столе всю зиму 1943–1944 годов (чемодан был большой, глубокий, и мне давали по одному яблоку в день). Потом появились абхазские мандарины – их обязательно вкладывали в мешочки-подарки, раздаваемые детям на праздниках «ёлки» в Колонном зале Дома Союзов во время зимних каникул. После войны фруктовый магазин на Арбате и магазин «Восточные сладости» были уже полны южных фруктов, привозимых из Крыма, с Кавказа и Средней Азии, но все они продавались только в течение короткого «сезона» – летом и ранней осенью. Даже не понимаю, в чем тут дело, хранить их что ли не умели, холодильников, вероятно, еще не было. Дефицит способствовал развитию «натурального» хозяйства и товарообмена: летом, имея на даче доступ к ягодам, мы варили варенье на зиму (до конца зимы не хватало), а при выездах из Москвы, например, на юг и обратно, покупали и везли домой всё, что только продавалось на железнодорожных станциях и на южных рынках; разумеется, хватало этого ненадолго. Импорт («апельсины из Марокко», бананы, болгарский виноград) – все это появилось много позднее; живя в Кривоникольском переулке, мы ничего такого не видели, разве что в самое последнее время, в мои уже студенческие годы, что-то стало доступным (прежде всего апельсины). При этом продуктивное снабжение Москвы в послевоенный период было весьма хорошим. Конечно, не было такого разнообразия товаров, как в нынешних супермаркетах, но качество продуктов (например, колбасы) было гораздо выше нынешнего. Американская тушёнка (незабываемое лакомство военной поры – сытная, ароматная, вкусная) вскоре исчезла, но общедоступными были консервы из чудесных камчатских крабов. В гастрономе на Смоленской площади, в Диетическом магазине на углу Плотникова переулка и Арбата продавалась и красная, и черная (двух сортов –

паюсная и зернистая) икра. Были бы только деньги (даже сравнительно небольшие деньги, как та пара тысяч, какие зарабатывал мой отец, – на семью из четырех человек), и всё, что хочешь, можно было купить. Но это только в Москве. В 1955 году, когда мы проходили студенческую практику в Пскове и Новгороде, я впервые увидела магазины с пустыми полками и детей, у которых ручки дрожали, когда мы их угощали кусочками сахара (они этого сахара в жизни не ели). Мой сверстник Петя Павлов (в будущем известный художник), живший в те годы где-то в Удмуртии, в лесной деревенской глуши, буквально еле выжил, питаясь весной древесной корой и опухая от голода.

Зато ни за какие деньги, даже в сравнительно обеспеченной Москве, нельзя было купить ничего приличного из того, что можно было бы на себя надеть, – элегантной обуви, готовой одежды, – ничего, буквально шаром покати, или что-то страшное, примитивное, уродливое. Все обитатели Кривоникольского переулка были одеты ужасно, и если мама еще донашивала что-то из французских вещей, присланных и привезенных ей из Парижа ее давним поклонником, коллегой по короткой работе в Наркоминделе Аркадием Семеновым (вызванным в Москву из этого Парижа и арестованным в 1938 году; в нашем доме, уже на Кастанаевской улице, он, пережив все муки тюрьмы и лагеря, появился спустя 30 лет), то у меня практически ничего кроме коричневой школьной формы (с черным фартуком в будни, с белым фартуком в праздничные дни) не было. Кажется, еще только одно голубое шерстяное платье – купленное с расчетом на «рост», поэтому слишком длинное и с пустым болтающимся мешком на груди, тяжелое, неудобное, которое страшно меня уродовало. «Вещевый голод», заложенный в моем мироощущении в отрочестве и юности, сделал меня ужасной «тряпичницей»: уже потом, когда что-то можно было найти в комиссионках, перекупить у спекулянтов или приобрести во время выездов за рубеж, я буквально кидалась на любую обновку, не отличая хороших вещей от низкокачественных, приобретая множество ненужного (чем до сих пор забиты шкафы в моей уже польской квартире).

Вообще, о деньгах надо сказать особо. Тот, кто утверждает, будто «деревянные» советские рубли никакой ценности не имели, все-таки говорит чепуху. Люди, имевшие такие рубли (много, много этих рублей) могли жить в Москве хорошо – и в сталинские, и в хрущевские, и в брежневские времена. Не всегда легально –

просто пойти в магазин и купить нужную вещь, но как-то полулегально за деньги многое можно было «достать». Наша семья была не бедной, может быть, одной из самых богатых и обеспеченных среди всех жильцов дома в Кривоникольском переулке, но денег, вот этих простых советских денег все же всегда не хватало – ни моим родителям, ни позднее мне, когда я уже кончила университет и стала работать (ну, а уж в университете стипендии, даже «повышенной»! – стипендии в 220 рублей тем более ни на что не хватало). Никто из нас не жил на одну зарплату; и у папы, кроме официального «жалования» (по тем временам на всех должностях, какие он занимал с конца 1930-х до 1960-х годов, довольно высокого) были еще какие-то гонорары за публикации, консультации, за работу в разного рода художественных советах, выставочных комитетах и другие источники заработка. Я после окончания университета билась буквально, как рыба об лед: «зарплаты», которую я получала в первый год моей работы в Министерстве культуры (в Дирекции художественных выставок и панорам – около 800 рублей), для жизни, к которой я привыкла, было никак не достаточно, а уж тем более дело стало плохо, когда весной 1959 года я с этой работы ушла, и никакой постоянной «зарплаты», вообще, на несколько месяцев не стало (в сентябре 1959 года я устроилась на работу во Дворец культуры Завода имени Лихачева на должность заведующей учебной частью вновь созданного тогда «народного университета», но и это было ненадолго: «народные университеты» вышли из моды, и мою должность и ставку ликвидировали летом 1960 года). Я писала заметки в столичные, центральные и провинциальные газеты (первая моя статья о белорусской графике на всесоюзной выставке была опубликована в белорусской газете «Звезда» в марте 1958 года, когда я еще училась на пятом курсе), в журналы, читала лекции, вела экскурсии, в том числе загородные, автобусные, потом в Московском Союзе художников получила «контракт» на исследование сатирической графики, и изданный в 1962 году крошечный буклет «Московская сатира» был моей «первой авторской книжкой». Порою, когда дело доходило до договоров в издательствах и до публикаций в крупных центральных журналах («Искусство», «Творчество», «Декоративное искусство СССР», «Молодая гвардия», «Дружба народов»), я получала довольно высокие гонорары, но все это немедленно буквально улетало. Сбережений «на черный день» не было никаких. Надо было где-то бывать, как-то

одеваться, а главное ездить – сначала по стране (в Ригу, Таллинн, в Литву, на Волгу, даже очень далеко – в Сибирь), а когда открылась такая возможность (с первой поездкой в Югославию в 1966 году), и за рубеж. Во всей этой суете, абсолютно необходимой для моей профессиональной работы и для нормального самочувствия, деньги исчезали бесследно. Перед отпуском, когда можно было купить «путевку» на Рижское взморье, в Палангу или выбраться в Болгарию, в Польшу (это уже в 1970-х годах), я несла в ломбард, расположенный недалеко от нашего Кривоникольского – в Большом Афанасьевском переулке, прилегавшим к Арбату, все свои золотые колечки, цепочки, часики, брошки, подаренные мне родителями к разным дням рождения, и даже серебряные ложки и получила за это заветную тысячу (новыми, получившими хождение с 1961 года) деньгами, а потом, осенью, отстаивая гигантские очереди, понемногу по частям выкупала или вновь перезакладывала эти вещи (ни одна из них не пропала; ломбард работал, как часы).

Никаких сбережений не было и у моих родителей. Кажется, единственный раз в жизни в связи с полученными гонорарами у них была на руках большая сумма, но это было как раз накануне послевоенной денежной реформы (сейчас и не вспомню точно, когда же она была: если еще до того, как папа попал под машину, значит, в конце 1945 или в самом начале 1946 года). Тогда и мама, и папа метались, не зная, как с этими деньгами поступить – положить ли их на сберкнижку, купить ли что-нибудь, хранить ли дома. Кажется, решились купить только «лису» для мамы: была такая мода – из черно-серебристого лисьего меха «кашне» с хвостом и мордочкой (глазками-пуговками) «настоящей» лисицы. Это все, что осталось. Остальные деньги «сгорели» в реформе, обесценившей все хранившиеся на руках сбережения в десять раз. Среди жильцов нашего дома не было ни слишком богатых людей, ни особо выдающихся деятелей, героев, личностей крупного политического масштаба. Над жизнью большинства обитателей дома 8 к 1940–50-м годам уже не висела непосредственная угроза государственных репрессий. Жили эти люди по-своему даже легко, не подозревая, что жить можно лучше, считая за благо каждый день, цenia каждый тесный уголок густо переуплотненной жилплощади, наивно веря в защитную броню своих скромных почетных титулов и званий.

Мы переехали из Кривоникольского переулка в новый дом и новый район первой «хрущевской» новостройки (Фили–Мазилово) в мае 1959 года. Дом в Кривоникольском простоял еще лет пять, пока его не уничтожили при строительстве «Нового Арбата» (проспекта Калинина). Жильцы разъехались кто куда. Немногие смогли вернуться (как вернуться? Скорее – переселиться в неизвестную им страну) в любимую Польшу. Некоторых судьба забросила, вообще, на конец света, как мою любимую подружку Лилечку Ивлеву. Она полюбила испанца (одного из тех испанских детей, которых вывезли в Москву из охваченной гражданской войной Испании в 1937 году), вышла за него замуж. Этих испанцев советская власть готовила для подпольной и легальной «революционной» работы в странах Латинской Америки, и куда-то далеко-далеко (на Кубу? в Никарагуа? В Порто-Рико?) уехала за своим любимым мужем Лилечка, и что с ней стало, не знаю, в Кривоникольский переулоч она уже никогда не вернулась.

Теперь от всего нашего дома сохранился только обрубок, сиротливо примыкающий к небоскрегам проспекта Калинина, затерянный в грязи и пустоте, по-моему даже необитаемый, хотя слабый свет иногда мерцает в окнах, выходящих из его лестничной клетки. «Польского дома», дома 8, в Кривоникольском переулке Москвы больше не существует. Это наше счастье и это наше горе – и то, что этот дом был, и то, что его не стало. У нас мало оснований для ностальгии о прошлом, но след жизни обитателей этого дома, и темной, и светлой, должен остаться в истории польской диаспоры российской столицы.

ГЛАВА 5. ВОЙНА. ЭВАКУАЦИЯ. ТУРКМЕНИЯ

На территории бывшего Советского Союза сегодня в живых осталось уже мало людей, которые помнят начало войны – день 22 июня 1941 года. Пишу «на территории бывшего Советского Союза» потому, что для жителей других стран – и Европы, и Азии, и Америки – этот день мало что значил. Вторая мировая война давно шла (это мы, в СССР, ее долго якобы не замечали), и в какую сторону Гитлер направит свой очередной удар, простым людям – там, за рубежом, – было не так уж важно. В высших кругах западной политической и военной элиты, конечно, пытались предугадать последствия нападения нацистской Германии на СССР и придавали этому событию значение, но и для этой элиты никаким потрясением данное событие не было. Потрясением оно стало буквально для всех граждан СССР, ибо, наверно, ни одну семью не обошла стороной эта война (что не значит, однако, будто каждая семья на этой войне что-то потеряла, нет, были и такие, кто многое приобрел, и отнюдь не подлостью и предательством, а самым настоящим героизмом, например, став из солдата генералом или из бесправного «зэка» прославленным полководцем, но предугадать, как сложится судьба той или иной семьи или отдельного человека, никто не мог, зато почти каждый ощущал тогда, что рушится прежний мир, что надвигается нечто ужасное). Пропаганда (замогильный голос диктора, звучавший по всей стране из черных тарелок радиопродуктора) способствовала нагнетению этого ощущения беды. Из сравнительно недавнего, еще живого в памяти многих опыта Первой мировой и Гражданской войны выросал страх – предчувствие голода (в магазинах в тот же день раскупались, буквально сметались с прилавков все продукты), химических атак, бомбежек (противогазы и бомбоубежища мгновенно стали частью московского – и не только московского – пейзажа и камуфляжа), и этот смутный страх усиливался пониманием многократно возросших технических возможностей современной военной машины и стремительно распространявшейся информацией о «зверствах» фашистов (наших недавних союзников и партнеров по преступному пакту Молотов–Риббентроп, с которыми мы вместе в 1939 году делили на куски повергнутую Польшу и принимали в Бресте общий «парад Победы»).

Я день 22 июня 1941 года помню очень хорошо. Именно в этот воскресный полдень поезд, в котором мы с мамой впервые в моей пятилетней жизни ехали к морю, по путевке в санаторий (Дом матери и ребенка), прибыл в Анапу. О начале войны мы узнали, как только вышли на перрон. Я, конечно, еще ничего не поняла, но мама сразу поняла все. Оставив меня с вещами под присмотром какой-то соседки по поезду, она бросилась что-то узнавать, куда-то звонить, и когда она ко мне вернулась, у нее было такое растерянное, такое расстроенное лицо, какого я прежде у моей нежной, веселой, всегда улыбающейся мне мамы никогда не видела. Это лицо стало и для меня началом инстинктивно ощущаемой катастрофы, началом войны.

Катастрофы на самом деле не случилось, но мы были от нее страшно близко, наверно, не раз и самым непосредственным образом именно в Анапе, за тысячу километров от родного дома, вдвоем с мамой одни.

Правильно было бы сразу, немедленно возвращаться домой. Но это было не так-то просто, даже билетов на обратную дорогу у нас не было. Директор санатория, куда мы приехали с вокзала, собрал всех отдыхающих и сообщил, что срочно возвращаться к месту жительства (к своим призывным пунктам) должны все военнообязанные мужчины (им обеспечивался проезд), а женщины с детьми должны не поддаваться панике и оставаться в санатории до особого распоряжения об их эвакуации. Может быть, эти указания как-то удалось бы обойти и уехать, но мама сама не решалась на немедленный отъезд. Она звонила в Москву, домой. Бабушка кричала в трубку: «Зоя, возвращайтесь немедленно!», а папа говорил: «Не волнуйся, Зоюшенька, напрасно, все обойдется, война остановится на границе, ни до вас, ни до нас не дойдет. Отдыхайте спокойно. Если ситуация изменится, я вам сообщу». Мы остались. Не знаю, сколько во всем этом было правильного, разумного расчета, сколько легкомыслия, сколько эгоизма. Ведь и папа не для того отправлял нас (и за немалые деньги) на курорт, чтобы мы тут же вернулись; и маме, наверно, хотелось хоть немного отдохнуть у синего моря.

А море было даже не синим, а ослепительно бирюзовым (таким я впервые увидела это чудо в очень теплый, хотя и не слишком солнечный, скорее серебристо-туманный день 22 июня), оно влекло к

себе, как магнитом, – меня, может быть, больше, чем всех людей на земле. Я купалась в его волнах (мама говорила: «Как рыбка»), я ни за что не хотела из этих волшебных волн выходить, я сразу и на всю жизнь была очарована морем. Естественно, это счастье (без меры, без всякой акклиматизации, сразу после сырой московской квартиры и холодной московской весны) да еще в сочетании с мороженым (зажатая между двух круглых вафельек снежная шайбочка сливочного пломбира), которое мне удавалось выпрашивать криком, воем и стоном, очень скоро обернулось ангиной, которую к тому же тогда не умели лечить (крошасьиные таблетки «красного стрептоцида» не помогали). Я слегла в постель с высокой температурой, и теперь уже по этой причине о быстром возвращении домой не было и речи.

Мы оставались в Анапе до середины июля и вернулись домой, мне кажется, последним пассажирским поездом, который проследовал по железнодорожной ветке, еще связывавшей Москву с югом России. Если бы мы задержались, замешкались еще хотя бы на один день, некому было бы писать эти строки. Что с нами стало бы на оккупированной территории – без крыши над головой, без родных и знакомых, без денег (на сколько бы там хватило всех денег и драгоценностей, которые у мамы были с собой, смешно даже считать)!

Уже последние, июльские дни и ночи, проведенные нами в Анапе, были страшными. Советские войска покидали город, по ночам (почему-то именно по ночам) по улицам проходили отряды морской пехоты – они уходили из Анапы. Пронзительное ощущение беззащитности витало в воздухе.

Каким-то чудом мы все-таки уехали и благополучно добрались до дома. Наш поезд не разбомбили, нас даже не ограбили и не обокрали. Ангел-хранитель спас маму и меня.

А вот Москву накануне нашего возвращения немцы уже бомбили. Одна из немногих бомб, сброшенных на Москву, на Арбат (тогда, при бомбежке, пострадало здание театра имени Вахтангова), попала именно в наш двор, и наша соседка Стефания Барчик получила осколочное ранение: я хорошо помню ее перевязанную, уложенную в гипс руку. Дети воспринимали это с особенным трепетом и как свидетельство ее мужества, и как страшный знак других возможных кошмаров фашистского нашествия (люди новых поколений, наверно, даже не могут представить себе, как мы, дети

военного времени, боялись, что «немцы придут», какой леденящий ужас вызывала эта мысль, как отчаянно и старательно искало наше коллективное детское воображение выхода: где мы будем прятаться от немцев, под какой лестницей, в каком самом глубоком подвале, в каком самом тайном уголке чердака; как долго преследовали эти кошмары нас уже в послевоенных сновидениях).

В страхе перед новыми налетами и бомбежками мама решила увезти нас с бабушкой «на дачу». Своей дачи у нас не было, чужую дачу мы в то лето не снимали, и мама попросила ключи от дачи у своей подруги Натальи Соловьевой, у которой была дача недалеко от Москвы. Тут, однако, нас ждало новое испытание, не менее опасное, чем долгое пребывание в Анапе. Оказалось, что по тому поясу, где стояла Наташина дача, проходила линия зенитной обороны Москвы, здесь наши заградительные зенитные батареи пытались перехватить и сбить целые эшелоны летящих на Москву бомбардировщиков. Бой разыгрался в небе прямо над нашим дачным домиком в первую ночь нашего пребывания там. Я помню эти удары, взрывы, от которых я просыпалась, эти серебристые рассыпающиеся огни за окном в черном небе. Мама и бабушка всю ночь, не смыкая глаз, сидели рядом с моей кроватью, готовые накрыть своими телами меня при попадании снаряда в этот картонный домик. Утром мы бежали с этой дачи, буквально бежали (и бабушка в ее 62 года быстрее нас с мамой) через какое-то поле, перепаханное ночными снарядами, каким-то образом добрались до Москвы. Опять спаслись чудом.

В Москве оставаться было опасно, и в августе мы уехали в нашу первую большую эвакуацию – в город Владимир. Жили в красном кирпичном здании школы. По ночам бывали «тревоги», и все спускались в бомбоубежище и сидели там до отбоя, иногда до утра. Здесь я признаюсь в своем безобразном поведении, которое происходило из того, что «тревоги» мне нравились. Можно было не спать, а идти куда-то вместе со всеми взрослыми, в бомбоубежище найти сверстников и с ними во что-то, хотя бы в прятки, играть, а главное, очень красивым казалось небо, освещенное огнями ракет и плавающими длинными лучами от прожекторов. Разбуженная сигналом тревоги среди ночи, я начинала прыгать и хлопать в ладоши, приговаривая «Тревога, тревога!», чем доводила бабушку до крайней ярости. Ну, простите, дамы и господа, все-таки человеку было

всего пять лет, хотя можно было бы и в этом возрасте быть чуть поумнее и тактичнее.

Исторических достопримечательностей и красот древнего Владимира я не помню. Малину, которую продавали в изобилии, помню. Зеленую траву у здания школы помню. Неуют пребывания в классах с синими бумажными шторами «затемнения» от воздушных налетов (уж не на партах ли мы там спали?) тоже помню, а также страшные приступы бабушкиного «ишиаса» (наверно, на нервной почве), от которого она не могла разогнуться и кричала от боли. Сама еще не зная, что такое настоящая боль, я уже училась ее бояться.

Во Владимире мы жили недолго – до осени, наверно, до конца сентября или начала октября. Впереди нас ждала долгая, вторая эвакуация, в которую мы отправились, не возвращаясь в Москву, из Владимира: эшелон (товарный состав) с вагоном, предназначенным для семей работников Наркомлегпрома, был подан прямо на владимирский вокзал.

Это была «теплушка» (еще хорошо, что «теплушка» под крышей, а не открытая платформа), предназначенная для перевозки скота, с парой охапок соломы, с дыркой в полу вагона (коллективной «парашей»). Под самым потолком у одной из стен этого вагона были две полочки, одну из которых (у единственного на весь вагон маленького окошка) заняла семья начальника моего папы – Леонова (его жена и дочь, девушка лет 18-ти, которая так печально всю дорогу смотрела в это окошко), а полку в другом углу начальник вагона разрешил занять нам, и я там спала между мамой и бабушкой. Все остальные люди располагались внизу на этих охапках соломы. Всего в вагоне ехало несколько десятков человек, в основном, женщины, дети, подростки, старики; мужчина был только один – начальник вагона, за всю нашу группу ответственный. Семьи эвакуировались без мужей (отцов) – работников Наркомата, которые до определенного срока еще оставались на работе в Москве, а потом эвакуировались туда же, куда ехали их семьи, другим, предназначенным для них транспортом. Мы, таким образом, ехали в эвакуацию без папы и увидели его только в Сызрани, где он нас встречал на вокзале.

Дорога из Владимира в Сызрань длилась несколько недель. Уехали мы из золотой осени, а приехали в зиму, в снег и мороз.

Эшелон подолгу стоял на переездах, пропуская все более важные поезда, следовавшие и в тыл (с оборудованием эвакуируемых предприятий, с ранеными) и из глубины России на фронт. Питание обитателей теплушки на протяжении этих недель никак не было «организовано»: у кого были с собой какие-либо припасы, те их ели, у кого ничего не было – те голодали. Нам взятых с собой продуктов, конечно, не хватило на всю дорогу, и спасала нас мама, которая, когда эшелон останавливался у какого-либо населенного пункта, выскакивала из вагона и с риском отстать от поезда бежала на местный рыночек (они повсюду как-то стихийно возникали) и даже не покупала (то ли денег у нее не было, то ли местные жители не хотели брать эти деньги), а выменивала на вещи и приносила продукты – хлеб, вареную картошку, молоко, один раз кусочек масла. Страшно даже представить себе, каким ненормальным был при этом эквивалент обмена. В дороге она оставила на этих рынках почти все ценные вещи, которые успела взять с собой из Москвы, но жизнь нам, мне в частности, она спасла. По-настоящему мы даже не голодали. Мучительным был не сам голод, но страх возможного голода (никто не знал, где эшелон остановится в следующий раз, что там удастся или не удастся купить-обменять), страх, что мама отстанет от поезда, страх, что налетят немецкие бомбардировщики и разбомбят наш поезд, идущий к Волге (такие налеты в этом направлении случались). Мучительными были холод (обитатели вагона согревали друг друга только своим дыханием и теплом своих тел), духота, грязь (вши! эти вши забрались в мои косы и еще долго-долго укрывались там), неподвижное лежание на полке, абсолютное неведение, когда тронется остановившийся поезд, сколько времени еще продлится эта бесконечная дорога, что нас ждет в конце пути.

Сызрань не была конечным, а только пересадочным пунктом нашей эвакуации. Отец получил назначение на работу в Министерство (Наркомат) легкой промышленности Туркменской ССР, в Ашхабад. У него была возможность выбора: ему предлагали на выбор Куйбышев или Ашхабад, и по совету мамы, которая сказала: «Война – это голод и холод. Давай попробуем избежать хотя бы второй беды, поедem на юг», он выбрал Ашхабад. Но до этого Ашхабада еще надо было добираться неизвестно как, и главным казалось доехать до Сызрани, чтобы только выбраться «на землю» из

теплушки, чтобы встретить папу, который должен был нас в Сызрани ждать.

Немного о нас в пути все-таки заботились. На всех больших станциях (городах), где эшелон задерживался на несколько часов, а иногда на один день или пару дней, детей кормили в специально устроенных столовых (взрослых не кормили – только детей) и размещали в импровизированных интернатах: кровати стояли в вокзальных залах, закрытых для других пассажиров. Конечно, такой ночлег (на сквозняках, под постоянные крики маленьких и больших детей, от которых я всю ночь просыпалась) был мало комфортным, а питание в столовых было очень убогое. Мама рассказывала потом, что она была уверена, будто я даже не прикоснусь к супу с каким-то грязными свиными хрящиками, но, видимо, я все-таки настолько проголодалась при последнем долгом перегоне поезда, что съела весь этот суп до последнего хрящика.

Наконец, мы приехали в Сызрань. Моя радость от встречи с отцом, который всю дорогу от вокзала до школы, предназначенной для нашего размещения, держал меня за руку, не имела никаких границ. Мама и бабушка за что-то на папу сердились (будто от него что-то зависело, будто он мог как-то облегчить нашу мучительную дорогу!), я ни на что не сердилась, я ликовала – папа был рядом со мной.

В Сызрани мы провели несколько дней или даже недель, сначала жили в школе, потом мама сняла комнатку у хозяйки в частном доме, чуть-чуть согрелись у печки, отмылись, пришли в себя.

Дальнейшая дорога, из Сызрани в Ашхабад через Куйбышев и Ташкент, была не столь мучительной (в товарный вагон мы уже не вернулись), но полной острых и опасных событий.

Первое произошло в Куйбышеве, где папа отстал от нашего поезда. Мы в этот город приехали утром, а поезд в Ташкент отправлялся вечером. Мы с бабушкой ждали на вокзале, а мама с папой поехали в город что-то купить и исполнить какие-то формальности, связанные с дальнейшим следованием в эвакуацию. Опасаясь жуликов (воровство тогда процветало), родители решили разделить между собой все ценное: у папы в кармане были все паспорта и прочие документы, мама спрятала на груди все деньги (в расчете на то, что если украдут одно, так что-либо другое останется, а не пропадет все сразу). Где-то в городе они ненадолго расстались,

условившись встретиться в определенном месте, но на это место папа не пришел. Мама ждала его до последней возможности, потом бросилась к нам на вокзал, но и там его не было. До отхода поезда времени уже не оставалось, ночевать в Куйбышеве нам было негде, и мама решила ехать без отца. Как нас пустили в поезд – это загадка, которую можно приблизительно решить только вспомнив о том, что у мамы с собой были все наши деньги. При этом все паспорта и командировочные предписания, указывающие направление эвакуации, остались у отца. Мы были чем-то вроде «sans-papiers» – людьми без бумаг, без всяких удостоверений личности. Это и в нормальных условиях вещь весьма неприятная, а в военное время дело смертельное. И поезд-то был не просто пассажирский, а мягкий вагон, предназначенный, видимо, для высокого командного (офицерского) состава. Своих плацкартных мест у нас в этом вагоне не было, и проводник разместил нас в ящиках, предназначенных для багажа под самым потолком купе: в одном таком ящике лежала бабушка, в другом – мы с мамой. Лежать под потолком было страшно неудобно, я раскапризничалась, и хотя мама пыталась заткнуть мне рот, все же сумела сказать громко: «А почему дядя лежит внизу на отдельной полке, а мы с тобой здесь наверху?». «Дядя» оказался джентльменом, встал и уступил нам с мамой свою просторную полку. Так мы доехали до Ташкента.

Этот «дядя» (по своему военному званию полковник, только в 1941 году это еще называлось как-то иначе) решил и в Ташкенте принять посильное участие в нашей судьбе. Думаю, ему очень понравилась моя мама. Уже после ее смерти я прочитала ее дневник, в котором этот эпизод описан подробно, и так, что выглядит он, как «солнечный удар», внезапно поразившая их влюбленность. Где-то в ташкентском парке они целовались, строили какие-то планы, что дальше делать. Полковнику надо было только «буквально на минутку» зайти в то учреждение, в какое он был командирован (не знаю, назвать его военкоматом или каким-то отделением Наркомата обороны), где-то отметить, что-то подписать, он попросил маму подождать его у входа, вошел и уже никогда из этих дверей обратно не вышел. Что с ним случилось (а случалось с военными людьми в то время разное и недоброе), мама никогда не узнала. Меньше всего можно подумать, что таким образом он от нее «бе-

жал». Зачем бежать? Он ничего не был ей должен, мог просто попрощаться на вокзале. Нет, исчез, и вот таким загадочным образом. Таково было второе опасное «приключение» на нашем пути из Сызрани в Ашхабад.

Из Ташкента, который мне запомнился нашим с бабушкой походом на базар (зимой на базаре продавали только сушеные дыни и сушеный виноград), до Ашхабада мы доехали уже без приключений, но что там делать без документов просто не знали. Отправились с вокзала в туркменское Министерство (Наркомат) легкой промышленности. Наркомом была женщина-туркменка, которая знала моего отца по мирному времени, знала о том, что он с семьей направлен в эвакуацию в Ашхабад. Но одно дело что-то знать, а другое – вот так увидеть перед собой целую семью из трех русских женщин, без единого документа, подтверждающего откуда они, и выслушать смутные объяснения о том, что Михаил Червонный от поезда где-то отстал (с той поры уже десятки поездов проследовали из Куйбышева в Ташкент и из Ташкента в Ашхабад, и отставший человек мог свой поезд «нагнать» или хотя бы дать телеграмму, сообщив, где он находится). Никаких известий от папы не было. И это в почти приграничном городе, в военное время. Могла, вот уж точно могла (и даже, наверно, обязана была) эта туркменка передать нас в распоряжение местного СМЕРШа, искавшего шпионов повсюду, и вряд ли он стал бы с нами церемониться. Туркменка-министр, безусловно рискуя своим служебным положением, а возможно, и жизнью, нас спасла. Разрешила до поры до времени, пока не выяснятся обстоятельства, жить в здании Наркомата, вернее ночевать там. На всю жизнь в моей памяти остался черный кожаный диванчик, на котором мне стелили постель в приемной наркома. Утром все мы уходили из Наркомата на улицу, и только поздним вечером, когда работа заканчивалась, сторож нас обратно впускал. Так мы прожили в Ашхабаде первые недели нашей большой эвакуации.

Что же случилось с моим папой? Да ничего романтического. Видимо, он уже приехал в Куйбышев из Сызрани сильно простуженным и больным. Где-то на улице (когда они с мамой ненадолго расстались) потерял сознание и упал. Слава Богу, его заметили добрые люди, вызвали скорую помощь, увезли в больницу. Оказалось двухстороннее воспаление легких. Антибиотиков тогда не было, и выбираться из такой болезни было нелегко. Денег у папы с собой

не было ни рубля. Всех подробностей, как он выжил, вылечился, как нашел деньги на дорогу или получил билеты для следования по назначению, не знаю. В декабре, уже незадолго до Нового, 1942 года, он, похудевший и осунувшийся, приехал в Ашхабад. Для меня – счастье, для всей семьи – спасение, для туркменского наркома – заслуженная благодарность.

Нам выделили крошечную квартиру (две комнатки, первая – «проходная») в одноэтажном глинобитном домике, стоявшем во дворе на углу проспекта Свободы (главной магистрали Ашхабада) и улицы Кирпичной. Этот домик исчез с лица земли осенью 1943 года, когда начались непрерывные проливные («тропические») дожди: он просто растаял в потоках воды, а нас переселили в гостиницу, где мы провели последние недели эвакуации и откуда уехали в Москву в ноябре 1943 года. Слава Богу, нас не вселяли (как многих других «эвакуированных») в квартиру, где жили люди, вынужденные потесниться и принять незваных гостей. По каким-то причинам наша квартирка на углу Кирпичной улицы и проспекта Свободы пустовала (не знаю, может быть, тоже кого-нибудь перед нашим приездом арестовали или призвали на фронт, но никаких следов обитания прежних жильцов в этой квартирке не было). В домике не было ни печки (к счастью, в Ашхабаде круглый год было тепло), ни водопровода, ни канализации, зато рядом был двор, служивший как бы продолжением дома. На огне, раздуваемом между сложенными горкой камнями («мангалке»), бабушка готовила во дворе еду. На протянутых веревках сушили белье и одежду (однажды с такой веревки украли папину черную кожаную куртку; вора, молодого парнишку, потом скоро нашли, и куртка, хранившаяся со времен Гражданской войны, вернулась в небогатый папин гардероб). К домику примыкала узенькая грядка, на которой мы что-то выращивали – лук, морковку, даже сажали помидоры, наливавшиеся к концу лета красным цветом. Я тоже «ухаживала» за этой грядкой, и кажется, это было первым и единственным в моей жизни приобщением к труду на земле. В большом дворе было много других построек, где жили (часто в подвалах и в полуподвалах, в сарайчиках) многие эвакуированные семьи. Среди них была и семья моей ашхабадской подруги – Али (Алефтины) Голо-

верцевой (Шохиной, – новую фамилию Аля и ее младшая сестренка Валя получили, когда их мама второй раз вышла замуж; отец Али, видимо, погиб на фронте).

Мой отец, как я уже писала, излагая его биографию, пережил довольно сложный и в общем-то счастливый поворот в своей судьбе в годы нашей жизни в Ашхабаде. Сначала он рвался на фронт, особенно сильной была его мечта попасть в «войско польское». Оно формировалось сначала как армия генерала Андерса, которая «ушла» в Иран в каком-то смысле «на наших глазах», во всяком случае по дороге, пролежавшей по Туркмении – из Ташкента в Красноводск³⁰; позднее началось формирование Польской Народной Армии (*Armia Ludowa*). Не знаю, как он себе представлял свое возвращение в военные ряды; может быть, ему казалось, что вернутся времена его юности, что он сам, вскочив на коня, ста-

³⁰ 30 июля 1941 года между Премьером Польского Правительства в изгнании Владиславом Сикорским и послом СССР в Великобритании Иваном Майским было подписано соглашение (так называемый «пакт Сикорского – Майского»), согласно которому все польские граждане (лица, имевшие гражданство Второй Польской Республики до 1 сентября 1939 года), находившиеся к моменту подписания этого соглашения на территории СССР и удерживаемые в лагерях и тюрьмах, подлежали «амнистии». Освобожденные узники составили основной контингент формирующихся в СССР Польских Вооруженных Сил, которые возглавил Владислав Андерс, освобожденный из московской тюрьмы 4 августа 1941 года, получивший звание генерала дивизии и назначенный на должность командующего Польской Армией. Центр сбора и формирования ее частей с октября 1941 года находился на Урале в поселке Тоцкое Чкаловской (ныне Оренбургской) области. «Выпуская корпус генерала Андерса за границу, – писал, комментируя согласие советского правительства на уход Армии Андерса, известный польский журналист Станислав Кат-Мацкевич, – Сталин лишил миллион поляков, которые еще оставались в России [в СССР – С.Ч.], своего руководства и организационного центра» (Stanisław Cat-Mackiewicz, *Lata nadziei. 17 września 1939 – 5 lipca 1945*, Kraków: Wydawnictwo UNIVERSITAS, 2012. С. 211–212). 9 марта 1942 Сталин дал согласие на выход Армии Андерса из СССР, и это было осуществлено в двух акциях эвакуации: первая состоялась в конце марта – начале апреля 1942 года, вторая – 5–9 августа 1942 года; все сформированные части Армии Андерса и сопровождавшие ее гражданские обозы были перевезены шестью железнодорожными эшелонами в Красноводск, откуда 11 августа советские пароходы «Каганович» и «Жданов» перевезли их в иранский порт Пехлеви.

нет прежним отважным и бесстрашным уланом; может быть, надеялся, что его немалый военный опыт пригодится его польским соотечественникам и служба в польском войске станет дорогой на Родину. Он писал одно заявление за другим в разные инстанции, но его на войну «не взяли». Не знаю, руководствовались ли чиновники, решавшие его судьбу, формальными инструкциями (все же он на 43-м году своей жизни уже вышел из призывного возраста, к тому же ранение в правую руку делало проблематичным его участие в боевых действиях, а главное, он был не из «тех» поляков, из которых формировались обе польские армии) или имели на Михаила Червонного иные планы, но так или иначе на все свои заявления он получил отказ. Первый год он работал в Наркомлегпроме Туркмении, причем очень скоро оказался не в том скромном чине, в каком он был из Москвы командирован (руководитель отдела художественной промышленности и народных промыслов), а в должности начальника целого Управления, а затем и Заместителя Наркома. Это было вполне естественно: масштаб республиканского Наркомата был несравним с масштабом всесоюзного Наркомлегпрома; в военное время кадров, а тем более мужчин с таким высоким уровнем опыта, знаний, культуры, какой был у моего отца, не хватало; его личные отношения с туркменским Наркомом были прекрасные, и эта женщина несомненно способствовала карьерному росту моего отца.

Однако, главный «поворот» в его судьбе произошел в 1942 году, когда его назначили Заместителем Председателя Промышленного Совета, занимавшегося организацией всех промышленных, в том числе военно-промышленных объектов на территории Туркменской ССР. В мирное время такого Совета («Промсовета») не существовало, его деятельность была связана с вновь возникшими индустриальными потоками, направляемыми в Среднюю Азию и имевшими огромное стратегическое значение (значительная часть объектов в таких городах, как Мары, Красноводск и другие, куда отец часто ездил в командировки, была засекречена, и уж какое там ковалось «оружие победы», не берусь судить). Высокая должность не изменила ни характер, ни скромный образ жизни моего отца, но для всей нашей семьи то, что он поднялся на такую высокую ступеньку вверх, конечно, много значило. Мы сразу оказались в кругу республиканской элиты.

Здесь я должна рассказать о тех первых уроках социального неравноправия (вернее, социальных закономерностей, определявших устройство советского общества), какие я впервые усвоила в своем детстве в период туркменской эвакуации. Раньше я ничего такого не знала не только потому, что была слишком мала, чтобы это неравноправие замечать и о нем задумываться, но и потому, что столь сильных социальных контрастов, какие открылись передо мной в Туркмении, в нашем московском «польском доме», конечно, не было.

В Туркмении я впервые увидела людей, умиравших от голода (в благодатной, обильной, «солнечной» республике). Это были арестанты («зэки»), причем работали они в Фирюзе (поселке в горах, где мы проводили каждое лето, спасаясь от ашхабадской жары) не на каких-либо страшных работах (здесь не было лесоповалов, рудников, здесь даже не строили дороги и не рыли каналы), а казалось бы, в нормальных условиях. Они собирали колхозные урожаи абрикосов, и я долго не могла понять, почему же они умирают от голода, если имеют возможность есть эти чудесные, сладкие абрикосы. Мама сумела объяснить мне, что человек не может жить без хлеба, а этих людей практически ничем не кормили и они были обречены на мучительную, «сладкую» смерть.

В правительственном доме отдыха, где моя мама в наше первое лето в Фирюзе (в 1942 году) работала сестрой-хозяйкой, была туркменка-сторожиха с дочкой (моей ровесницей). Не знаю, как оплачивался ее труд и чем, но знаю, что они были (часто бывали) голодны. Мне хотелось с девочкой играть, но она неподвижно стояла рядом с матерью. Они не отрывая глаз смотрели в сторону столовой, где отдыхающие наслаждались обедом или ужином (а питание там было прекрасное). Они надеялись, что я смогу уговорить свою маму покормить их, и я бежала к ней с этой просьбой, но она ничего, ничего не могла сделать: еда полагалась не всем.

В моей жизни первое лето в Фирюзе очень сильно отличалось от второго лета (в 1943 году). В первое лето (папу еще не назначили на высокую должность) мы были в этом раю (а Фирюза, конечно, была настоящим раем) бесправными париями. Вокруг были фруктовые сады, виноградники и плантации клубники, но все это было не для нас. Разве что абрикосовые деревья, которые росли на ули-

цах, дарили нам даром свои плоды, а в остальном все было «чужое», и за каждую сорванную ягодку, яблочко или сливу можно было жестоко поплатиться: арестовали бы как «расхитителей социалистической собственности». Я уже в свои шесть лет это понимала. Однажды мы с мамой, гуляя в окрестностях Фирюзы, наткнулись на никем не охраняемую клубничную поляну; я бросилась поедать эти чудесные ягоды, мама не могла да и не слишком пыталась меня остановить, сама не удержалась от лакомства, но все же сумела мне объяснить, что делаем мы нечто противозаконное. В тот же день, видимо, от солнечного перегрева со мной случилось что-то вроде удара – головная боль, температура, потеря сознания, бред. Ко мне вызвали врача, и тетя-врач очень ласково, но очень настойчиво расспрашивала, где я была, что делала в этот день, и я, в бреде и почти без сознания, отлично сознавала, что сказать ей про клубничное поле нельзя и держалась под ее расспросами, как герой-партизан.

Никакого рынка, на котором фрукты можно было бы купить легально, в Фирюзе не существовало, всё было распределено по «хозяйствам» – колхозам, санаториям. А как же всего этого хотелось! Тем более в жару, тем более от жажды (воды всегда было мало), тем более потому, что этот фруктовый рай простирался прямо перед глазами.

Никогда не забуду один эпизод – урок социального неравноправия. Это было еще в Ашхабаде, до отъезда из города в Фирюзу. Мы с моим маленьким приятелем Валерой (мы целый год дружили, и нас дразнили, переиначивая наши имена, «Вареник и Сметана») качались на воротах парка, в который упирался проспект Свободы. Подъехала машина, из нее вышел шофер и направился к нам, держа в руках нечто совершенно волшебное – веточку с двумя красными крупными черешенками. Мы замерли и впились глазами в это чудо. Он подошел и протянул веточку с обеими ягодами Валерке, сказав: «Это тебе. Ты непременно скажи своему отцу, что я это тебе принес». Валерка важно кивнул головой, и тут же съел обе ягоды, не обращая на меня никакого внимания. Отец Валерки был какой-то министр, возивший его шофер, молодой парень, зависел от него полностью, и какое значение перед лицом этой зависимости (не угодишь начальнику, вылетишь с работы, пошлют на фронт) могли иметь детские чувства и детские представления о справедливости!

В Фирюзе в 1942 году мы снимали небольшую комнатку у какой-то хозяйки. Сначала предполагалось, что там будут жить только мама и бабушка, а меня (поскольку не было чем ребенка кормить) отдали в детский сад-интернат, в той же Фирюзе, но все же далеко от этого снятого на лето дома расположенный. В детском саду мне не понравилось, и в один прекрасный день, босая, в одних трусиках и рубашонке (платье в детском саду было где-то заперто) я из этого детского сада бежала, и как кошка, по памяти, нашла тот дом, где остались мама и бабушка, но пробежала я до него (босиком!) по горячей шоссейной дороге более километра, и однажды встретила на своем пути (и осторожно обошла) огромного паука, который не мог быть никем иным, как тарантулом, укус которого был бы смертельным. Он меня не укусил, и уже скоро я открыла калитку дома, в саду которого, как раз за столом и чаепитием, сидели мама и бабушка, и под их потрясенное «Ах!» оказалась дома. Больше меня в детский сад не пытались отдавать, и все лето 1942 мы прожили вместе.

Спали во дворе, куда выносили из дома кровати, смазанные керосином «против москитов». Я почему-то очень плохо спала, просыпаясь посреди ночи и часами – до самого рассвета – глядела в небо, поражавшее своей неисчерпаемой глубиной и чудесными метаморфозами. Звезды мерцали, некоторые исчезали, некоторые зажигались вновь, некоторые стремительно проносились падающими метеоритами. Такого неба с миллиардами ярких звезд я никогда не видела, ни до этого лета в Фирюзе, ни после.

Мама, как я уже писала, работала сестрой-хозяйкой в правительственном санатории, работала до тех пор, пока ее наивное правдолюбие не кончилось тем, что ей пришлось уйти с этой работы (на каком-то собрании «трудового коллектива» ее начальница, директор санатория, похвалила официанток, которые могли съесть или украсть, унести домой, три оставшихся после ужина пирожных, но «честно» к ним не притронулись, сохранив их на кухне; мама, услышав эту похвалу, ахнула и сказала: «Как три? Там после ужина оставалось десять пирожных!»; в тот же день ее попросили написать заявление об уходе с работы по собственному желанию).

Лето 1943 года было уже совершенно иным. Моему отцу, чья должность была приравнена к статусу министра, выделили отдельную дачу в большом комплексе министерских дач, расположенном

в Фирюзе. У нас была веранда, обвитая виноградом, и достаточно было протянуть руку, чтобы сорвать тяжелую, зеленовато-золотистую кисть спелого винограда. Можно было даже не протягивать руку, просто немножко подтянуться вверх и откусывать ягодку за ягодкой. Виноград обладал удивительным свойством: казалось бы, вот наелась им досыта, больше не хочу и не захочу, но через короткое время жажда вновь просыпалась, и виноград становился таким же желанным, таким же свежим, таим же вкусным, будто ешь его впервые.

Рядом с дачей протекала речка Фирюзинка. Впрочем «протекала» она не всегда: время от времени где-то сверху по ее течению воду перекрывали, используя ее для орошения колхозных полей, потом снова пускали, и тоненький прозрачный быстрый ручеек бежал по камушкам. К сожалению, полное отсутствие технического мышления, заложенное во мне и очевидное уже в детстве, мешало мне этим ручейком в полной мере воспользоваться: ни на то, чтобы соорудить какую-нибудь плотинку, ни на то, чтобы вырыть ямку поглубже, моих способностей не хватало, но даже без этих сооружений просто лежать в Фирюзинке, всем телом вжимаясь в каменное дно, чувствуя прохладу этой горной воды, было величайшим блаженством.

Огромную радость доставляли прогулки в горах, куда мама часто выбиралась вместе со мной. Это не были слишком высокие горы (отроги Кара-Дага в Фирюзе), и мы с мамой не походили на скалолазов, но как же богаты были эти горы и с каким наслаждением мы пользовались их богатствами! Там росли грецкие орехи (молодые, даже почти зеленые грецкие орехи имели особенный вкус, не сравнимый с вкусом тех жестких камешков, с которыми у большинства людей связаны представления о грецких орехах), там были целые заросли чудесной сочной черной ежевики, чего там только не было! Даже деревца саксаула, колючего и бесплодного, порою бывали серебристо-белоснежным или золотым чудом природного дизайна.

Однажды мы в горах заблудились и перешли границу. Появление перед нами афганского пограничника в белых штанах было шоком, и мы стремительно бежали назад. Не представляю себе, почему он нас не застрелил, – вполне мог. Так или иначе на «зарубежной территории» (хотя бы площадью в несколько шагов), а именно

на афганской земле я впервые побывала, совершенно нелегально, в своем семилетнем возрасте.

Водились в горах и ядовитые змеи, но слава Богу, нам они не встретились. Между прочим, в Туркмении я ела печеные змеиные яйца, и они (так же, как черепашьи яйца) казались очень вкусным блюдом.

В горах жили дикие звери, и вой шакалов особенно часто слышался по ночам в Фирюзе.

Мой отец уходил в горы на охоту, обычно ночью. Это был целый ритуал, связанный с тщательной подготовкой, с участием егжей и целой группы охотников, – своеобразное развлечение для высших кругов местной аристократии. Из его трофеев помню динокобразов. Их вкусное мягкое мясо мы быстро съедали, а чудесные, твердые, острые, как заточенный карандаш, длинные, черно-белые «иголки» хранились среди моих игрушек и школьных принадлежностей еще долгие годы.

В Фирюзе летом 1943 года я была уже почти совсем взрослой девочкой (семь лет!), и не только читала, рисовала, но сама что-то сочиняла и, подражая маме, писала пьесы с действующими лицами, репликами, ремарками (почти каждое выступление моих героев сопровождалось торжественной прелюдией, обозначенной словом «пауза»). Но все-таки это было еще счастливое детство, не омраченное ни одним из грехов, которые легли на мою совесть позднее, в отроческие годы.

Я любила всех, с кем общалась (во дворе прежде всего Алю, и когда эвакуация кончилась и мы расстались, еще долго тосковала о ней, да что там «долго», до сих пор ее помню), и не только близкие, но даже чужие люди, мне кажется, любили меня, были ко мне добры.

Особенно сильно я ощущала доброе отношение ко мне Марии Ивановны, которая как-то по работе была связана с моим отцом и, вероятно, свою нежность к нему или свое восхищение им переносила на меня. Я подолгу бывала в ее ашхабадском доме, в ее саду, полном чудесных цветов, вдыхала запах настоящих французских духов из сохранившегося у нее серебряного флакончика. Памятью о тете Марусе стала моя последняя кукла Маруся – скромная тряпичная куколка с глиняной головкой. Я одевала, «кормила», укладывала спать и будила утром эту любимую куклу еще много лет,

уже в Москве, кажется, вплоть до четвертого класса. Однажды мама за какой-то проступок решила наказать меня и заперла эту куклу в шкаф. Я не плакала – молча, гордо пережила свое горе и больше к этой кукле никогда не прикасалась, хотя мама вернула ее мне и очень хотела, чтобы я забыла обиду и снова начала с этой куклой играть. Нет, не получилось; святыни остаются либо нетронутыми, либо гибнут навсегда. Спустя много лет я убедилась в этом, пережив крушение своей первой любви. Разбитую чашку не склеишь. Кукла, запертая в шкаф, в мои объятия больше никогда не вернулась.

Первый и единственный раз я столкнулась в Ашхабаде в семье Шихмурадовых с тем, что Боря и Костик (Костик – мой ровесник, Боря – его старший брат) не хотят играть со мной, потому что я девочка. Их отец, ослепительно красивый и сурово решительный Ораз Шихмурадов (глава местного НКВД!) воспитывал их в духе пренебрежения к женскому полу. С этой дискриминацией я столкнулась впервые и прибежала к маме в слезах: «Почему?!». Мы были у них в гостях, «играли» в одной комнате (то есть играли они, а меня в свою интересную игру не брали, Костик еще готов был надо мной сжалиться, но Боря был непреклонным, а Костик делал все, что велел старший брат), а мама с их мамой Марией Николаевной сидели и разговаривали в соседней комнате. Мария Николаевна (сама заложница неравноправного восточного брака, где слово мужа было законом) пыталась мне объяснить, что у мальчиков и девочек могут быть разные интересы. Я этого не понимала и всем сердцем ощущала страшную несправедливость.

И все-таки до того, как я пошла в первый класс ашхабадской школы, все в моей жизни было хорошо. То есть формально и в школе все складывалось замечательно, даже слишком. Я сразу стала «первой ученицей», сильно отличавшейся от большинства, да, наверно, от всех девочек нашего класса даже не только масштабом уже приобретенных знаний и природных способностей (этим тоже: ну, как иначе охарактеризовать первоклассницу, которая уже пишет «собственные пьесы» и чуть ли не половину «Евгения Онегина», выученного вслед за мамой, знает наизусть?), но внутренней раскованностью, свободой, уверенностью в том, что я очень хорошая и все меня за это должны любить и хвалить. До школы я нико-

гда не жила в детском коллективе (краткий опыт пребывания в фи-рюзинском детском саду, из которого я бежала, не в счет), и как единственный ребенок в семье, поздний и желанный ребенок, была окружена таким вниманием и таким обожанием, что ни малейшего иммунитета, охраняющего человека от возможного (и наверно, неизбежного в большой жизни) недоброжелательства «других» во мне не было выработано. Я и в школе ждала, что все меня будут любить и в прямом и переносном смысле гладить по головке за то, что я знаю ответы на вопросы, которые озадачивают других, умею то, чего не умеют другие. И моя первая учительница Надежда Сергеевна в полном соответствии с этими ожиданиями меня хвалила, и по головке гладила, и ставила мне только пятерки, и другим ученицам велела брать с меня пример, и мои способности, действительно, очень высоко ценила. Но чем более это выявлялось, тем упорнее росло глухое недовольство «коллектива», враждебное отношение ко мне. Оно даже почти никак не проявлялось внешне (меня не били, не дергали за косички, не дразнили, даже не говорили мне ничего плохого), но я всей кожей чувствовала враждебное отчуждение, и это было очень тяжело. И развивался этот не высказанный словами конфликт по кругу, по нарастающей спирали: чем лучше я училась, чем больше хвалила меня учительница, тем хуже относились ко мне одноклассницы. Али Головерцевой среди них почему-то не было, кажется, ее отдали в другую школу, так что не было в классе ни одной родной души, зато была Наташка Колобова, умевшая быть «вместе со всеми», считавшая себя всегда и во всем правой и способной судить других, и она как бы аккумулировала в себе всю коллективную враждебность ко мне, плетя какие-то тихие интриги, – бывает и такое с семилетними девочками, – жалуясь на меня своему папе, занимавшему видный пост главы реперткома республиканских театров и средств массовой информации, и Колобов делал выговоры моей маме, упрекая ее в неправильном воспитании дочери.

Самым печальным последствием этого конфликта стало то, что в какой-то момент у меня пропало желание «выделяться», учиться лучше других и мучительно захотелось «быть, как все», раствориться в общем стаде. Это чувство приобщенности к стаду впервые самым страшным образом проявилось в моем (нашем) отношении к девочке-туркменке (единственной туркменке в нашем классе).

Она была даже не горожанкой, а девочкой из аула, и я не знаю, зачем родители отдали ее в русскую школу. Она приходила на занятия в своем национальном костюме, в красном платье и шароварах. Она ни слова не понимала по-русски, и бедная учительница просто не знала, как же ее учить. Более того, она не желала (не могла, не умела) сидеть за партой и демонстративно садилась на пол в углу класса, заняв традиционную позу туркменских женщин (одна, согнутая в колене нога, на которую натянуто платье, выдвинута вперед, другая подвернута под себя, так что на ней можно сидеть). Класс встречал такое ее поведение диким воем враждебного стада, градом издевательств и насмешек, которым ее осыпали, и она, не понимая слов, несомненно ощущала себя загнанным волчонком. А что же я, умница-отличница, читающая Пушкина наизусть? Я была в самом центре этого стада, вместе со всем стадом негодовала (да как она смеет!), смеялась над ней, и хотя, слава Богу, дело не доходило до драк и рукоприкладства, это все было так ужасно и так постыдно, что я не нахожу себе оправдания. Долго, ох, долго еще надо было учить разные – и детские, и взрослые – стада русских переселенцев тому, что туркменский народ на своей земле хозяин, его достоинство и его обычаи святы и неприкосновенны и не туркмены обязаны знать русский язык (хотя знание любого иностранного языка только полезно), но прежде всего русские, в том числе нашедшие спасение от войны на туркменской земле, обязаны знать язык коренного народа этой страны. «Это мы не проходили, это нам не задавали», но благодарю Бога, что этот горький урок остался в моей памяти и был переосмыслен спустя многие годы.

Мы вернулись в Москву из туркменской эвакуации в ноябре 1943 года. Война еще шла (до мая 1945-го – полтора года!), но это была уже не настоящая, не опасная для нас война. В небе по вечерам салюты, из радиорепродуктора торжественные сообщения об освобожденных городах. Мирная жизнь возвращалась на круги своя, и здесь, осенью 1943-го, а не весной 1945 года можно подвести итоги тому, чем была война в моей жизни.

Наша семья на этой войне ничего не потеряла. Конечно, здесь решающую роль сыграло то, что это была очень маленькая семья: у нас не было никаких родных, убитых на фронте, пропавших без вести, попавших в плен или умерших от голода. Однако, под угро-

зой был каждый из нас, особенно в первый год войны. Судьба сжалась над нами, улыбнулась нам: все выжили, вернулись в Москву, где нетронутой сохранилась наша квартира в Кривоникольском переулке и все наше имущество. Мы даже не голодали за всю войну. Ну, болели, конечно: и папа, и мама, и бабушка, и даже мне довелось лежать в ашхабадской больнице, а уже в последнее лето подцепить пендинку – тропическую язву от укуса москита, не заживавшую несколько лет (шрам на правой руке до сих пор остался). Но все наши неприятности ничтожны по сравнению со страданиями миллионов людей, потерявших на этой войне абсолютно всё – своих близких, свое здоровье, свободу, родной дом, жизнь.

Можно ли считать нашу судьбу совершенно исключительной? Нет. Для тысяч советских людей война была тем, о чем говорят «не было бы счастья да несчастье помогло». Я вовсе не имею в виду ловких жуликов, сумевших уклониться от всех своих гражданских обязанностей, спекулянтов и мародеров, наживавшихся за счет других и в тылу, и в блокадном Ленинграде, и в каких-нибудь интендантских обозах на фронте, хотя и таких было более чем достаточно. Александр Гаврилович Вязников (в 1960-х годах ни больше ни меньше как Секретарь Союза художников РСФСР) сам мне, не стесняясь, рассказывал, сколько он наворовал в Германии, сколько немецких женщин принудил к сожительству, сколько ценного барахла отправил домой и как вся их семья на этой войне обогатилась. Речь не о вязниковых. Речь о людях, которые на войне, действительно, выросли, приобрели славу, иногда всесоюзную, а иногда и всемирную (например, Константин Симонов или Кукрыниксы), а если и не в большом, то в своем скромном масштабе стали все-таки на голову выше, умнее, опытнее, духовно и материально богаче.

Так случилось с моими родителями, так случилось и со мной, ибо без Туркмении моя жизнь была бы гораздо беднее. И чисто географическое, и этнографическое, и эстетическое открытие этой страны, в которую мы никогда бы не поехали просто по своей воле, было огромным событием – началом моей сознательной жизни. Сверкающее звездами небо Туркмении, горы Туркмении, пески туркменской пустыни, горделивые верблюды, кибитки туркмен-

ских кочевников у самых стен города, голубые купола мечети, превращенной в мастерскую-фабрику ковроделия, туркменская речь, к которой я уже привыкала, хотя не владела туркменским языком (но потом мне было легче освоить язык татарский), туркменские сахарные дыни, белоснежные маленькие абрикосы, арыки вдоль мостовых, каждая капля прозрачной воды, каждый цветок, выросший в пустыне, стали моими сокровищами. Навсегда.

ГЛАВА 6. ШКОЛА (1943–1953)

Серым холодным днем, в конце ноября 1943 года, бабушка взяла меня за руку (мама лежала дома больная) и отвела в школу. Это была расположенная в Спасо-Песковском переулке (с Арбата к ней вел проходной двор через дом №32) 71-я средняя женская (как раз тогда ввели раздельное обучение мальчиков и девочек) школа, в которой мне предстояло учиться (скорее жить, поскольку учеба почти полностью занимала всю жизнь и главным делом жизни были эта учеба и все, что происходило в школе) десять лет – вплоть до выпускного вечера в конце июня 1953 года.

В отличие от большинства моих сверстников, во всяком случае от большинства людей, которые сегодня пишут мемуары и самыми недобрыми словами поминают школьную систему той поры³¹, я свою школу любила. Меня совершенно не угнетало то, о чем Игорь Светлов пишет с таким возмущением: «Держать растущих молодых людей десять [...] лет в одном и том же замкнутом пространстве, подчинять их день за днем, год за годом одному и тому же ритму, предпочитать случайные людские собрания оригинальным проявлениям индивидуальности – означало провоцировать взрывные эмоции или погружение в апатию»³². И пространство не было замкнутым: из школы разного рода магистрали, дороги и тропинки вели и в театр, и в кино, и в парки, где зимой мы катались на лыжах, а летом перебирали все возможные аттракционы; и в музеи (главное – в Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, потом – в Третьяковку); и в Ленинскую библиотеку (в ее старом особняке размещался детский читальный зал, где в мои руки попали многие замечательные книги); и даже в церковь (эту дорожку я нашла для себя, кажется, в шестом классе и отстаивала все воскресные службы в церкви в Большом Афанасьевском переулке). И ритмы наших занятий и всей школьной жизни не были одинаковыми, а сильно менялись по мере нашего взросления, расширения кругозора и возможностей проявить себя. И никаких случайных людских собраний в школе не было: и пионерские, и классные собрания, и те общешкольные «вечера» или «утренники», когда в ак-

³¹ См., например: Светлов И.Е. *Рельеф памяти*. – М.: Канон, 2016.

³² Там же. С. 31.

товом зале собирались – в предельной тесноте – учащиеся нескольких классов, например, на представления спектаклей нашей художественной самодеятельности или на концерты, которые «давал», сам в них участвуя и приглашая известных артистов, замечательный мастер художественного слова Дмитрий Николаевич Журавлев (обе его дочки учились в нашей школе), были органичной формой жизни цельного общественного организма, пронизанного тончайшими нитями сложных отношений друг с другом – и дружбы, и вражды, и даже влюбленности (в учителей, в старшеклассниц, в любимых подруг), взаимного доверия и недоверия, но только не равнодушия. «Взрывные эмоции» – это да, это случалось по разным поводам, но никакой «апатии» школа сама по себе у меня никогда не вызывала.

Я так любила свою школу, что на каникулах – и коротких зимних, и долгих летних (особенно в тех случаях, когда это было скучное пребывание на подмосковных дачах) – я буквально считала дни, оставшиеся до начала школьных занятий, как тюремные узники с нетерпением считают дни, оставшиеся им до свободы. Всё самое интересное, самое важное для меня было сосредоточено в школе. Те, кто отнесется к этим моим словам с недоверием, конечно, должны принять во внимание мою исключительную ситуацию. Я была в нашей школе лучшей (и не просто лучшей, а самой лучшей) ученицей. Со мной все учителя связывали свои надежды, радовались, что есть человек, который так глубоко проникает в самую суть их предмета, так хорошо все понимает, так точно и правильно отвечает. Я могла ответить на самый сложный вопрос, на который никто в классе не знал ответа, и конечно, это не могло не тешить мое стремительно растущее честолюбие. Помню, как в пятом классе учительница немецкого языка Белла Абрамовна пыталась заставить нас правильно перевести простейшую фразу: «У меня нет яблока». Спрашивала, кто знает, как это сказать. Девочки говорили «Ich habe den Apfel nicht», «Ich habe nicht den Apfel», «Ich habe nicht einen Apfel», перебирали еще какие-то варианты; я долго молчала и, наконец, тихо сказала: «Ich habe keinen Apfel» (откуда я тогда знала это магическое «keinen», ума не приложу). Белла Абрамовна без единого слова поставила мне пятерку в журнале. У меня, вообще, не было других отметок, кроме пятерок. Что такое двойки и тройки, я просто не знала. Четверка была большой редкостью (и

бедой, которую я тяжело переживала, как горькое поражение, которое надо было как можно скорей исправить; буквально бледнела, как полотно, если получала – очень редко! – четверку). Мои знания по гуманитарным предметам значительно превышали школьную программу. На тех же уроках немецкого, пока весь класс с трудом выбирался из правил по спряжению глаголов и склонению существительных и запоминал элементарные вещи, я свободно читала наизусть по-немецки стихи Гёте и Гейне, драмы Шиллера (целые сцены из «Разбойников», из «Дона Карлоса»). В девятом классе на уроках истории, когда учительница Аполлинария Прелюдиановна спрашивала, желает ли кто-нибудь что-либо добавить к услышанному (мы «проходили» тогда историю Первой мировой войны), я вставала и буквально обрушивала на притихший класс целые блоки никому неведомой истории тайной международной дипломатии и поднимала подводные течения Версальского мира, – к школьным урокам я готовилась по вузовским учебникам и научным исследованиям. Я окончила школу с Золотой медалью, и эта была единственная медаль на весь наш школьный выпуск 1953 года. Никогда не забуду тот общий вздох, который прошелестел по всему актовому залу на выпускном школьном вечере, когда директриса, объявив о моей медали, сделала паузу перед тем, как назвать серебряных медалистов. В ту пору просто получить Золотую медаль было нелегко, но получить Золотую медаль, единственную на всю школу, – это многое значило³³. Поэтому даже недоверчивые читатели должны понять, как любила я свою школу и как хорошо мне

³³ Между прочим, чувство, испытанное в тот момент, когда я услышала о своей Золотой медали, не повторялось потом, даже когда события были более важными. В сущности, сама по себе Золотая медаль ничего не значила, это был только ключик, открывающий (и не автоматически, а при многих дополнительных благоприятных условиях) двери в Университет. Поступить в Университет было гораздо важнее, чем получить Золотую медаль, и если бы кто-нибудь предложил мне на выбор получение медали без поступления в Университет или поступление в Университет без медали, я выбрала бы второе. Но вот сам момент поступления в Университет уже не был таким торжественным, уже не вызывал такого «взрыва эмоций». Конечно, найти свое имя в списке «принятых», вывешенном на стене истфака по результатам собеседования с медалистами, было здорово, но не было такого внешнего эффекта: никто не ахал, даже не поздравлял, вокруг толпились люди, занятые своими проблемами, меня не

жилося в ее стенах. Именно «жилося», потому что это была настоящая жизнь – интеллектуальная, эмоциональная, духовная.

Однако так было не всегда. Так стало не сразу – только с пятого класса. Первые четыре года моего пребывания в школе были еще очень серыми. Эти четыре года, первые четыре класса школы были, вообще, самым, пожалуй, безрадостным периодом в моей жизни. На то, что я напишу здесь, пусть обратят внимание родители, у которых есть дети в таком возрасте – от семи до десяти лет.

Вероятно, даже с чисто медицинской точки зрения это сложный период в жизни подрастающего ребенка – время ломки, перестройки всего организма. В это время очень нужны психологическая помощь, доброе и мудрое слово старших, а также хорошие материальные условия, в которых легче этот переломный возраст пережить. Мне с этим не повезло. Из очаровательного ребенка, который буквально всем (не только родным) очень нравился, я превращалась в неуклюжего подростка, в «гадкого утенка», который, по моему, никому и мне самой не нравился. После солнечной, теплой Туркмении я чувствовала себя очень неудобно в холодной Москве. Какие-то сложные перипетии, включая долгую болезнь моей мамы, происходили в семье, и я очень остро чувствовала нарастающее

замечали, а мое к 17-ти годам уже безмерно разросшееся честолюбие требовало именно общего, группового признания. Нечто подобное происходило потом при защите и кандидатской, и докторской диссертаций. Эффективно это были гораздо более важные события, чем окончание школы с Золотой медалью, но единого момента радости уже не было. Положительное решение Ученого Совета еще не означало присуждения ученой степени, а когда заветный диплом приходил из ВАКа (Высшей Аттестационной Комиссии), все, можно сказать, уже было в прошлом и не тревожило, не волновало, не радовало с такой силой, как до самой последней секунды неизвестное и объявленное только на выпускном вечере решение о присуждении Золотой медали. Чтобы покончить с этой историей, скажу, что сама эта «Золотая медаль за отличную учебу и примерное поведение» (сделанная, как оказалось позже при моей попытке в трудную минуту сдать ее в ломбард, вовсе не из золота) долго хранилась дома, а в 1991 году я подарила ее вместе с чудесной косыночкой, оставшейся на память от встречи с Клаусом Лихтенфельдем на Московском фестивале 1957 года, его вдове мексиканке Эмили, с которой мы нашли друг друга в Гамбурге через несколько дней после смерти Клауса, не зная, какими еще вещественными символами выразить эту связь времен – мою золотую юность с новой действительностью.

одинокость, которое проистекало даже не из-за недостатка внимания (в поле внимания моей мамы я постоянно находилась), но из-за недостатка понимания, из-за недостатка прежней родительской любви, поле которой вокруг меня сужалось буквально, как шагреновая кожа. Не каждая мать, обожавшая свою маленькую дочурку, может с такой же силой любить свою подрастающую дочь, не всегда послушную, не слишком симпатичную, идеальным стандартам не соответствующую и бросающую странную тень на имидж молодой женщины, которую само присутствие взрослой дочери старит, а строптивость и упрямство этой дочери подрывают родительский авторитет и могут доводить до бешенства.

Все эти годы мама пыталась решать за меня, как мне жить, и почти каждый раз встречала с моей стороны бурное сопротивление. Наиболее благополучным был опыт обучения меня французскому языку. Меня «отдали» француженке, к которой я бегала после уроков на занятия (она жила на Собачьей площадке). Язык я осваивала довольно легко, тем более что еще до войны меня отдавали то во французскую, то в немецкую группу (построив детей парами, воспитательницы водили их гулять по Гоголевскому бульвару; тогда занятия в немецкой группе у Раисы Максимовны мне больше нравились, но так или иначе и немецкую, и французскую речь мой детский слух рано улавливал). Все было бы хорошо, но вот на праздничном новогоднем вечере 1945 года в доме моей новой «француженки», где все воспитывавшиеся у нее дети должны были выступить, прочитав по-французски какой-нибудь текст, перед собранием родителей, – моих родителей не оказалось: мама болела и не вставала с постели, папа тоже не мог прийти. Я очень хорошо выступила, но мои слушатели, поразительно лишенные малейшего педагогического инстинкта, моих успехов не оценили: шепотом друг друга спрашивали: «Чья это девочка?», учительница сообщила, что моя мама больна, они равнодушно сказали «А-а...» и больше меня не замечали, осыпая собственных детей и детей друг друга похвалами и комплиментами. Едва сдерживая слезы, я вернулась домой и заявила, что больше к «француженке» ходить не буду.

Мама с этим как-то смирилась, но тут началась для меня еще худшая беда – уроки музыки. Как же я их ненавидела! Все эти гаммы, упражнения были для меня сплошным мучением, никакого

очарования музыкальной мелодии я за ними не слышала и в свои 8, 9 лет была абсолютно убеждена в том, что все это мне совершенно не нужно. Но тут моя мама была не менее упряма, чем я. Два года она заставляла меня заниматься музыкой, покупала и тащила (грузчики тащили) в нашу квартиру то пианино, то настоящий большой рояль, нанимала учителей. Одной из учительниц была Майя Казакевич, старшая сестра моего сверстника Генки; мое нежелание заниматься музыкой, которое она воспринимала как полное отсутствие музыкальных способностей, приводило ее в ужас, и уже весь двор об этом знал, что меня особенно удручало. Мама сама пыталась заниматься со мной, и однажды, доведенная до крайней степени раздражения, даже больно ударила меня – единственный, но никогда не забываемый, не простительный раз подняла на меня руку. Мое сопротивление все же оказалось сильнее. Я бросила занятия музыкой, забыв раз и навсегда все азы и основы музыкальной грамоты. Все деньги, потраченные на эти уроки музыки, пропали без пользы. Горький след от пережитого насилия над моей волей навсегда остался в моей душе.

Мама еще долго не оставляла попыток по-своему устроить мою судьбу. Меня хотели отдать в школу Гнесиных (слава Богу, не приняли: на конкурсном просмотре попросили что-нибудь спеть, и им спела дворовые частушки про танкиста, они спросили, знаю ли я какую-нибудь другую песенку, я с радостью ответила, что больше не знаю ничего, – поступать в музыкальную школу я не желала категорически). Потом меня повели в хореографическое училище при Большом театре, и туда тоже, слава Богу, не приняли. Даже слов не нахожу, чтобы описать, каким кошмаром всей моей жизни стало бы то, если бы меня удалось в это училище «пропихнуть» и «по благу» устроить. Еще хорошо, если бы рано отчислили и я успела бы вернуться в нормальную школу, а если я бы кончила его, стала бы хористкой в кордебалете, всю жизнь оставалась бы человеком второго-третьего сорта, насильно приобщенным к чужой профессии.

Никогда не надо проводить над детьми такие насильственные эксперименты.

Прошло почти четыре года, пока моя мама поняла, что мое место в нормальной школе, где я могу отлично (даже сверхотлично)

учиться, что у меня есть способности к гуманитарным наукам, и эти способности и интерес надо развивать бережно и осторожно.

В начальных классах московской школы я еще не училась отлично и даже не училась особенно хорошо. Может быть, сказывался горький опыт ашхабадской школы. Я больше не хотела выделяться, я старалась быть «как все», и среди всех, порою чуть туповатых и бедных «детей войны» наша учительница Мария Степановна меня просто не замечала.

В первые годы, вообще, трудно было хорошо учиться, потому что нас почти ничему не учили. Азбука, чистописание, элементарная арифметика – больше почти ничего, никаких знаний. Школьная программа начальных классов была страшно куцая, а проявить инициативу учителя боялись. Конечно, сказывался недостаток хороших, квалифицированных педагогов для младших классов. Наша Мария Степановна была еще ничего, более-менее грамотным человеком и не злой, скорее добродушной женщиной. Но и она, и все, кто занимался нами в младших классах (пионервожатая, библиотекарьша в библиотеке, которая размещалась на Арбате в доме 30, где жила учившаяся в нашем классе Искра Подвойская и где много позже разместилось Министерство культуры СССР), по-моему, были озабочены не тем, чтобы мы что-то новое, интересное узнали, а как раз наоборот, тем, чтобы ни к каким интересным книгам, ни к каким новым и глубоким знаниям нас не допустить. Не знаю, насколько они боялись, что с них жестко спросят, если выяснится, что мы с их ведома читаем что-либо недозволенное (а недозволенным считалось все, на чем не стояло прямого указания «Для учащихся младших классов»), насколько здесь просто действовала сила инерции, представление, что лучше чего-либо не разрешить, чем разрешить что-либо излишнее. Моя подруга Милка Шуляк шепотом рассказывала, что видела книги, которые называются *Мертвые души* и *Живой труп*. Представляю себе, какие круглые, одновременно испуганные и грозные стали бы глаза у Марии Степановны, если бы мы спросили разрешения их почитать. От всей большой, серьезной литературы мы были совершенно оторваны. Скучнейшие рассказы о природе Виталия Бианки – это пожалуйста (на всю жизнь отбили интерес к ботанике), а больше почти ничего. Каким-то просто чудом (и то очень поздно, в четвертом классе) я

прочитала *Остров сокровищ*, *Хижину дяди Тома*, *Пятнадцатилетний капитан* и недавно вышедшую в свет *Молодую гвардию* Фадеева в ее первом, еще не испорченном цензурным вмешательством варианте. Книжный голод был колоссальным, и с каким же упоением совершалось его преодоление с пятого класса, когда чтение – без границ! – уже вело и в глубины русской классики (Лермонтова – наизусть! Все пьесы Александра Островского подряд!), и в такие экзотические дали, как *Освобожденный Иерусалим* Тарквато Тассо: мама купила мне эту чудесную книгу в антикварном магазине, и всю романтику крестовых походов я с восторгом впитала в себя в пятом классе.

Да, все изменилось в пятом классе, в 1947 году. Но прежде, чем расстаться с ранним этапом школьной жизни, продолжавшимся с первого по четвертый класс, скажу о нем то самое ужасное, с чем практически до конца уже нельзя было расстаться ни в старших классах, ни в дальнейшей взрослой жизни. Сильнейший прессинг коммунистической пропаганды ломал и калечил души детей. На эту пропаганду еще во всю силу «работал» военный фон: нам не давали забыть о войне, рассказывали о зверствах фашистов (я пыталась зажимать уши), нам внушали, что повсюду враги, и требовали от нас бдительности. Павлик Морозов был примером, с которого каждый советский ребенок обязан брать пример, и доношительство считалось доблестью. В пионеры нас готовили, как готовят призывников в действующую армию или в партизанский отряд, и пионерская клятва уже обязывала нас своей кровью и кровью своих близких скрепить великое дело победы коммунизма во всем мире.

Это не могло пройти даром. Это тяжелым грузом, несмываемым позором осталось на всю жизнь. Великое счастье, что мне не пришлось в жизни ни доносить на своих родителей, ни отречься от них, но иммунитет инстинктивной порядочности всей этой системой пропаганды, обрушенной на детскую душу, был разрушен. Мы знали, что интересы советского государства превыше всего, и им в жертву при первой необходимости надо принести и личную дружбу, и родственные связи, и саму свою жизнь. У нас не было возможности воспринимать все это с иронией или с каким-то ощущением дистанции между словом и делом. Нам все это казалось несомненной правдой, абсолютной правдой. Выбраться из этой

бездны, вылечиться от этих заблуждений удалось не сразу и далеко не всем.

Я уж не говорю о том «культе личности» Сталина, который в моем школьном детстве был господствующим. Его портреты висели на каждом шагу (первой «встречей с искусством» в школе было изображение вождя, нежно державшего на руках таджикскую девочку Мамлакат, собравшую какой-то необъятный урожай хлопка). К его юбилею (в декабре 1949 года) мы писали сочинения, выбирая самые высокопарные слова для восхваления его достоинств и выражения нашей к нему любви и благодарности за «наше счастливое детство». Каждый школьник был готов отдать свою жизнь за Сталина, и удивляться надо не тому, что в марте 1953 года мы, уже взрослые девушки, рыдали навзрыд от известий о его болезни и смерти (и вместе с нами рыдали наши учителя), а тому, что хоть кому-то из нас (во всяком случае мне) удалось от этого наваждения освободиться. В принципе все мы должны были стать воинствующими сталинистами. Слава Богу, не стали.

Самым светлым лучом в моей ранней школьной жизни была дружба с Люсей Шепелевой. Мне, вообще, в это время очень не хватало подруг. С Лилечкой Ивлевой, которая жила в нашем доме в Кривоникольском и которую я еще с довоенных детских лет очень любила, нас, можно сказать, насильно разлучили. Она была старше меня почти на три года, и родителям (собственно, только моей маме) и учителям (опять же только нашей учительнице Марии Степановне) почему-то пришло в голову, что старшая девочка может дурно влиять на младшую (вот уж чего не было никогда, так это дурного влияния на меня прекрасной, умной, доброй, очень бережно ко мне относившейся Лилечки!). Наверно, последним днем нашей ничем не омраченной дружбы был день возвращения нашей семьи в Москву из эвакуации. Пока мама и бабушка пытались протопить дровами непослушную печку и немного привести в порядок квартиру, не видевшую своих хозяев более двух лет (но видевшую эвакуированных с какого-то юга людей, поселенных здесь на короткое время, впрочем достаточно длительное для того, чтобы их дети привязались к моей великолепной парижской кукле – большой обезьянке – и забрали ее с собой), меня отвели к Лилечке, и я никогда не забуду ту сковороду картошки, которую нажарила ее

бабушка и которую мы с Лилей съели, перебивая друг друга рассказами о пережитом (я не видела картошки более двух лет, в туркменских песках она не росла). Больше к Лилечке меня уже не водили, а всячески от нее отрывали. Соппротивление с моей стороны было сильным, но силы (в борьбе с мамой) неравные.

А нашей дружбе с Люсей никто не мешал (мы учились в одном классе, ее мама, тетя Аня, очень хотела, чтобы Люся дружила с «первой отличницей» и принимала меня, как родную), и длилась она долго. Сначала это была детская дружба, полная, главным образом, страхов, какие в избытке дарила нам Москва последних военных лет: страхов перед темными пустыми улицами и подворотнями, опасными проходными дворами, перед бандитами «Черной кошки», терроризировавшими город, бог весть еще перед чем, отчего мы не шли, а бежали вечерами из школы домой, вцепившись друг в друга ручонками. Потом эта дружба перешла в новое качество и была полна первых девичьих тайн, влюбленности в учителей и старшеклассниц (а как же иначе, женская школа – гимназия из дореволюционных романов Чарской!), пробуждающегося интереса к загадочным, неприкосновенным мальчикам из 61-й школы. На деревянных ступеньках крутой лестницы Люсиного дома мы готовились к первым в нашей жизни экзаменам, изнемогая от летней жары и дуряя от тяжести требуемых от нас знаний. Гуляли по Арбату, стараясь убежать от моей зоркой и бдительной мамы, и если удавалось убежать мне одной, а Люся попадала в мамины руки, то на все грозные расспросы она отвечала твердым молчанием советского партизана, попавшего в руки врага. Я любила не только Люсю, но всю ее семью, добрую, приветливую тетю Аню, строгого, с суровыми бровями папу (Дмитрия Никитича), румяного братишку Володю (безотказно бегавшего тысячу раз между Молчановкой и Кривоникольским и носившего, когда нужно, от меня к Люсе и от Люси ко мне книги, учебники, решенные и не решенные задачи, тайные записки) и принимала, как неизбежную данность, существование ее младшего, еще безмолвного братишки Саши, которого мы таскали за собой по арбатским переулкам (мудрая тетя Аня знала, что с Сашей мы с Люсей далеко не забредем). Я дружила с двоюродной сестрой Люси Эммочкой, которая после смерти матери и замужества своей старшей сестры Вали попала в детдом. Мы вместе с ней ездили в этот детдом в Кунцево, я кажется, собиралась

остаться там навсегда в знак солидарности с Эммой, но хватило моей решимости только на одну поездку: в тот же вечер я вернулась домой, и мои родные даже не узнали о том, что их любимая дочка и внучка могла домой и не вернуться. Эммочка мужественно переносила все невзгоды своей жизни, никогда не теряя доброты, ни на что не жалуясь, светясь улыбкой...

В седьмом классе мы с Люсей расстались. Она тяжело заболела (сердце), и хотя я каждый день (без единого исключения – каждый день) приходила к ней после уроков и рассказывала все, что в этот день говорили учителя, и сообщала новые задания, это, к сожалению, не помогло. Люся осталась на второй год, к счастью, поправилась, у нее появились другие подруги в ее новом классе, я стала ей уже не нужна, и нашей дружбе пришел конец. В 60-х годах, когда сломали и Кривоникольский переулок, и Молчановку, а наши семьи получили новые квартиры в «хрущовках» (мой отец – на Кастанаевской улице, ее – на улице Каштоянца), мы вовсе потеряли друг друга, и встретились только спустя лет двадцать (я разыскала ее через справочное бюро по имени ее брата Володи, боялась, что она сменила фамилию, выйдя замуж) и, вооруженная бутылками шампанского, польской дубленкой и варшавскими шелками, явилась к ней поздним вечером в день ее рождения (16 марта) с какой-то своей польской приятельницей, которой надо было переводить все, что происходит. А происходило в их доме настоящее потрясение: Светлана Червонная! Через 20 лет! Уже почти иностранка! И точно в день Люсиного рождения (а я его никогда и не забывала). Люся, действительно, вышла замуж (но не сменила свою фамилию), родила прекрасную дочку Наташу, и мы с тех пор уже как-то не расставались, встречаясь в их доме до самой смерти Дмитрия Никитича и Анны Яковлевны, до преждевременной смерти Люсиного мужа Василия Явтушенко (идеального эталона доброго украинца), до преждевременной смерти ее брата Володи, и до той поры, когда уже совсем подросли маленькие девочки Аня и Катя – любимые Люсины внучки (кроме них и Наташи в мире для нее ничего не существует). Но все это было уже в новом свете уходящего двадцатого – наступающего двадцать первого века.

Итак, в 1947 году я перешла в пятый класс, и жизнь внезапно изменилась и заиграла новыми, неожиданными огнями и красками. Конечно, под волшебными переменами была своя материальная,

даже чисто физиологическая база. Из подростка я стала девушкой, и хотя особенной красотой не блистала, но уж точно перестала быть «гадким утенком». С моей волей уже приходилось считаться, и я сама выбирала (иногда с боями отстаивала, но чаще, к счастью, легко получая согласие родителей), с кем дружить, куда ходить, что читать, что слушать. Кстати, именно тогда я научилась слушать музыку, и первое потрясение от услышанного, понятого и прочувствованного произведения (правда, не Бог весть какого сложного – старинного русского романса) стало началом приобщения к миру прекрасного. Папа доставал билеты, и каждое воскресенье мы с мамой ходили на утренний спектакль в Большой театр или его филиал, так что мне удалось прослушать все оперы и посмотреть все балеты, которые ставились во второй половине 1940-х годов на этой сцене.

Высокая поэзия (Лермонтов! Гейне в оригинале! Данте! *Фауст*, прочитанный не в одной первой, а в его двух частях, с полным пониманием того, что вторая часть самая главная! Чуть позже – Надсон, Апухтин и весь канун «Серебряного века», вместившийся в книгу «Чтец-декламатор», едва ли не целиком выученную наизусть!) переполняла душу сильными чувствами.

Магия изобразительного искусства открылась в стенах Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, где по инициативе нашей учительницы истории Фани Натановны Мэр был организован кружок по изучению истории и культуры Древнего Рима. Вела этот кружок сотрудник музея Наталья Ильинична Полякова. Я стала туда ходить (написала сочинение и сделала доклад по истории древнеримской литературы, списав всё, что вычитала и поняла в вузовском учебнике для филологов) и постепенно погружаться в очарование древнего Египта, античности, Средневековья и Ренессанса (слепки и копии воспринимались как подлинные эстетические ценности). Когда музей в 1949 году закрыли, превратив его залы в гигантскую выставку подарков И.В. Сталину, это было для меня настоящим ударом и горем (никакой пламенный сталинизм этой острой утраты не сглаживал), и я не знаю, почему на меня не донесли и меня не арестовали за громкое выражение в школе протеста по поводу кощунственного закрытия музея (в ту пору и 13-летнюю школьницу, усомнившуюся в важности демонстрации всенародной любви к Сталину, вполне могли арестовать).

Вообще, с изобразительным искусством мои отношения складывались непросто, хотя я принадлежу к очень немногочисленным людям, которые в самом раннем детстве, можно сказать, уже избрали свою будущую профессию. Как все дети, я с огромным удовольствием рисовала, создавая свои примитивы – оригинальные версии преображенной, фантастической реальности, но, вероятно, меня хвалили и восхищались моими рисунками больше, чем это случалось в жизни других детей, так что смутные веки будущей профессии определились в моем сознании, и на вопросы взрослых «Кем станешь, когда вырастешь?» я уже с трех лет твердо отвечала «Художником». Я, действительно, стала членом Союза художников СССР (в 1961 году я была самым молодым «кандидатом» в члены этого могущественного Союза, в 1963 году – самым молодым его действительным членом), правда, не художником, а искусствоведом. Рисовать так, как нас учили, в школе (точно копировать какие-то кувшины и другие пыльные натюрморты, да еще моделировать объем вещей), я не умела и не хотела, но страстная жажда изобразительного прекрасного проявилась в начальных классах школы (еще шла война) в неописуемом энтузиазме собирания «ангелочков», о которых вряд ли имеют понятие люди, не жившие в те годы в Москве. Это была трофейная полиграфическая продукция, завезенная в столицу с фронта не по официальным каналам, а одиночками-спекулянтами, возвращающимися домой из Германии солдатами, которые набивали свои вещевые мешки этим сравнительно легким товаром, зная, что на него есть спрос. Мы с девочками бегали в поликлинику на Молчановке, где гардеробщица продавала нам этих «ангелочков» буквально за копейки даже по тем дореформенным деньгам. Это были репродукции с известных живописных полотен, чаще всего с *Сикстинской мадонны* Рафаэля, иногда «в полный рост», но чаще в разных фрагментах, в частности, в виде изображенных у нижней рамы этой картины прекрасных ангелочков (их фигурки были вырезаны по контуру изображений). Мы клеивали этих ангелочков в свои дневники, альбомы, менялись ими, как мальчишки менялись марками, мы наслаждались их выявленной великолепными, совершенными полиграфическими средствами (поверхность была блестящей) красотой, и я могу сказать, это было особое наслаждение, даже не только духовное, а почти физическое (сердце замирало от счастья). К пятому

классу «ангелочки» давно исчезли, но появился пушкинский музей со всеми его сокровищами. В девятом и десятом классах я уже серьезно занималась («работала») в Третьяковской галерее, изучала полотна русских художников, слушала лекции Федорова-Давыдова, которые он вел со своими студентами и разрешил мне их посещать, а также ходила на все выставки современного советского искусства, и это была уже прямая дорога в Университет на искусствоведческое отделение исторического факультета. О том, что я буду на это отделение поступать, я твердо знала уже в седьмом классе. Конечно, в этом выборе немалую роль сыграл мой отец: в своей работе он был тесно связан с искусством, с художественной промышленностью, с народными промыслами, после войны работал директором Художественного Фонда СССР, потом начальником Управления охраны авторских прав Союза Художников СССР, знал многих художников и искусствоведов, ходил со мной на выставки, мог мне помочь советом.

И все же главным в этом выборе было то, что я иду на исторический факультет. Если бы искусствоведческое отделение находилось бы тогда в структуре какого-либо другого факультета (например, филологического) или другого института (до войны так и было – тогда существовал независимый от Университета ИФЛИ), я бы выбрала не искусствоведческое отделение, а исторический факультет, потому что больше всего из всех школьных предметов с пятого класса я любила (обожала!) историю. Если бы случилось несчастье и меня в МГУ бы не приняли (надо было иметь в виду на худший случай и запасной вариант), я знала, что подам документы в Историко-архивный институт. (Об Институте международных отношений я мечтать не могла, хотя история международных отношений, история дипломатии и особенная ветвь – история мировой социал-демократии, история всех трех и даже четырех «Интернационалов» – меня очень интересовала, но этот Институт был доступен только детям номенклатурных партийных и советских работников высшего ранга, прежде всего сотрудников Министерства иностранных дел, несколько мест демонстративно отводилось представителям рабочего класса или демобилизованным военнослужащим, но я и к их числу не принадлежала).

Своей любовью к предмету я, конечно, прежде всего обязана своей первой учительнице истории Фане Натановне Мэр (она вела

у нас этот предмет с пятого по седьмой класс; трех лет ее уроков оказалось достаточно для того, чтобы сделать жизненный выбор). Она не просто знала свой предмет, любила его, умела пробудить к нему интерес – она учила нас думать, разбираться в противоречиях, ставить и решать вопросы. Какие-то основы исторического мышления – критического, исследовательского – были заложены ее уроками. Появилось понимание того, что история – это не просто набор фактов, беспристрастный рассказ о том, что было, а наука актуальная (да, немножко по Покровскому «политика, опрокинутая в прошлое»), анализ того, что было, в сложной парадигме, включающей и то, что есть, и то, что будет.

Фаня Натановна была человеком закрытым. Нашей жизнью, и не только узко школьной, но и личной, она, иногда с легкой иронией, иногда с тревогой и всерьез, интересовалась и знала, чем мы дышим, чем мы живем, но о себе нам никогда ничего не рассказывала. Мы, однако, о том, как она живет задумывались и приходили к выводу, что живется ей несладко – и потому, что она была одинока, и потому, что была нездорова (хромала; я не знаю, что случилось с ее ногой), и потому, что в период сгущения антисемитских туч в последние годы жизни Сталина с ней, конечно, поступали несправедливо: и преподавать историю в старших классах ей не дали, и в партию ее не приняли (она оставалась кандидатом в члены партии, хотя кандидатские сроки давно прошли). Но жалеть себя Фаня Натановна никому бы не позволила. Она была очень гордым, принципиальным человеком с высоким чувством личного достоинства – замечательный пример для всех нас.

Фаню Натановну я выделяю особенно, но в принципе, у меня осталось доброе чувство ко всем учителям, преподававшим в старших классах: и к Михаилу Николаевичу Байбакову, который преподавал у нас литературу и русский язык, и к Ивану Назаровичу, преподававшему математику, и к прекрасной и юной Маргарите Арамовне, преподававшей физику, и к «географине» Надежде Константиновне, чьи уроки всегда были чем-то гораздо большим, нежели уроки географии, ибо вводили нас в мир большой международной политики; и конечно, к нашей «немке» (и классному руководителю) Белле Абрамовне Гурвич, хотя мои отношения с ней всегда были удивительным, сложным клубком любви и ненависти: я ее обожала

и ненавидела, она восхищалась и гордилась моим знанием немецкого языка и в то же время пыталась сурово подавлять мою недисциплинированность (в восьмом классе даже поставила мне четверку за поведение, что было событием чрезвычайным). Никого из моих школьных учителей не хочу помянуть дурным словом.

Здесь, однако, надо сказать о том, каким непростым в нравственном измерении был сам по себе этот феномен взаимного духовного согласия с учителями: они меня любили и ценили (редчайшие конфликты не в счет), я их любила и уважала, не ставя под сомнение истинность того, чему они нас учили. А ведь «учили», не только обогащая нас знаниями, но и воспитывая в коммунистическом духе. Наверно, в моей школьной жизни уже закладывались основы того конформизма в отношениях с властью (пока только с властью учителей и школьной администрации), который потом бросил свою тень и на мою взрослую жизнь, во всяком случае на долгий ее период, продолжавшийся от 1960-х до 1980-х годов. Я знала, как надо говорить «правильно» (отвечать на уроках, а уж потом и выступать с различных трибун, писать в статьях и книгах), и хотя в глубине души понимала, что этот «правильный» ответ, за который в прямом или переносном смысле слова поставят пятерку, не всегда в полной мере соответствует действительному положению вещей, но бунтовать по разным сомнительным поводам не хотела и не считала нужным. Я была убеждена в том, что человек должен жить «по законам своего времени», по законам своей страны, по принятым и установленным правилам. Жертвовать чем бы то ни было (хотя бы своим положением отличницы и «первой ученицы») во имя весьма сомнительных истин не надо именно потому, что эти истины весьма сомнительны. Скажем, нам внушают, будто социализм – прекрасный и справедливый строй. Допустим, я в этом сомневаюсь. Но если я завтра объявлю, что социализм – это нечто ужасное, а прекрасным и справедливым строем является капитализм (и за такое заявление потеряю все перспективы успешного поступления в Университет, может быть, вылету из школы и комсомола и даже к великому горю своих родителей окажусь за решеткой), разве я приближусь к подлинной истине, разве я буду больше права, чем сейчас, разве капитализм не имеет своих темных сторон, разве там нет обиженных, безработных, голодных?

Хорошо помню долгие споры с Таней Чемизиновой (она жила в нашем дворе и училась в параллельном с нашим классе в той же школе), которые меня в моих «конформистских» настроениях и убеждениях укрепляли. В отличие от меня, Таня училась очень плохо, дело доходило до того, что ее собирались то ли отчислить из школы, то ли оставить на второй год, во всяком случае принять к ней какие-то жесткие меры. Таня говорила мне, что не хочет учиться хорошо, потому что не верит ни единому слову наших учителей, не хочет участвовать в общей лжи и имеет мужество говорить всем правду. Мужество у этой девочки, действительно, было, а весь ее личный социальный опыт (они жили вдвоем с матерью в крошечной комнатке в подвале, очень бедно) был достаточным основанием для протеста против внушаемых нам представлений, будто наше общество самое справедливое. «Ну, хорошо, – возражала я (разговоры происходили на единственном диване, стоявшем в их подвальной комнате), – может быть, ты и права, но ведь для того, чтобы протестовать и отстаивать свою правду, ты должна прежде всего что-то знать хотя бы в объеме наших учебников. Ты же не знаешь элементарных вещей, не помнишь дат, не можешь двух слов сказать по-немецки, ты не читаешь книг, включенных в школьную программу, ты пишешь по-русски неграмотно. Ты просто прикрываешь свою лень, свое нежелание или неспособность учиться, становясь в позу борца за правду. Ты сначала выучи все уроки, а потом уж защищай свою правду». Она отвечала, что усвоение уроков лжи никому не оставит шансов «потом» бороться за правду.

Этот диалог своеобразным дискретным пунктиром проходит не только через мою школьную жизнь, но и через последующие годы, когда Тани Чемизиновой я уже не встречала (что с ней стало, не знаю, но дорога в диссидентское движение перед ней, несомненно, была открыта; передо мной – никогда), зато часто сталкивалась с людьми, чья демонстративная «фронда» была лишь прикрытием печального положения неудачников и даже способом ухватить удачу «с черного хода»: не могу достойно выполнить свою работу (ничего не знаю, ничего не умею), но если объявлю, что дело не в том, что я этого не могу, а в том, что я этого не делаю из каких-то высоких принципов, то меня, лентяя и неуча, все будут уважать больше, чем честного труженика; я даже смогу так стать героем.

Сталкивалась я и с другими людьми – тупыми догматиками, циничными карьеристами, послушными исполнителями властной воли с собственным раз и навсегда согнутым позвоночником и лакейским мышлением, и тоже не хотела на них быть похожей. Выбор между Сциллой и Харибдой был непростым.

Школьные годы были мешаниной (гремучей смесью!) добра и зла, радостей и печали, постижения высшей материи и незнания элементарных вещей, пробуждения тонкого слуха и формирования глухоты, эгоизма, черствости.

ГЛАВА 7. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Я долго сомневалась, нужно ли об этом писать. Слишком личное, слишком интимное – надо ли это показывать посторонним людям? Да и до сих пор болит, если грубо к этому прикоснуться. А как же не грубо, если бросить на книжную страницу все, что помнится (в полном, гордом молчании, – ни с кем, никогда об этом не было сказано ни слова).

Но напишу сначала не об этом, а том, что задолго, задолго предшествовало моей первой любви, а может быть, и было настоящей первой любовью, как на это посмотреть.

Тогда нам с моим первым возлюбленным мальчиком Валею было три, четыре года и пять лет. Больше не было, потому что, как только исполнилось и мне, и ему пять лет, началась война. Валю одного вместе с детским садом отправили в эвакуацию куда-то на Урал, и из этой эвакуации Валя уже не вернулся. Простудился, заболел, умер, где-то совсем один на казенной детской кровати.

Валя был сыном тети Маруси, бывшей домработницы маминой подруги Руфины. Я уже упоминала о том, что в 1937 году Руфину арестовали. Она была женой племянника Троцкого Бориса Бронштейна, и домработница Маруся в их квартире была завербованным агентом НКВД, доносила своему начальству обо всем, что ей удавалось подсмотреть или услышать: с кем Бронштейн общался, кому звонил, кто к ним приходил. У Руфины и Бориса был сын Валерий, в 1937 году еще мальчик, в то время, когда я его помню, – худенький, бледный подросток. Брак между Руфиной и Борисом к 1937 году уже разрушался, у Бориса была другая женщина. Руфина, как могла, боролась за сохранение семейного очага и, на свою беду, как раз в тот день, когда Борис возвращался в Москву из какой-то дальней командировки, взяла сына Лерку на руки и отправилась на вокзал встречать мужа, чтобы он не уехал с вокзала к другой женщине, как, кажется, и намеревался сделать. Ночью его «забрали». Наверно, забрали бы все равно, и никакой решающей роли в этом аресте и гибели Бориса домработница Маруся не сыграла, но все-таки пришли за ним по ее звонку: она сообщила, что он ночует дома, и дома его «забрали», что означало угрозу для всей семьи. Утром Руфина прибежала к маме, спрашивала, что делать. Мама

говорила ей: «Уезжай немедленно, уезжай куда угодно, не оставайся в Москве». Руфина не решалась, медлила, надеялась сохранить квартиру, распродать дорогие вещи (у них были какие-то особенно ценные, кажется, иранские ковры, судьба которых ее волновала). Ее арестовали через пару дней, Лерку забрали в детский «распределитель». Мать Руфины, Матрена, наутро бросилась искать внука по всем возможным адресам, и нашла, и спасла: конечно, не так просто взяла за руку и привела домой, но преодолев все высочайшие барьеры, все-таки добилась своего, и Лерка не попал в детский дом для ЧСВН («членов семьи врагов народа»), где вряд ли бы выжил. Однако, и дома, с бабушкой, жилось ему нелегко. Их «уплотнили», вселили в квартиру новых жильцов, одну комнату отдали тете Марусе с Валец, в другой, маленькой комнатке остались Матрена с Лерой. Жить им было не на что, и бывшие подруги Руфины, прежде всего моя мама, активно помогали им. Сложился определенный ритуал, согласно которому эти подруги со своими детьми (в том числе и мама со мной, еще совсем маленькой, и Зина Андреева со своей Наташей) приходили в их дом в дни традиционных праздников и под видом детской «елки» или Первомайского утренника встречались с Матреной, узнавали, что пишет Руфина из лагеря, передавали Матрене собранные деньги. Лера был старше всех собиравшихся здесь детей и с нами играть не хотел, отворачивался, а вот с сыном тети Маруси Валец мы в этом доме нашли друг друга.

Отца у него формально не было, но Маруся продолжала встречаться с тем женатым мужчиной, офицером НКВД–КГБ, который и ее сделал агентом этой организации, и всей ее жизнью распорядился, приказав ей отправить Валец одного в эвакуацию, а самой остаться в Москве, на случай прихода немцев у нее были здесь свои задания. Всю эту историю я узнала много позднее, когда Маруся, потерявшая сына, уже постаревшая, заливаясь слезами, рассказала ее вернувшейся из лагеря, «реабилитированной» в 1956 году Руфине, а Руфина пересказала ее маме и мне, добавив со вздохом: «Бог ее покарал».

Бог, однако, покарал не только ее, но и меня, право, ни в чем не виноватую: в 1941 году я навсегда потеряла своего любимого Валец.

Мы с ним любили друг друга совершенно без слов, но с такой сильной страстью, что она поражала всех. Уже в метро на станции Кировская я знала, что меня ведут в этот дом и скоро я увижу Валю. Он тоже знал, что я приду и ждал меня. Едва меня успевали раздеть в прихожей, я бросалась к нему, а он бежал ко мне через всю квартиру навстречу. И встретившись, мы замирали в долгом, немом, неподвижном объятии. Я не видела его личика, которым он утыкался в мое плечо, я видела и на всю жизнь запомнила его затылок, светлые волосики, я вдыхала чудесный запах его кожи, нас невозможно было друг от друга оторвать. Весь вечер (или день – детские праздники чаще были дневными) мы были рядом и держались за руки, а когда меня уводили от него, я плакала, и он бросался в свою комнату в слезах и с другими детьми играть не хотел. Когда мы были рядом, каким-то непостижимым образом во мне пробуждалась настоящая женственность, в нем – мужское достоинство. Помню, однажды тетя Зина хотела усадить меня на горшок в его присутствии да и его заодно посадить рядом на горшок. Ну, уж нет. В три года (в три года!) мы оба чувствовали, что этого никак нельзя делать, и изумленной тете Зине нашего сопротивления не удалось сломать.

Моя мама чувствовала некоторую растерянность перед лицом того сияющего счастья, которым мы оба светились, когда были рядом. Она, конечно, радовалась тому, что дочка так счастлива, но Валя... Валя ее как-то не вполне устраивал. По-моему, она немного ревновала меня к нему (уже после ее смерти я прочитала в ее дневнике слова, эту ревность неловко скрывающие), не разделяла моего восторга, он ей казался «флегматичным» (деликатный эвфемизм более жесткой оценки), отстававшим от меня в развитии, а может быть, просто, с ее точки зрения, был мне «не пара». Не берусь судить о том, была ли в этом какая-то доля социального чванства, предрассудков, представлений о ребенке матери-одиночки, домработницы, «прислуги» (если и было нечто подобное, то горьким ответным ударом пришлось это чванство спустя несколько лет по мне, а вместе со мной и по ней), был ли здесь инстинктивный страх перед тенью тех всесильных «органов», которые за Марусей и ее сыном стояли, но точно знаю, что если бы мама попыталась как-то помешать нам с Валею безмолвно и самозабвенно любить друг друга, у нее ничего бы не получилось. Вероятно, инстинктивно она

ощущала поразительную силу наших взаимных чувств и даже не пыталась сказать ничего против.

Наверно, мы с Валею были просто созданы друг для друга, и даже не представляю себе, как сложилась бы наша жизнь, если бы не только я одна, но мы оба пережили войну. Вряд ли мы смогли бы забыть друг о друге. Наверно, встречались бы, и тот магнит, которым нас в детстве тянуло друг к другу, стал бы еще сильнее. Вряд ли из этого получилось бы что-то хорошее. Вероятность счастливого брака, первой, единственной и вечной (на всю жизнь, без измен, «без страха и упрека») любви – один шанс из миллиона. Слишком много появилось бы внешних факторов, которые нас этого шанса наверняка бы лишили. Если бы невидимый отец и дальше вмешивался в жизнь Вали, кем бы стал этот Валя, какая роль была бы отведена мне в этой семье? Но не надо об этом думать. Никакого сослагательного наклонения история нам не предоставила. Валя погиб в 1941 году, и уже давным-давно, после смерти и моих, и его родителей, и исчезновения всех бывших обитателей и гостей их дома, я остаюсь единственным на этой земле человеком, который помнит белокурого сероглазого мальчика Вальку и может как-то молиться за упокой его детской души.

Вернусь еще раз к трагедии 1937 года (видимо, что-то очень мешает мне приступить к изложению той другой и главной истории, которая дала тургеневское название этой главе моих воспоминаний, и задерживает меня в более давнем прошлом).

Матрена вырастила Лерку. Руфина потом часто, горячо говорила о своей благодарности подругам – и тем, кто спас ее жизнь в лагере, устроенном в Мордовии специально для жен «врагов народа», и тем, кто оставался в Москве и не дал Матрене и Лерке умереть с голоду. Но в 18 лет Леру арестовали. На его счастье, дело тогда уже шло к смерти Сталина, Валерий вышел из тюрьмы живым, вернул себе фамилию отца (Бронштейн), дождался возвращения в Москву своей матери, получил высшее образование и потом достиг немалых успехов в научной работе. И это внучатый племянник Льва Троцкого!

У Троцкого было очень много родных, и несмотря на все усилия истребить всю его семью, всех близких и дальних родственников, эта цель оказалась недостижима. Уже в конце перестройки, когда в Доме литераторов был организован вечер-диспут к 50-й годовщине

со дня убийства Троцкого, я с изумлением обнаружила, как складывался состав участников этого диспута. Там были твердокаменные сталинисты, проклинавшие Троцкого по всем законам советского жанра (*Краткого курса истории КПСС*). Там были либералы, пытавшиеся «откорректировать» историю и хотя бы признать Троцкого жертвой сталинского террора. Там были еще более последовательные (или радикальные) либералы, которые убийство Троцкого осуждали, но его самого считали еще более страшным преступником, чем Сталин, и напоминали о том, что он залил кровью Россию. Там были представители еврейской (националистически настроенной) интеллигенции, которым, видимо, было все равно – Троцкий ли, Свердлов ли, лишь бы был еврей: они пришли на этот диспут защищать «своего» человека. Там были какие-то казаки-антисемиты, ненавидевшие Троцкого именно за то, что он был еврей. И что самое поразительное, там были его каким-то чудом уцелевшие родственники, люди, для которых Троцкий был «Лёвушкой» (так они его и называли, выстраивая длинную цепочку родственных связей, соединяющих их – через дядей, тетей, племянников, детей, внуков и правнуков – с Львом Давидовичем).

Не знаю, почему меня наличие (и многочисленность!) этой последней группы так сильно поразило. Я ведь знала и судьбу Валерия (на том диспуте его не было, кажется, уже не было в-живых), и судьбу своей школьной подруги Марины Корецкой (Бронштейн). Она была дочкой другого племянника Троцкого, которого арестовали и замучили в 1937 году. Вместе с ссыльной матерью она жила в Сибири, но в восьмом классе она появилась в нашей школе, в Москве, куда мать отправила ее к своей сестре, бывшей первой женой известного художника-карикатуриста Бориса Ефимова. В семье Ефимовых, в доме, расположенном в Плотниковом переулке, Марина жила, а прописана была у своей бабушки, несчастной матери этого самого замученного Бронштейна, которую в свое время посадили за сына, довели до сумасшествия, но потом выпустили (она вышла из тюрьмы потерявшей рассудок старухой, которой всюду мерещились «троцкисты») и даже вернули ей комнатку в доме № 20 на Арбате, куда и прописали Марину. Уже перед самыми выпускными экзаменами бабушка на Марину написала донос, сообщив руководству школы, что никакая она не Корецкая, а Бронштейн, дочь «троцкиста». Растерянное руководство школы

вынуждено было изменить ее фамилию во всех документах об окончании школы, что вместе с заниженными отметками (сплошными тройками по всем предметам) не дало ей возможности нормальным образом поступить в институт. В институт она все-таки спустя год поступила (вернувшись из ссылки мама устроила ее через своих знакомых в какой-то финансово-экономический вуз), но перед этим пережила в своей жизни большую трагедию. Это была история, как-то поразительно, отчасти «наоборот» похожая на мою первую любовь к мальчику Вале. У Марины была своя первая любовь, и звали ее возлюбленного тоже Валя, Валентин Платов, и был он сероглазым и белокурым – только уже не мальчиком, а юношей. И был он тоже сыном офицера, кажется, даже полковника КГБ, только не внебрачным, а законным сыном. Не помню, учился ли он в 58-й или в 59-й школе, но точно знаю, что жил в том же Плотниковом переулке, что и семья Ефимовых. Свою любовь, чистую и горячую, Валентин и Марина пронесли, словно олимпийский огонь, через восьмой, девятый и десятый класс, отчаянно защищая ее от всех враждебных вмешательств и со стороны его семьи, и со стороны родственников Марины, и со стороны школы и возмущенного «безнравственным поведением» влюбленных молодых людей комсомола. Вскоре после окончания школы Марина забеременела. Вопреки воле своего грозного отца и антисемитски настроенной семьи Валя женился на Марине, и на короткий период Марина стала Платовой (на моей памяти она носила в своей жизни четыре фамилии: Корецкая по матери, Бронштейн по отцу, Платова и потом по новому мужу Морозова). Родить ребенка Марине не позволила ее мать, вернувшаяся к тому времени в Москву из ссылки. Чуть ли не силой Марину заставили сделать страшный, нелегальный аборт, кажется, на пятом или шестом месяце беременности, от которого ребенок умер, а она сама еле выжила. С Валею Марину мать тоже развела. Прошедшая через ад ареста, тюрьмы, лагеря, ссылки, знавшая по своему опыту, что такое сотрудники КГБ, мать не могла допустить и мысли, чтобы Марина оказалась в семье таких людей, даже если сам Валя еще сотрудником КГБ не был. Наверно, имел здесь значение и национальный порог: еврейская девочка не должна была стать женой русского парня. Любовь Марины и Вали была разбита и уничтожена навсегда.

Вот на этом «смутном политическом фоне» я, пожалуй, уже могу приступить к печальному повествованию о своей первой любви, которая случилась (началась, обрушилась на меня сразу) в новогоднюю ночь 1952 года. Тогда мы оба учились в девятом классе в соседних арбатских школах: он – в 58-й, я в 71-й.

Его звали Игорь (не буду придумывать другое имя), и встречали мы этот Новый год (почти все впервые не дома, не с родителями: пять девочек из нашего класса, пять мальчиков из его класса плюс еще трое его младших сводных братьев) в его просторной квартире, выходившей окнами на стройку Дворца Советов, у нынешнего метро «Кропоткинская» (тогда «Дворец Советов»). Его родители встречали тот Новый год где-то в гостях или в ресторане и вернулись под утро, так что еще этой ночью я увидела их – отчима Игоря скульптора Евгения Викторовича Вучетича, чья слава после присуждения ему Сталинской премии за памятник Советскому воину-освободителю в Берлинском Трептов-парке уже гремела на всю страну, и мать Игоря Сарру Самойловну Валериус.

До этой новогодней ночи все мы, девочки и мальчики, не были знакомы между собой. Встречу организовали Наташа и Сережа Лазаревы (брат и сестра – близнецы): Наташа училась в одном классе со мной, мы с ней сидели за одной партой; Сережа – в одном классе с Игорем. Для встречи были «отобраны» наиболее преуспевающие в учебе и комсомольской работе девочки (Люда Кочеткова, Светлана Овчинникова, Нонна Эстрина и я), а с «мужской стороны» наиболее близкие друзья Игоря, в том числе Володя Соловьев и Леня Щеголев, составившие таким образом своеобразный «избранный круг». В этой компании мы еще некоторое время встречались и после Нового года.

Во время «игры в почту» в эту новогоднюю ночь Игорь прислал мне записку: «Давайте с Вами дружить. Если не хотите, ничего не отвечайте». Я ответила в каком-то загадочном и кратком, спартанском стиле (не знаю даже, что водило моей рукой в тот момент, ничего я особенно не обдумывала): «Если только смогу». Он еще успел написать: «Как это понимать?», я не успела ответить, потому что «игра в почту» кончилась. Действительно, как это понимать: «Если только буду Тебя достойна» или «Если Ты будешь меня достойным», варианты могли быть разными, но все-таки ответ был положительным. И этот ответ обязывал меня: я уже считала, что

приняла его предложение и должна хранить ему верность. Не я выбрала его, а он выбрал меня, предложив мне свою дружбу (в том максималистском представлении – руку и сердце на всю оставшуюся жизнь), но я безусловно стала в тот момент «его девушкой».

На следующий день Игорь уехал в Ленинград. Это была давно запланированная поездка, и если бы я только знала, что в Ленинграде у него была другая девушка, к которой он ехал, все сложилось бы, наверно, в моей жизни иначе. Но я ничего не знала, радовалась за него, что он увидит Эрмитаж и Русский музей (моя первая поездка с мамой в Ленинград, включавшая именно эти адреса плюс еще Мариинский театр, где я слушала «Пиковую даму», которую в Москве тогда не ставили, состоялась два месяца назад – в осенние, ноябрьские каникулы в девятом классе, еще в 1951 году, и произвела на меня очень сильное впечатление). После Нового года мы продолжали встречаться почти в таком составе, в каком встречали Новый Год, только без Игоря, которого я ждала, храня ему полную верность и держа в тайне от всех товарищей и подруг связывающую нас с ним «тайну» – новогоднюю записку с предложением дружбы.

Тем временем в те первые январские дни произошло нечто, чего в моей жизни еще не случалось никогда. Меня полюбил – первой, сильной юношеской любовью – самый близкий школьный друг Игоря Володя Соловьев (в книге *Рельеф памяти* Игорь пишет о нем довольно много, но почему-то скрывает его за чужим именем и фамилией: Коля Соколов («Коля Соколов был, наверно, самым близким моим другом, начиная со школьных лет»³⁴). Ничего мне о своей любви Володя не говорил, записок с предложением дружить не писал, но по каким-то не передаваемым словами признакам, по глазам, которыми он на меня во время наших общих встреч и прогулок смотрел, не замечать того, что происходит, было просто нельзя. Ну, а я, никому ни о чем не говоря ни слова, ждала Игоря: а как же иначе? Человеку 15 лет, максимализм абсолютный, чистота помыслов и намерений безмерная, никакой – не то что в действиях, даже в словах – измены, «...я другому отдана, я буду век ему верна», приблизительно так. Если бы Володя, который, конечно, знал, что Игорь уехал к другой девушке, сказал бы мне об

³⁴ Светлов И.Е. *Рельеф памяти*. – М.: Канон-Плюс, 2017. – С. 58.

этом хоть слово, бросил бы хоть единый намек, все эти возведенные в моей душе баррикады, наверно, еще можно было разрушить. Но Володя, человек высочайшей порядочности и верный священному долгу мужской дружбы, ничего подобного сделать не мог. На свою – почти в буквальном смысле этого слова – погибель.

Когда Игорь вернулся (даже раньше запланированного срока; что-то там в Ленинграде у него с той девушкой не сложилось, и потянуло его ко мне, в Москву), мы некоторое время еще все вместе встречались, катались со снежных горок, гуляли по московским улицам, рассматривали новые, только что открывшиеся станции метро, играли в шахматы, готовились к своим докладам: Игорь предложил создать кружок по изучению Версальского мира – затея, как я теперь понимаю, смертельно опасная, запросто приписали бы нам участие в подпольной организации, да и до чего мы договорились бы в своих оценках мирового устройства после Первой мировой войны, трудно себе представить, но дали бы следователям богатый материал; а ведь тогда идея казалась увлекательной и невинной, и взрослые даже никак не остановили, пока умная мама Игоря Сарра Самойловна не сказала: «Нет, никаких кружков», и карточный домик немедленно распался. К тому времени распался и карточный домик общей дружбы (вся компания оказалась слишком уж «разношерстной», заряженной центробежными силами и интересами) и нашей (моей, Игоря и Володи) «дружбы троим».

Игорь в своих воспоминаниях рассказывает об этом с кощунственной иронией, предавая одновременно и своего друга Володю («Колю»), и меня: «Мы с Колей часто гуляли троим, фланкируя одну из бывших наших шахматных учениц. Каждый стремился сказать что-то необыкновенное. Выдвигали, как нам тогда казалось, оригинальные идеи устройства человеческой жизни, спорили об истории, читали стихи. На мой взгляд, у нас с Колей не было соперничества. Может быть, конечно, он мыслил иначе. А девушка? Ей было явно хорошо в такой композиции. Тем не менее то ли в этих беседах, то ли во время танцев она сделала крен в мою сторону. Коля бурно среагировал, приняв ртуть»³⁵.

³⁵ Там же. С. 61.

Володя «принял ртуть», и его еле спасли. Я об этом ничего не знала. Никто мне об этом ни слова не сказал: ни Игорь, который едва ли не присутствовал при этом, вызывал скорую помощь, вез его в больницу, потом навещал (все это он рассказал мне при нашей встрече в 2016 году – через 64 года после тех событий), ни кто-либо другой из наших мальчиков и девочек (да и знали ли они об этом?). Володя просто исчез. Исчез из моей жизни навсегда (даже случайно мы ни разу никогда не встретились). Я приняла это его исчезновение с некоторым печальным пониманием. Напрасно Игорь пишет, что я чувствовала себя хорошо в той «композиции», когда мы еще были троим. Ничем мне не хотелось бы обидеть, огорчить Володю, чью любовь ко мне я, несомненно, чувствовала, понимая, что у этой любви нет никакого будущего («я другому отдана» и так далее). Ничем я не хотела играть и не могла дать Володе никакой надежды, да он ни о чем и не спрашивал, не «добивался» моего расположения, не «выяснял отношений», не пытался изменить сложившуюся в нашем «треугольнике» ситуацию в свою пользу. Это был очень гордый мальчик высокой порядочности. Меньше всего мне хотелось бы быть причиной его страданий. Но ясная и однозначная, как какой-то ослепительный солнечный морозный день, ситуация – без тени сомнений, колебаний, тайных альтернативных вариантов – заключалась в том, что Игорь предложил мне свою дружбу, что я должна быть достойной его («Если только смогу...» – Смогу!), что я люблю Игоря (люблю? кажется, люблю, хотя еще не знаю, что это такое...; да уже знаю и люблю, люблю! и буду любить всю жизнь, – иными временными категориями я тогда не мыслила). Мы с Игорем стремительно сближались, хотя это была еще высоко целомудренная любовь (до самого ее трагического конца без потери невинности). С Игорем я пережила счастье первого поцелуя, и на всю жизнь запомнила тот день 1 марта 1952 года, когда он поцеловал меня. Это случилось после моего доклада о живописи Айвазовского в Третьяковской галерее, на который он пришел, хотя в занятиях этого нашего школьного кружка не участвовал, и потом всю меру своего восхищения выразил тихим возгласом, почти шепотом: «Нет слов!».

Наша любовь, вообще, была окрашена той неповторимой романтикой, которая была связана с выбором будущей профессии, с

нашим интересом к искусству. В этом искусстве мы еще разбирались слабо, и явные провалы вкуса были неизбежны в контексте той художественной политики, которая проводилась в стране после разгромов журналов «Звезда» и «Ленинград», оперы *Великая дружба* и многих других явных и скрытых идеологических погромов. Чего только стоил мой трепет перед Айвазовским, ничего лучшего я в Третьяковской галерее не нашла. Игорь тогда, под влиянием отчима и матери, больше всего интересовался скульптурой, и нам с ним безумно нравились и Иван Шадр, и Вера Мухина, и Матвей Манизер, а открытие нового памятника Н.В. Гоголю работы Николая Васильевича Томского на Гоголевском бульваре (это открытие произошло как раз на следующий день после нашего 1 марта – 2 марта 1952 года) воспринимали как праздник: согбенный и печальный «старый» Гоголь Андреева нам совсем не нравился – распрямленный, как бы окрыленный «новый» Гоголь Томского был нашим пластическим идеалом.

Любовь к искусству была прежде всего нашим интересом к современному советскому искусству. Мы ходили на выставки, и родители (его – отчим и мать, меня – мой отец) брали нас с собой даже на конференции, на обсуждения выставок (в частности, Всесоюзной выставки – весной 1952 года), на встречи и вернисажи, для школьников вовсе не предназначенные, и мы были знакомы со многими известными художниками – да, лично!, при пожатии за руку, хотя вряд ли эти известные художники успевали нас запомнить и рассмотреть. Мы вникали в суть разворачивавшихся тогда (весьма осторожно и умеренно, но все же разворачивающихся) художественных диспутов и искусствоведческих дискуссий с такой заинтересованностью, о какой их полноправные участники, порой на таких диспутах скучавшие, могли только мечтать. Когда Игорь спросил меня, какое у меня самое главное заветное желание (это случилось уже в ночь на следующий, 1953-й Новый год), я сказала ему чистую правду: написать историю советского искусства. Тогда такой истории не было, и по удивительному снисхождению ко мне (Провидения, судьбы, Бога?) оказалось так, что это желание исполнилось, и спустя десять лет, в нашем Институте теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР, куда меня только что – после защиты кандидатской диссертации – приняли на

работу, меня включили в состав авторского коллектива, создавшего первый в стране вузовский учебник по истории советского искусства³⁶. Многие страницы этого учебника написаны моей рукой, чем сейчас трудно гордиться (предопределенной государственной политикой выбор героев и действующих лиц был далеко не совершенным, сейчас бы я так не писала), но совпадение моей первой любви к юноше с первой любовью к искусству, с выбором профессии считаю чем-то знаменательным. Если с мальчиком Валей, ушедшим из жизни в свои пять лет, мы, наверно, были созданы друг для друга физически, то с Игорем при полном совпадении интересов и направлений интеллектуального развития мы были созданы друг для друга духовно.

Теперь, когда я уже знаю, как все это печально кончилось, я не могу писать об этом в слишком возвышенном тоне. Но объективно та короткая первая любовь достойна самых возвышенных слов, и вслед за поэтом, сказавшим «и я сжег всё, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал», мы должны поклониться тому, что навсегда сгорело осенью 1952 года.

Что же тогда случилось? Измена? Нет.

Допускаю, что если бы нас не разлучили тогда насильно, превратив в московских Ромео и Джульету середины XX века, а предоставили нас своей судьбе, мы и сами не остались бы друг с другом на всю оставшуюся жизнь. Ему понравилась бы какая-нибудь другая девочка (он всегда был очень любвеобилен), мне понравился бы другой мальчик (Игорь не был идеалом мужчины в моем понимании), вокруг нас в нашей юности в студенческие годы было много соблазнов, и с кем-либо из нас – с ним или со мной, в лучшем случае одновременно – это случилось бы рано или поздно: охлаждение, разочарование, измена, уход к другому (к другой). Но это была бы уже совсем иная история, и нам ее не довелось пережить. На нашу долю выпало другое горе, которое в полной мере можно понять только «на смутном политическом фоне» последнего сталинского – 1952 года.

Игорь в своих нынешних воспоминаниях пишет об этом так (и пишет не всю правду): «В девятом классе я отчаянно влюбился, отчим перехватил мое письмо (доказательство «непозволительных

³⁶ *История советского искусства. Живопись, скульптура, графика*, Ч. 1–2. – М.: Искусство, 1965–1968.

отношений») и жестоко меня избил. Надеялся, что это меня отрезвит. Потом вызывал отца моей возлюбленной. Ничто не помогало. Тогда было использовано самое могущественное средство – гипноз. В одном из кабинетов знаменитой поликлиники в Гагаринском переулке какой-то полковник в военной форме страшно сверлил меня глазами, сжимал руки и задавал вопросы, призванные раскрыть подноготную. Но и этот длящийся несколько часов сеанс не избавил меня от любовной напасти. В итоге было решено выслать меня из Москвы, отправить на озеро Сенеж...»³⁷.

Не так, не совсем так все это было. Никакого письма у Игоря его отчим не «перехватывал»: Евгению Викторовичу Вучетичу с высоты задач, которые стояли перед ним в блистательном для его карьеры 1952 году (монумент Сталину на канале Москва-Волга!), до позволительных или непозволительных отношений с кем-то его пасынка не было никакого дела, а писем мы еще друг другу не писали, когда было принято решение (задолго до ссылки Игоря на Сенеж, а именно в июне 1952 года) нас с Игорем разлучить. Это решение приняла его мать Сарра Самойловна Валериус, которая не только заметила, но смогла по достоинству оценить всю серьезность увлечения ее сына и произвести в уме несложный расчет, из которого следовало, что я Игорю «не пара». Мои личные достоинства (подумаешь, отличница!), мои чувства (девочка, влюбленная в ее сына, боготворившая его), моя полная невиновность ни в чем (в 16 лет – никакого «темного прошлого» и безупречное поведение по отношению к Игорю) – все это не стоило ни гроша.

В тот период Сарра Самойловна находилась на «лестнице, ведущей вверх», на раскручивающейся спирали новых приобретений, пополнений своего капитала. Физически она, казалось бы, не обладала никакими данными, позволяющими рассчитывать на большой успех: чрезмерная полнота, бесформенная фигура, слишком маленький (ниже нормы) рост, отнюдь не молодой возраст (она была на несколько лет старше своего второго мужа и уже переступила опасный для женщины порог 50-летия, когда Вучетич был сорокалетним, с небольшим довеском, мужчиной в расцвете сил). Но она умела так себя «подать» и «поставить», что вокруг нее клубилось туманное облако шарма. Этот шарм исходил из ее золотистых,

³⁷ Там же. С. 59.

умело подкрашенных и красиво подстриженных волос, тончайших кружев, которыми она прикрывала шею, невиданного в послевоенной Москве аромата французских духов, из ее загадочной, многозначной, иронично-снисходительной улыбки, слегка трепетавшей в уголках губ. Ценности, которые она тогда приобретала, имели колоссальное материальное и моральное измерение: меха, золото, драгоценная коллекция брюссельских кружев, денежные сбережения из гигантских, не сопоставимых ни с какими советскими «окладами» гонораров Вучетича, уже строившиеся новый дворец-мастерская в Соломенной Сторожке и высотный дом на Котельнической набережной, где им должны были дать квартиру, но главное – знакомства, связи в высших кругах советской военной и художественной элиты, авторитет (от ее слова, громко произнесенного с трибуны или сказанного тихим шепотом на ухо Вучетичу, зависели судьбы многих людей), полное, беспрекословное подчинение обожавших ее сыновей и мужа, можно сказать, «культ» ее личности в их семье. Я не только не вписывалась в систему этих ценностей, но была чем-то вроде явной помехи, которую следовало убрать с дороги. Какую-то роль в этом играла и материнская ревность (Игоря она ни с кем не хотела «делить»), но главными были причины социального неравенства. Как умная женщина, она понимала, что рано или поздно Игорь кого-то полюбит, на ком-то женится, но она хотела контролировать этот процесс, руководить им, по своему усмотрению выбрать будущую невестку. На потенциальном matrimonialном рынке – в той перспективе, в какой он еще рисовался ей весной 1952 года (вскоре все решительно изменилось), – Игорька можно было дорого продать, укрепив будущим браком (с дочкой генерала, маршала, министра, прославленного художника – вариантов много) положение собственной семьи. Во всяком случае брать в дом чужую девочку (не Игоря же отпускать из дома, ломившегося, как полная чаша, в убогий Кривоникольский переулок) совершенно не нужно, а любовь между ними разгорается с такой стремительной силой, что брать придется, если не принять нужных мер. И меры были приняты. Сначала еще в довольно щадящем режиме. Нам не позволили вместе провести лето, чего мы страстно хотели, мечтая о совместной поездке на Рижское взморье. На Рижское взморье, куда я потом уехала с мамой, Игоря не пустили – отправили на Кавказ, в туристический поход по Военно-Грузинской

дороге. Сарра Самойловна надеялась, что при долгой летней разлуке все рассосется само собой, Игорь чем-нибудь или кем-нибудь увлечется (и тут, хорошо зная своего сына, она даже была недалеко от истины, в его *Рельефе памяти* остались воспоминания об украинских девушках, которые дали ему свои адреса), обо мне он забудет. Не забыл. Едва только он вернулся из плавания по каналу Москва-Волга, где был торжественно открыт сталинский монумент Вучетича, он бросился ко мне – в тот самый Кривоникольский переулок. Это был конец августа 1952 года, я в тот день еще не ждала его возвращения, задохнулась от счастья – так же, как и он, прижимавший к груди охапку красных гвоздик, не отрывавший от меня своих глаз.

На следующий день мы еще поехали с ним в Измайловский парк, и этот последний день лета стал и последним днем моей первой любви. Игорь сказал мне, что мы больше никогда не увидим друг друга, что он дал слово своей матери больше не встречаться со мной.

Все, что он пишет дальше в своих воспоминаниях, уже близко к правде. И письма там как-то фигурировали (только не его письмо, а мои письма, полные любви и нежности, которые я посылала ему с Рижского взморья в ответ на его такие же нежные, страстные письма и стихи; совсем недавно, в 2013 году, разбирая бумаги в кладовке перед продажей московской квартиры, я нашла толстый пакет этих его писем и стихов и вернула ему), давая повод Сарре Самойловне говорить о моей «распушенности»; и Вучетич по ее наущению вызывал для беседы моего отца, требуя, чтоб тот наказал «распушенную» дочь, – вот уж не знал он моего отца, не способного не только поднять на меня руку, но даже повысить голос, однако понимаю, какие мой отец пережил горькие минуты во время этой беседы, – и сам Вучетич жестоко избивал Игоря (попробовал бы он сделать это без ведома матери, которая тогда в их доме все решала), и собирала она на тайные советы его школьных друзей, надеясь услышать от них обо мне что-нибудь дурное, и видя, как умирает Игорь от горя (неподвижно лежал на диване, равнодушный ко всему), посылала его на сеансы гипноза в психиатрический диспансер, и наконец отправила его из Москвы в Сенеж. Боялась, что Игорь нарушит данное ей слово и мы будем тайно встречаться. Напрасно боялась. Игорь данное ей слово сдержал.

Передать словами ту боль, которая в ту долгую осень (сентябрь, октябрь, ноябрь 1952 года) переполняла мою душу, не берусь. Это была почти физическая боль, от которой ломило грудь, словно острая игла врезалась в сердце. Мысленно я спрашивала «За что?» и не находила ответа. Надежды не было ни на что, никакой. Все было кончено.

Правда, у этой печальной истории было свое продолжение. В самом конце декабря 1952 года мы случайно (внезапно и для него, и для меня) встретились в доме у Наташи Лазаревой (я зашла к ней, он к ее брату Сергею), я сразу же ушла, он пошел вслед за мной и что-то стал мне говорить. Конкретные слова не имели значения. Их смысл был «Прости! Я люблю тебя, я не могу без тебя, я готов вернуться». У меня не хватило силы воли ответить «Нет», и мы еще некоторое время встречались (сначала «тайно», в расчете, что его мать об этом не узнает), даже вместе встречали вдвоем у нас дома в Кривоникольском переулке Новый, 1953-й год. Но тогда я еще не знала, что разбитую чашку нельзя склеить. Я еще любила его, но я ему уже не верила. Я знала, что если он предал меня однажды (без всякой моей вины!), то предаст и второй, и третий раз. И наступил момент, когда мне стало уже все равно, с кем встречаться, с кем целоваться, с кем слушать, как поют соловьи (кажется, первым для совместного слушания соловьиных трелей на подмосковной даче, где мы в большой компании отмечали 1 мая 1953 года, случайно попался под руку красивый мальчик Юра Мазель). Летом 1953 года, после сдачи экзаменов в Университет, Игорь поехал за мной на Рижское взморье, но для меня он был уже совершенно чужой человек. Мы и в первый студенческий год еще «дружили», я бывала в их новом доме на Котельнической набережной, но все уже было пусто, абсолютно пусто в душе и именно в силу этой пустоты было совершенно безразлично, с ним ли или с кем-либо другим мне быть. Я и замуж вышла за Николая Григоровича, не придавая никакого значения ни новой близости, ни замужеству. Иронично-печальная формула этого бесчувствия вмещалась в стихи, с той поры запомнившиеся: «Спи, мой мальчик, скоро ночь... Я не мальчик, я же дочь! Все равно, какая разница... Толстый черный таракан молча лезет под диван. Чей ты, мой или его? Спи, мой мальчик, ничего.... Мама, завтра будет праздник! – «Праздник», дочка, говорят. – Все

равно, какая разница! Лишь бы дали шоколад». Шоколаду хотелось, одиночество пугало, но никого любить я просто не могла. Мужчины казались существами из ледяного зазеркалья; если папа, если Игорь... – то никому нельзя верить. Ни верить, ни любить – ни за что, никогда. Вот уж знаменитое высказывание «В Советском Союзе нет секса» – это обо мне той поры. Можно было бы даже сказать: «В Советском Союзе не существует любви». Правда, спустя несколько лет Збышек Иванчук разбил эту ледяную стену, растопил ее мгновенно одним своим взглядом, но разве Збышек – это любовь? Ах, да, «любовь без конца и без края и без строгих нравственных границ», шальная карусель польского университетского землячества, запретный рок-н-рол, сотрясавший стены МГУ на Ленинских горах и освобождавший от земного притяжения. Но это все потом, потом...

От Сарры Самойловны не осталось в тайне то, что мы начали снова встречаться. Среди школьных товарищей Игоря у нее был свой надежный круг осведомителей, прежде всего Леня Щеголев, да и другие способы слежки за своим сыном она хорошо знала. Но наступали иные времена, на нее, как снежный ком, катилась страшная зима–весна 1953 года, и ей было уже не до нас, не до планов на будущее Игоря, и вероятно, в той атмосфере ужаса, который на нее надвигался, могло что-то дрогнуть в ее душе, пробиться какое-то запоздалое раскаяние или понимание, что нельзя так мучить детей. Сначала закрыть глаза на наши возобновившиеся встречи, потом даже, как ни в чем не бывало, приветить меня и пригласить в свой новый дом – на Котельническую набережную, – это она могла. Но воскресить нашу любовь, вернуть все на давние круги своя, – этого она не смогла бы, даже если бы очень хотела.

Ужас, который она пережила в ту зиму, складывался из формажорных обстоятельств объективного и субъективного характера. Взорвалась бомба «дела врачей», по стране катилась волна антисемитизма, готовилось выселение всех евреев из Москвы, и не каждая женщина, носившая имя «Сарра» (а она тогда и отчество свое писала и произносила еще как «Соломоновна»), могла легко пережить эту зиму. Но у Валериус была еще и другая беда. Вучетич – эта неуправляемая глыба ничем не сдерживаемых эмоций – не только разлюбил, но возненавидел ее. С такой же силой и страстью, с какой еще недавно он ее обожал, буквально боготворил, слушаясь

каждого слова, выполняя каждую ее волю, он теперь яростно ненавидел и буквально сокрушал ее. Прежнее обожествление я видела собственными глазами при каждом посещении их дома и даже вне дома. Никогда не забуду, как при ее выступлении на обсуждении всесоюзной выставки 1952 года, когда она поперхнулась, закашлялась, он, сидевший в президиуме собрания, сорвался с места, опрокинув стул, бросился к ней со стаканом воды в сильно дрожавшей руке (на него часто нападал нервный тик), это была такая яркая демонстрация испепеляющей все преграды любви, что по всему залу прошел шелест изумленного вздоха. От Игоря я знала, что когда Вучетичу присудили Сталинскую премию (а Сарру Самойловну исключили из списка соавторов, также на эту премию – за Трептов-парк – претендующих), Вучетич вовсе не праздновал это событие, в их доме царил траур. Мне кажется, что к концу 1952 года, подавив волю Игоря, отправленного из Москвы на Сенеж, Сарра Самойловна и в отношениях с мужем незаметно для себя перешла ту грань, за которой известная сказка о рыбаке и золотой рыбке заканчивается пожеланием старухи иметь рыбку своей служанкой и появлением разбитого корыта. Чем-то Вучетич ее, вероятно, спровоцировал – жил бурно, был мужиком грубым, неотесанным, этикета не придерживался, пил, сколько хотел³⁸, а возможно, и на молодых женщин посматривал, ни дать, ни взять «ростовский вор», пробившийся в столицу и на благоприятной для него военной волне ставший знаменитым и приближенным к высшему генералитету. «Си-

³⁸ А кто тогда из выдающихся и согретых государственной заботой и славой художников не пил? Разве что Матвей Генрихович Манизер, безупречный в своем нравственном поведении. Остальные – о Боже! Какие лукулловы пиры устраивал в своем особняке у Никитских ворот (сказочном особняке с терракотовыми стенами и античным лепным декором) Николай Васильевич Томский (в этом особняке, в мастерской отца, повесился на статуе Ленина его старший сын Анатолий)! До каких зеленых чертиков допивался создатель памятника Юрию Долгорукову в Москве скульптор Орлов! Какими глубокими и темными были запои Александра Дейнеки! Во время одного из них он утопил в водке свой партийный билет, и на первом партийном собрании в Академии художеств СССР, на котором я присутствовала в конце 1963 года, «разбиралось» (и было быстро замято) его «персональное дело». Георгий Нисский свои бурные возлияния, вообще, закончил в психиатрической больнице. Так что из массы своих творческих коллег (соратников-соперников-собутельников) Вучетич особенно не выделялся.

туация становилась все более тяжелой, – пишет в своих воспоминаниях Игорь Вучетич (Светлов). – В итоге мать пошла на крайнюю меру – написала письмо в Комиссию партийного контроля Московского Комитета партии»³⁹.

Право, в этом ему лучше было бы, даже задним числом, не признаваться. Комиссия партийного контроля (КПК), которая существовала не при Московском комитете, а при ЦК КПСС, в послевоенные годы была орудием карательной системы: членов партии, подлежащих уничтожению, брали не сразу на Лубянку, как при большом терроре 1937 года, а сначала прогоняли сквозь мясорубку КПК, которая лишала их партийного билета, а затем передавала в руки соответствующих «органов». Написать в эту организацию донос на своего мужа, отца своего ребенка (младший брат Игоря Вася был рожден в их браке вскоре после войны) – это уж, действительно, поступок «крайний». Видимо у Сарры Самойловны был прежний успешный опыт сотрудничества с подобными инстанциями: ее первого мужа, отца Игоря, Константина Валериуса, о котором в их доме никогда не вспоминали, арестовали в 1937 году, он исчез навсегда, а его законная жена Сарра Самойловна осталась в прежней московской квартире и никаких претензий к ней у всемогущих органов не было. Но расчет ее оказался ошибочным. И 1952 год уже не был похож на 1937-й, и Вучетич был фигурой иного масштаба, нежели никому не известный инженер Валериус. Никакого «дела» на Вучетича в КПК не завели, а когда Сарра Самойловна – в последней и отчаянной надежде публично наказать мужа – бросилась к известному фельетонисту (теперь уж точно и не помню его фамилию, кажется, Нариньяни), чьи политические фельетоны в «Крокодиле» и «Правде» публиковались как своего рода предварительный приговор обреченным, и выложила ему весь собранный на мужа компромат, этот фельетонист мило ее принял, внимательно выслушал, а потом написал страшный, прогремевший на всю Москву фельетон, разоблачавший, однако, не Вучетича, а ее: он представил ее чем-то вроде грязного клопа, впившегося в тело талантливого русского скульптора и пьющего его кровь. Что значил для слуха читателей такой намек в начале 1953 года, люди, пережившее то время, хорошо знают.

³⁹ Светлов И.Е. *Рельеф памяти*. – М.: Канон-Плюс, 2017. – С. 82.

Жизнь Сарры Самойловны на некоторое время превратилась в ад. Не знаю, как не убил ее Вучетич, но знаю, что совершил он нечто страшное: разбил молотком на ее глазах одно из своих лучших скульптурных произведений – ее портрет, мраморный бюст, исполненный в шубинской манере, стоявший у них дома. Трудно такое пережить. Несомненно, грозило ей и нечто худшее; смерть Сталина спасла. Громкий скандал их развода продолжался до осени 1953 года. Мобилизовав все силы (в том числе включив в борьбу с мужем обоих сыновей, Игоря и маленького Васю), Сарра Самойловна вырвала из этого конфликта все, что смогла, в частности, новую квартиру в высотном здании на Котельнической набережной, куда она с детьми переселилась. Вучетич на мелочи не разменивался и ограничился переездом в свой новый дворец в подмосковном пригороде Соломенная Сторожка.

Вот и вся сказка о моей первой любви. Занавес!

В следующих действиях некоторые персонажи (Игорь в Университете, Сарра Самойловна в Московском Союзе художников, где она возглавила секцию критики, переквалифицировав себя из бывшего плановика-экономиста на стройке Дворца Советов и из бывшего скульптора – соавтора Вучетича, – я еще помню ее, выходящей в изящном рабочем фартучке из «своей мастерской», – в искусствоведа, готового судить о прогрессивных и реакционных тенденциях в современной скульптуре; да и сам Вучетич: на академическом Олимпе: после смерти В.А. Серова в 1968 году он был одним из кандидатов на должность Президента Академии; к счастью, избрали не его, а Николая Васильевича Томского) еще могут появиться, но к моей разбитой вдребезги первой любви и к ушедшей навсегда зимней сказке 1952 года они уже никакого отношения не имеют.

ГЛАВА 8. НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Называя свою книгу *Мой университет*, Константин Григорьевич Левыкин (мой старший товарищ по историческому факультету МГУ середины 1950-х годов, не могу сказать «учитель», поскольку на нашем искусствоведческом отделении он не преподавал, но несомненно партийно-комсомольский «вождь», одно время секретарь партийной организации истфака, воспринимаемый нами – и по возрасту, и по его положению на факультете – с почтительной дистанции, к слову сказать, отец нынешнего директора Государственного Исторического Музея Алексея Левыкина), дал этой книге очень точный подзаголовок, написав: «Для всех – он [университет] наш, а для каждого свой»⁴⁰.

«Свой», особенный университет был у нас (небольшой группы в два десятка человек) – студентов искусствоведческого отделения исторического факультета, абитуриентов 1953-го и выпускников 1958 года, и, конечно, у каждого из нас в отдельности, поскольку и ценили мы разные вещи, и понимали их по-разному, и стремились к разным целям и идеалам, и обладали неодинаковыми возможностями в достижении этих целей и приближении к этим идеалам. В то же время было нечто общее – в нашем формирующемся мировоззрении, в нашем понимании искусства, в том состоянии советской искусствоведческой науки и педагогики, цвет которой, несомненно, был сосредоточен на кафедре истории и теории изобразительных искусств истфака МГУ; в том, чему нас учили наши профессора и чему мы способны были научиться, продолжая традиции *Alma Mater* в своей работе – в художественных музеях, в научно-исследовательских институтах, в издательствах, в столичных и периферийных вузах и школах, по которым судьба рассеяла нас, иногда даже в государственных учреждениях такого типа, как Министерство культуры, где как раз мне довелось работать (в конце 1950-х годов – в Министерстве культуры СССР и в конце 1960-х годов – в Министерстве культуры РСФСР), и в общественных организациях, порою более влиятельных, чем государственные структуры, например, в Союзе художников СССР или в республи-

⁴⁰ Левыкин К.Г. *Мой университет. Для всех – он наш, а для каждого – свой.* – М.: Изд-во МГУ, 2006.

канских Союзах художников, финансово поддерживаемых соответствующими художественными фондами. Именно то общее, что было в «нашем университете» середины 1950-х годов, может вывести мой рассказ из сферы сугубо личных, частных воспоминаний о том, чем был для меня «мой университет» (хотя без таких воспоминаний и субъективных признаний и оценок, конечно, не обойтись), и ввести ее, выражаясь современным языком, в *тренд* (к сожалению, до сих пор в нашем искусствоведении не слишком сильный) истории отечественного искусствоведения, для которого, впрочем, как и для других гуманитарных дисциплин, прежде всего для всей советской исторической науки, середина 1950-х годов была важнейшим переломным периодом, временем уже начинавшихся и источником будущих потрясений во всей концептуальной системе исследования художественной культуры, русского искусства, искусства «народов СССР» и искусства народов мира.

Никто из моих сокурсников не давал мне права говорить от его имени, и мое восприятие Университета может не совпадать с тем, что они помнят сегодня, что они чувствовали и думали тогда, когда были его студентами. Но какое-то необъяснимое, сильнейшее внутреннее ощущение общности нашего отношения к Университету, общности пережитого заставляет меня писать не «мой», а «наш» университет.

Начинался этот «наш университет» на пронзительном и холодном ветру, от которого трепетали девичьи школьные формы (иначе мы одеться не могли и не решались), фактически в открытом поле перед только что построенным новым высотным зданием МГУ на Ленинских Горах, в пронизанной ослепительным солнцем и светом атмосфере 1-го сентября 1953 года. Мы стояли, построенные рядами и группами по факультетам и кафедрам, с интересом всматриваясь в лица наших будущих сокурсников: сверстников, окончивших школу в том же 1953 году, и старших коллег, в том числе недавних «фронтовиков» или военнослужащих послевоенных лет, еще одетых в военные гимнастерки (три слова с корнем «военный» в одной фразе должны подчеркнуть то впечатление, какое их присутствие производило на вчерашних школьников и школьниц; «кадрами» фронтовиков и военнослужащих были солидно укреплены в тот год, кажется, все гуманитарные факультеты МГУ, исторический факультет – особенно).

Мы слушали долетавшие сквозь громкоговоритель со ступенек балконов нового здания МГУ, превращенных в подобие мавзолейной трибуны, отрывки торжественных речей, гимна (разумеется, не *Gaudeamus*, о существовании которого мы даже не подозревали, а грандиозно-государственного «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь...», фальши которого мы совершенно не чувствовали) и поздравлений с началом (такого невероятного, такого выдающегося, совпавшего с завершением строительства дворца на Ленгорах!) нового учебного года, но и без всяких слов, слышимых и терявшихся на ветру, все мы были погружены атмосферу свершившегося чуда. Думаю, что каждому из нас (даже тем студентам, чье сравнительно легкое и предсказуемое появление в списках «принятых» в МГУ было как-то предопределено их школьными золотыми медалями, знаниями, общественным положением их родителей или их собственными заслугами перед советским государством и его всемогущими органами) казалось волшебным, невероятным, почти божественным то, что вот именно он стоит здесь, один из миллионов «избранных»⁴¹, уж наверняка один единственный из своей бывшей школы, из колхоза, с фабрики или завода, где он раньше работал, из воинской части, где он раньше служил, из своего города, области, может быть, из целой республики, причастный с этого мгновения и на пять лет вперед к той высшей элите, какую он мог представить в своем воображении: к студенческому братству Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова⁴².

⁴¹ Конкурс в 1953 году на одно место был, конечно, не один к миллиону, а примерно один к пятнадцати человек, но ведь миллионы юношей и девушек даже не помышляли о том, чтобы подать заявление, не видя для себя ни малейшей перспективы попасть в МГУ.

⁴² Костя Левыкин в своих воспоминаниях выразил это ощущение словами: «Нас привело [сюда – в МГУ] желание учиться в самом лучшем университете, на самых сильных факультетах и кафедрах, в самых прославленных аудиториях [...] у самых сильных и знаменитых профессоров» (Левыкин К.Г. *Мой университет. Для всех – он наш, а для каждого – свой.* – М., 2006. – С. 51). Эти слова, абсолютно адекватные тому, что все мы пережили 1 сентября 1953 года, точно выразили незабываемое чувство гордости от самой причастности к Университету и, вообще, ни с чем не сравнимое восприятие «нашего первого российского, нашего главного советского и нашего единственного настоящего московского университета» (Там же. С. 585).

Как оно выглядело на самом деле – и это братство, и повседневный студенческий быт, и отношения с педагогами (наше отношение к преподавателям, их отношение к нам), и вся научная (и не только научная, и совсем не научная) жизнь на истфаке МГУ, и отнюдь не каждому гарантированное пятилетнее пребывание в его стенах, – попробую рассказать, восстановив в памяти многие подробности и детали, но сейчас хочу еще раз сказать о том, каким удивительным, ослепительно солнечным, пронзительно холодным и ветреным был этот день 1 сентября 1953 года на голой площади перед новым зданием МГУ, лицом к которому (спиной к синей Москва-реке) мы простояли тогда несколько часов. Не хотела бы играть искусственными символическими конструкциями, но в данном случае от символов и метафор трудно оторваться: да, это был ветер наступающих перемен огромной глубины и силы, это был свет надежды, и это была материализованная в мельчайших деталях встреча прошлого с будущим: и убогие школьные формы девочек, и военные гимнастерки «фронтовиков», и мавзолейное торжество открытия (нового здания, нового учебного года, новой эпохи, о сущности которой еще не догадывались организаторы торжества), и это голое пространство от МГУ до Москва-реки, по которому еще идти и идти, еще проводить сюда автобусные трассы от далеких станций метро, еще сажать хрупкие саженцы и выращивать сады, еще мечтать о несуществующих Лужниках и лыжных трамплинах, о маскарадах радости, развернувшихся здесь в августовские дни Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957), ни в каких фантазиях советских студентов 1953 года просто не умещавшихся.

МГУ середины 1950-х годов был великаном (просто великаном и тем более великаном в стране лилипутов), стоявшим на пяти китах.

Первым китом была наша общая молодость, окрылявшая и будни, и праздники, буквально кипевшая в крови, питавшая все наши «проекты» (тогда мы их «проектами» не называли) – от спортивных соревнований до танцев по вечерам (в старой Стромынке, в клубе МГУ на улице Герцена, в холлах нового здания на Ленгорах), от поездок на целину до студенческой практики (у нас, искусствоведов, в Пскове и Новгороде в 1955 году, в Ленинграде и Таллине в 1956 году, в Киеве, Львове и Ужгороде в 1957 году), от художественной самодеятельности до классики нашего песенного фольклора («Глобус крутится, вертится, словно шар голубой...»),

«Деканат подпишет последний приказ...» и многое другое), от ранних, быстро разрушавшихся браков до любви без конца и без края и без строгих нравственных границ.

Вторым китом была наша общая бедность, чудовищная бедность. Даже у тех, кто жил в московских семьях и не голодал так, как буквально голодали многие иногородние студенты, жившие в общежитии, преобладала (хотела написать «бросалась в глаза», но это было бы неточно, поскольку мы к ней привыкли и ее не замечали) убогость в одежде, в доступной нам еде, в той реальной архитектуре, которая составляла мир общежитий, коммунальных квартир, аудиторий. Наша кафедра ютилась в настоящем скворечнике на улице Герцена (дом 5) – деревянные скрипучие лестницы, тесные комнатки мансарды с низкими потолками, в которых, когда гас свет, жужжавший старомодный аппарат, способный демонстрировать слайды, начинал пробивать путь в волшебный мир античности, готики, Ренессанса, еще окрашенный для нас в серые цвета: цветными слайдами почти никто из наших профессоров не располагал, разве что в коллекции Виктора Никитича Лазарева было несколько таких штук, потрясавших нас до немоты и восторга.

Потом, на старших курсах, когда из общежития на Стромынке студенты истфака переселились в новое здание на Ленинских Горах и все больше мероприятий (спортивных, культурных, идеологических) в стенах нового здания нас собирало, этот дворец казался нам верхом роскоши и комфорта, но ведь по сути и он был довольно убогим, во всяком случае его предназначенная не для торжеств, а для повседневной жизни часть: узенькие комнатки-пеналы на двух человек, по две в каждом «боксе» с одним туалетом и душем; бедные, дешевые столовые (памятный «рублевый» буфет, где любое кушанье – от блюдечка красного винегрета до бутерброда с кусочком сыра – стоило всегда одинаково – 1 рубль старыми, до реформы 1961 года, деньгами; никаких копеек сдачи не давали, поэтому и очередей в этом буфете не было), аскетичный бассейн (прямоугольник с несколькими «дорожками»), куда никто не ходил просто так, чтобы отдохнуть и поплавать, а только по строгому расписанию, связанному с соревнованиями или со сдачей зачетов по физкультуре, и где невозможно было согреться, а можно было только замерзнуть.

Конечно, и в то время в обществе существовали социальные контрасты, находившие свое отражение в студенческом быту. Среди почти трехсот студентов нашего курса ⁴³ было, наверно, несколько человек (может быть, десять, может быть, двадцать, не больше), которые жили в прекрасных московских квартирах, не знали никаких материальных проблем, могли одеваться (но из скромности, как правило, не одевались) роскошно и представить себе не могли, как можно прожить месяц на студенческую стипендию (220 рублей – повышенную, за отличную успеваемость; 180 рублей – обычную: такие суммы они могли тратить не в месяц, а в день). Но таких людей в нашей студенческой среде конца первого послевоенного десятилетия было мало, вели они себя достойно (незаметно), да и ценили мы своих товарищей и друзей не по случайно долетавшим слухам о том, кто из них сын или дочь какого-нибудь генерала, министра, дипломата, секретаря обкома партии, известного ученого, знаменитого врача или художника, а совсем по иным, личным качествам – душевным, интеллектуальным, не в последнюю очередь чисто внешним, физическим.

На прием в Университет социальное (кстати, также и национально-этническое) происхождение, несомненно, уже влияло, но этим были озабочены не мы, а соответствующие приемные комиссии и отделы кадров, державшие в строгой тайне получаемые ими инструкции. Впрочем, может быть, и четких инструкций, составленных в соответствии с «табель о рангах», с номенклатурными списками, в ту пору еще не было, и фактически внеконкурсный прием совершался очень редко и на каком-то самодеятельном

⁴³ К концу обучения – к выпуску 1958 года – их число сократилось: кто-то уехал (как все граждане Венгрии), кто-то «отстал», взяв академический отпуск, кого-то, кажется, исключили, кто-то даже погиб, как трое наших девочек в отряде, направленном летом 1956 года «поднимать целину», кто-то просто умер, несмотря на молодые годы; часть наших однокурсников перевели в новый институт, формировавшийся уже в конце 1953 года (в разное время он назывался по-разному, в частности, Институтом восточных языков при МГУ – ИВЯ, но по сути был институтом народов Азии, главным образом, зарубежного Дальнего Востока), однако до самого конца наш курс (выпуск 1958 года), как и другие курсы истфака, бывшие моложе и старше нас, включал не менее 200 человек. Всего на 12-ти факультетах МГУ обучалось тогда одновременно около 16 тысяч студентов и аспирантов.

уровне – по телефонному звонку, разговору влиятельных родителей с тем, на кого им удалось «выйти» (не знаю, на уровне ректората, деканата, руководства кафедрой или просто члена приемной комиссии). Иногда и усилий со стороны родителей, наверно, никаких не требовалось: достаточно было указать в анкете-автобиографии имя своего отца, и если это имя знала вся (во всяком случае, научная или художественная) Москва (страна), то оно само по себе служило волшебным ключиком для поступления в МГУ. Не могу себе представить, к примеру, чтобы Ираклий Андронников кому-то звонил (или, о Боже, кому-то давал взятку) для того, чтобы его дочь – умница, красавица, кажется, не спортсменка, но наверняка комсомолка Манана Андронникова оказалась среди студентов искусствоведческого отделения МГУ. Все происходило само собой и во многих случаях по заслугам⁴⁴. Конечно, не исключая и давления, и ведомственных указаний сверху⁴⁵. Что-то такое, безусловно,

⁴⁴ В нашей группе учился сын генерала Андрей Стерлигов, сын дипломата, ответственного работника МИД Вадим Малетин, дочь известного врача Ксения Ульмер, и право, это были совсем не худшие студенты нашего курса, хотя подозреваю, что все они попали на этот курс не совсем «по конкурсу». Непотизм (прием в МГУ на основании фамильных, родственных связей) не всегда имел негативные последствия. Порой это был способ спасти от случайностей (а вступительные экзамены или собеседования «на равных со всеми» началах всегда изобиловали непредвиденными случайностями) наиболее подготовленных для будущей учебы, наиболее перспективных в плане выбранной специальности абитуриентов.

⁴⁵ Не знаю, какой жест потребовался, к примеру, от ответственного работника ЦК КПСС, курировавшего в те годы чехословацкое направление советской внешней политики, сына декана экономического факультета МГУ – Ивана Ивановича Удальцова, чтобы его внебрачная дочь, моя одноклассница по 71-й московской школе Галя Еремеева оказалась на кафедре южных и западных славян нашего истфака. Может быть, достаточно было одного движения бровей, правильно понятого подчиненными, может быть, нужны были какие-нибудь звонки или письма, но так или иначе Галя, никогда историей не интересовавшаяся, не любившая, не знавшая этот предмет даже на «тройку» и ясно дававшая понять, что все чехи, вместе взятые, были ей «до лампочки», стала в 1953 году студенткой МГУ и специализировалась, естественно, по Чехословакии. Никакого вклада в отечественное славяноведение она, по окончании МГУ получившая распределение в самый престижный академический институт (нынешний Институт славяноведения и балканистики РАН), не внесла, ни одной серьезной работы не написала и осталась в исторической памяти (не в самом славяноведении, а в его кулуарах) только тем, что ее муж Виктор

происходило, но запомнилось это нам не примерами несправедливой дискриминации лишенных протекции абитуриентов или «протаскивания» совершенно не способных к учебе «папенькиных дочек / сынков», а примером поистине трагическим. На первом курсе, спустя чуть ли не полсеместра после начала занятий, поздней осенью 1953 года в нашей группе появился студент по фамилии Митрофанов. Было совершенно очевидно, что никаких вступительных экзаменов он не сдавал, никаких собеседований не проходил, его просто зачислили в нашу группу по решению «сверху». Учиться в МГУ он был совершенно не в состоянии ни по уровню своих знаний, я бы сказала, не «нулевом», а каком-то отрицательном (он, вообще, ничего не знал, может быть, ни одного имени художника даже не слышал), ни по состоянию своего здоровья: он был чудовищно болен, весь покрыт язвами и буквально умирал на наших глазах. Когда он перестал ходить на занятия, мы (несколько студентов из нашей группы) разыскали его адрес и отправились в подмосковный поселок, в этом адресе указанный, чтобы его навестить (везли ему сетку с апельсинами – верх доступной нам роскоши). Застали мы его не дома (в перенаселенном бараке), а в больнице, где врач, – не знаю уж, выдав или не выдав военную тайну, – рассказал нам, что он умирает от облучения. Где и как при прохождении военной службы он эту смертельную дозу радиации получил, в каком руднике, на каком ракетодроме, мы могли только гадать, но было нам понятно, что в виде компенсации за жертву (а жертвой была сама жизнь этого молодого парнишки) его бывшее военное начальство «устроило» его на искусствоведческое отделение истфака МГУ. Вот такие были формы «протекции», и общей картины убожества и бедности нашей студенческой жизни они никак не меняли. Митрофанов умер в полной нищете.

Третий кит, на котором еще стоял Московский университет середины 1950-х годов, – это та воинствующая демагогия, та серая рутина марксистско-ленинского учения, приспособленного под

Силин, сделавший Галю своей избранницей, конечно, в первую очередь из-за ее родства с Удальцовым, летом 1968 года вместе со своим тестем и шефом оказался в Праге и подписал направленную в Москву телеграмму, содержавшую предвидение, что советские танки, если они немедленно войдут в Прагу, будут встречены чешским народом цветами, как в мае 1945 года. Известно, какие были это цветы, но Галия Еремеева-Удальцова-Силина в этом уж, правда, никак не виновата.

условия послесталинского социализма (кажется, он именовался «зрелым» социализмом), та практика партийных и комсомольских собраний, безжалостно осуждавших все, что хоть немного отклонялось от стандартов и поднималось над уровнем оставшегося от сталинских времен идеологического убожества, тот контроль, который осуществлялся над всем и каждым вроде бы невидимыми, но безусловно где-то рядом присутствовавшими «органами», и тот страх сказать лишнее слово, который жил в разных поколениях – помнивших и не помнивших 1937 год.

Четвертый кит был грозным соперником и недругом этого страшного третьего кита. Этот четвертый кит был связан с постепенным разрушением догматизма, еще господствовавшего в МГУ, с разрушением, очевидным на всех кафедрах истфака, даже на кафедре истории КПСС. Преподаватель этой кафедры Вера Ивановна Владимирская, работавшая с нами, искусствоведами, – человек ясной, не скованной никакими догмами, творческой мысли, доброй души и Богом ей данного педагогического таланта, – яркий тому пример. Медленная, трудная, но в конечном итоге победоносная идеологическая перестройка шла как-то одновременно «снизу» и «сверху». Из лекций наших профессоров исчезали страх и осторожность, в них звучали мысли, которые еще несколько лет тому назад могли быть трактованы как крамольные. Среди преподавателей появлялись «новые люди» – чудом уцелевшие в лагерях и ссылках, «реабилитированные». Виктор Михайлович Василенко, который вел у нас курс народного искусства, и Иван Людвигович Маца, читавший лекции по истории мировой эстетической мысли, принятые на работу в МГУ благодаря мужеству и решимости руководителя нашей кафедры профессора Алексея Александровича Федорова-Давыдова, находили способ (не всегда в рамках лекционных курсов) честно рассказать нам о том, что они (и вся страна вместе с ними) пережили, потеряли в годы «культы личности». Кошмар еще не написанного Солженицыным «Архипелага ГУЛАГ» не был для нас тайной за семью печатями уже в середине 1950-х годов, хотя, конечно, всей правды многие из нас еще в течение нескольких десятилетий не знали или, зная, умудрялись закрывать на это глаза. Но так или иначе XX съезд партии и «закрытый доклад» на этом съезде Н.С. Хрущева произошли в тот период, когда мы были студентами третьего курса (в февраля 1956 года), и хотя читали этот доклад только на закрытых партийных собраниях, комсомольской

студенческой массе не доверяя (я, например, тогда не только не слышала, не читала, но даже не знала, что существует такой доклад), все неотвратимо менялось – в настроениях, в поисках истины, в ощущении своих прав. Может быть, мы были первым советским студенческим поколением, у которого распрямлялась сгорбленная от долгого страха спина. Свобода слова уже не была для нас пустым звуком. Мы смело спрашивали о том, что нас интересовало, позволяли себе спорить с тем, что казалось сомнительным. Конечно, наша свобода не была безграничной, тень недавних (и вновь возможных) репрессий буквально ходила за нами по пятам. При нас советские танки раздавили в октябре 1956 года Будапешт и с факультета исчезли все венгерские студенты (точнее, все студенты из Венгрии, ибо венгры из Трансильвании – румынские граждане – остались), и мы не смели спросить (и не у кого было спросить), что стало с ними и со всей их прекрасной страной. При нас на истфаке как-то возникла и была разгромлена «группа Краснопевцева»⁴⁶, и могильным холодом повеяло от начавшихся арестов и судебного политического процесса. При нас грозная и отчаянная оппозиция бурлила в польском студенческом землячестве, не желавшем смириться с расстрелянной в 1956 году Познанью, с исторической полуправдой о событиях сентября 1939 года и о трагедии Варшавского восстания 1944 года, и хотя эту оппозицию разными способами подавляли⁴⁷ (жена Скальского за распространение журнала «Попросту» даже была лишена советского гражданства), все это каким-то образом выбрасывалось наружу, вернее

⁴⁶ Лев Краснопевцев, аспирант истфака, был обвинен в организации «группы», занимавшейся «антисоветской пропагандой». Вместе с ним в 1957 году на истфаке было арестовано 9 человек. Суд, состоявшийся в феврале 1958 года, осудил их (Краснопевцева на 10 лет отбывания в колонии строгого режима) по статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР. Правда, почти все осужденные, в том числе Краснопевцев, освободились раньше назначенного им срока и уже в 1960-х годах смогли включиться в научную работу, но ясно, что борьба с политическим инакомыслием, с «диссидентами» не снижала своего яростного накала даже в годы «хрущевской оттепели».

⁴⁷ От имени деканата и парткома истфака польским студентам в 1957 году было сделано «официальное предупреждение» (см. об этом: Левыкин К.Г. *Мой университет. Для всех – он наш, а для каждого – свой.* – М., 2006. С. 328).

вбрасывалось в наше мышление, в ощущение времени, в котором мы живем и в котором что-то от нас зависит.

Огромным стимулом к усилению протестных настроений был Фестиваль 1957 года, отнюдь не сводившийся к «маскарадам радости», о которых я уже упоминала. Фестиваль был встречей разных миров – и та железобетонная конструкция бюрократического мероприятия, которая была воздвигнута для его проведения по официальной программе, то и дело давала трещины и буквально разрушалась на глазах под напором живой инициативы снизу. Я помню организованный в новом здании МГУ диспут молодых историков, на котором смелые и неординарные суждения о провалах советской внешней и внутренней политики можно было услышать не только от делегатов из Федеративной Республики Германия, но и от наших эстонских коллег из Таллина и Тарту.

Мы, искусствоведы, работали в дни фестиваля стажерами-экскурсоводами в Третьяковской галерее и в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, и дискуссии, в которые нас втягивали зарубежные делегаты фестиваля, посещавшие эти музеи, прежде всего касались судеб советского авангарда, о котором мы (отчасти по прямой вине некоторых наших педагогов, например, слишком осторожного Рафаила Самуиловича Кауфмана и слишком ловко-дипломатичного Германа Александровича Недошивина, великолепно освоившего правила игры «*Да и нет* не говорите, черное и белое не называйте») знали непростительно мало. Гости просили показать им где-то спрятанного в Москве Кандинского, Малевича, Филонова, а мы не только не знали, где они спрятаны, но сами никогда не видели этих подлинников. Вообще, «четвертый кит» был по многим параметрам китом культуры (буржуазной «антикультуры», по убеждению марксистско-ленинских идеологов), и дело здесь не только в условно и широко понимаемом «абстракционизме», но и во многих других проявлениях этой культуры («антикультуры»), буквально сотрясавшей стены нового здания МГУ ритмами рок-н-рола, звучавшего с привезенных студентами-иностранцами из-за рубежа пластинок. Студенты, ночами напролет танцующие рок-н-рол (как многие из нас весной 1957 года), уже по определению не могли быть послушными винтиками дряхлеющей

коммунистической системы⁴⁸. «Четвертый кит» побеждал и пожирает еще довольно сильного «третьего кита».

Наконец, пятый (и главный!) кит, на котором стоял Московский университет середины 1950-х годов (во всяком случае его истфак, о других факультетах судить не смею), была наука, настоящая, большая наука, здесь представленная, олицетворенная соцветием мастеров, обладавших глубочайшими знаниями, высокой этикой, педагогическим и лекторским (ораторским) талантом, порою заслуженной всесоюзной и мировой славой.

Начну с лекций Дмитрия Григорьевича Редера, бывшего профессора кафедры истории Древнего Востока, редким специалистом по древней папирусологии – для нас, первокурсников 1953 года, настоящим профессором в каком-то глубоком, многогранном, и возрастном, и чисто человеческом, и в научном измерении. Свои лекции он читал в большой («Коммунистической») аудитории для всего курса, и для нас, искусствоведов, они тоже входили в обязательную программу обучения. Это было подлинным приобщением нас к истории мировых религий и цивилизаций, в совокупности которых Редера особенно интересовал диалог иудаизма с христианством. К христианской культуре Редер относился весьма скептически, допуская, что не только история жизни Христа, изложенная в Евангелии, но и сама его личность – явление вымышленное, легендарное. Открыто и прямо он не опровергал никаких постулатов марксистско-ленинского учения, строго предопределявшего соотношение «базиса» и «надстройки», классовый характер

⁴⁸ О том, какую реальную опасность для этой системы представляли собой вещи, казалось бы, совершенно невинные (наши танцы, триумф рок-н-рола, наши новые прически, казавшаяся немыслимой дерзостью студентов мода на шорты и узкие брюки), свидетельствует признание нашего комсомольского вождя Константина Левыкина. «До конца 1958 года, – пишет он, – я еще оставался [...] секретарем комитета ВЛКСМ исторического факультета и добивался укрепления комсомольской дисциплины, высокого патриотизма и понимания студентами своих обязанностей перед советским народом и государством. Демократические права их несколько не были ограничены. Однако червь буржуазной морали, проникший с сырого Запада, продолжал подтачивать сознание советской молодежи манящими благами буржуазной цивилизации [...] Девуцы стали ходить в брюках, носить совсем короткие стрижки...» (Левыкин К.Г. *Мой университет. Для всех – он наш, а для каждого – свой.* – М., 2006. – С. 457).

рабовладельческого общества и тому подобные вещи, но его лекции открывали нам совершенно иной мир, в котором как раз эти вещи никакого значения не имели, в то время как идея, овладевшая массами, в частности, религиозная идея, оснащенная богатейшей романтической мифологией, становилась движущей силой цивилизационного прогресса. Фактически он раскрывал перед нами мифы народов мира, нравственные ценности религий, величайшие заблуждения и духовные открытия человечества, составляющего некий единый культурный слой, соединяющий древние эпохи и современность. Наверно, Редер не придавал особого значения тому, что среди его юных слушателей находились будущие искусствоведы, и содержание его лекций не изменилось бы, если бы нас в этой аудитории не было, но великое счастье в том, что мы там все-таки были. Его подход, его лекции были чрезвычайно важны для постепенной выработки новой (уж никак не марксистско-ленинской) методологии искусствоведческих исследований. Он учил нас уважать и понимать религиозные идеалы-заблуждения человечества, ценить изумительные узоры той мифологической канвы, в которой эти идеалы-заблуждения находили свое выражение, и мы, еще в школе наученные пренебрежительному отношению к религии («опиум для народа» – и точка), с первых университетских лекций всеми душевными фибрами начинали ощущать волшебный аромат этого вечного, никогда неиссякаемого «опиума», без которого любое искусство и невозможно, и не нужно.

Для всего истфака (не только для нас) был рассчитан курс лекций «Основы археологии», который вели, каким-то образом поделив между собой «часы» и материал, Борис Александрович Рыбаков, читавший нам историю древних восточных славян и Киевской Руси, впоследствии ставший проректором МГУ и академиком, и наш декан Артемий Владимирович Арциховский, который ни о чем, кроме только что открытых им тогда берестяных грамот древнего Новгорода, кажется, и думать не мог. Рыбаков поражал и даже немного подавлял нас своей богатейшей эрудицией, при этом в его лекциях ощущался излишне резкий идеологический нажим. Он категорически требовал, чтобы мы признали восточных славян автохтонным населением Руси и раз навсегда усвоили, что цивилизация Киевской Руси была величайшей в мире (слава Богу, не в целом мире, а в хронологических границах ее существования и в сопоставлении с синхронными процессами в Европе) и только татаро-

монгольское нашествие отбросило Русь на много столетий назад. По-моему, ни у кого из нас тогда другого мнения по этим вопросам не было, и вся настойчивость и резкость Бориса Александровича Рыбакова, все его жесткие и требовательные интонации относились не к нам, а к каким-то неизвестным нам оппонентам, имевшим иную точку зрения на все, что происходило в Европе и на границе Европы и Азии на рубеже первого и второго тысячелетий. В отличие от Рыбакова, Артемий Владимирович Арциховский читал лекции мягко и доброжелательно, никакой политической ангажированности не проявлял, ни в чем не старался нас раз и навсегда убедить и никакими карами за отсутствие убеждений не грозил, но может быть, именно поэтому был более убедителен. Во всяком случае открытые им берестяные грамоты ⁴⁹ мы запомнили на всю жизнь, никогда не усомнившись в том, какую огромную культурную ценность имеют эти источники, а многие «железные» аргументы Рыбакова со временем как-то поддались то ли ржавчине, то ли эрозии, и далеко не все современные историки и искусствоведы убеждены в том, что во всей Европе и Азии X–XII веков не было ничего более ценного, более достойного и оригинального, чем глиняные изделия, серебро, шитьё, православная архитектура и живопись восточных славян.

Погружаясь в мир археологии, мы тогда еще не подозревали, что станем свидетелями (а некоторые из нас и активными участниками) процесса формирования новой научной дисциплины, которую можно было бы назвать археологическим искусствознанием или искусствоведческой археологией. Как русская литература из *Шинели* Гоголя, так вся система искусствоведческого исследования древних культур народов мира вырастала на наших глазах из археологической науки. В середине 1950-х годов в Институте искусствознания еще только начиналась работа над многотомной *Историей русского искусства* (ее первый том мы успели взять в руки, будучи студентами); с начала 1960-х годов по инициативе и под руководством Бориса Владимировича Веймарна в Институте теории и истории изобразительных искусств Академии художеств развернулась многолетняя работа над 9-томной *Историей искусства народов СССР*. Все первые тома этих искусствоведческих изданий,

⁴⁹ См.: Арциховский А.В. *Новгородские грамоты на бересте (по раскопкам 1953–1954 г.)*. – М., 1958.

посвященные древним и ранним средневековым культурам, создавались на базе археологических исследований нашего времени⁵⁰. Спустя годы в нашей науке появились такие шедевры этого «археологического искусствознания», как книги *Половецкие каменные изваяния* С.А. Плетневой⁵¹, *Искусство кочевников и Золотой Орды* Г.А. Федорова-Давыдова⁵², *Художественный металл Востока* В.П. Даркевича⁵³ или *Волжские ананьинцы* В.С. Патрушева и А.Х. Халикова⁵⁴. Эти авторы были чуть старше нас (как Герман Федоров-Давыдов, сын Заведующего нашей кафедрой: он уже заканчивал университетский курс, когда мы его только начинали), моложе (как Валерий Патрушев) или нашими ровесниками (Владислав Даркевич был нашим сокурсником), но по сути это было единое поколение ученых (археологов-искусствоведов), формировавшееся с середины 1950-х годов. В этот период культ археологических источников, культ подлинников, извлеченных из земли, мы впитывали буквально с молоком матери – с первыми лекциями в стенах Московского университета.

Вообще, принадлежность нашей кафедры к историческому факультету имела огромное значение. Нас воспитывали прежде всего как историков, и в дипломах, выданных нам в 1958 году, специальность, полученная нами в МГУ, называлась «историк искусства».

⁵⁰ Знаю это очень хорошо на собственном опыте: мне выпала честь быть автором раздела по искусству народов Прибалтики до их христианизации, включенного во 2-й том *Истории искусства народов СССР* (С.М. Червонная *Искусство народов Прибалтики // История искусства народов СССР. Т. 2. Искусство IV–XIII веков.* – М., 1973. – С. 403–413). Все, что входило в историю искусства и зодчества балтских племен (будущих латышей, литовцев, прусов) и западных финнов, было собственно чисто археологическим материалом, обладавшим в то время особенной новизной и свежестью, поскольку исследования древних литовских, латышских, эстонских городищ и могильников велись в тот период очень интенсивно.

⁵¹ С.А. Плетнева *Половецкие каменные изваяния.* – М., 1974.

⁵² Г.А. Федоров-Давыдов *Искусство кочевников и Золотой Орды. Очерки культуры и искусства народов Евразийских степей и золотоордынских городов.* – М., 1976.

⁵³ В.П. Даркевич, *Художественный металл Востока VIII–XIII вв. Произведения восточной торевтики на территории Европейской части СССР и Зауралья.* – М., 1976.

⁵⁴ В.С. Патрушев, А.Х. Халиков, *Волжские ананьинцы (Старший Ахмыловский могильник).* – М., 1982.

Не «искусствовед», не «художественный критик», а именно «историк искусства», и первое определение в этом словесном тандеме было ключевым, самым важным. Искусствоведческое отделение на истфаке было самым молодым, образованным из недавно ликвидированного ИФЛИ (Института философии, литературы и искусства)⁵⁵, и некоторые наши старшие товарищи, начинавшие учиться в ИФЛИ и заканчивавшие свое образование на истфаке МГУ, вспоминали об ИФЛИ с глубокой ностальгией. Не знаю, как учились в ИФЛИ⁵⁶, но я никогда не пожалела о том, что наша кафедра принадлежала истфаку. Историческое образование, историческое мышление, культура обращения с источниками, ориентация в историографическом пространстве, вообще, чувство эпохи, понимание эпохи, в которой формировались феномены искусства, – это было главное, что давал нам наш факультет. «Наш факультет» – это было гораздо важнее, чем «наша кафедра» (во всяком случае для меня)⁵⁷. Когда на кафедре Средних веков, которой руководил Сергей Данилович Сказкин и на которой Моисей Менделевич Смирин

⁵⁵ Кажется, одно время он даже назывался Институтом философии, литературы, истории (См.: *Истории, философии, литературы институт (ИФЛИ)* // *Большой энциклопедический словарь*. – М., 1997. – С. 466), но по-настоящему историческим институтом никогда не был.

⁵⁶ Недавно с большим интересом я познакомилась с описанием студенческой жизни в довоенном ИФЛИ в романе Дмитрия Быкова *Июнь* (Д.Л. Быков, *Июнь. Роман*. – М., 2017. – С. 9–296).

⁵⁷ К слову сказать, во всех спортивных соревнованиях мы всегда выступали прежде всего «за факультет» (а не за ту или иную кафедру). Наши способности к разным видам спорта были разбужены неиссякаемой энергией нашего прекрасного «физорга» Володи Лощагина, который, сам, к сожалению, скованный неизлечимой болезнью, был величайшим энтузиастом и большого, и «малого» (доступного нам) спорта и замечательным организатором. Из меня он буквально сделал шахматистку, зажег меня своей страстью, верой в мои способности, и я довольно успешно выступала в нашей факультетской команде, а потом играла и за МГУ в межинститутских турнирах. Правда, играла я на самой последней («второй женской») доске, но очки, которые я приносила своей команде, были не менее ценными, чем трудные победы и ничьи наших мальчиков на «первых мужских» досках. На этих досках самыми сильными были наши венгры (до того, как их смыло из Москвы кровавой волной октября 1956 года). Среди москвичей блестящим шахматистом был Володя Кучкин, ставший впоследствии крупнейшим историком, специалистом по русской государственности и культуре эпохи раннего феодализма. Володя женился на самой красивой девушке нашего истфака Римме Семеновой, впоследствии

читал курс лекций по истории Реформации и Крестьянской войны в Германии, начали разворачиваться дискуссии о соотношении реформаторских концепций Мартина Лютера и Томаса Мюнцера, мы с моим однокурсником Всеволодом Володарским не пропускали ни одной из открытых для присутствия студентов дискуссий и конференций, и именно они для написания моей дипломной работы (*Гравюры Альбрехта Дюрера в системе немецкой Реформации*, 1958) значили, наверно, больше, чем вся существующая к тому времени искусствоведческая литература, близкая к этой теме.

Истфак давал нам знание иностранных языков, что также было чрезвычайно важным. К сожалению, латынь нам, историкам искусства, не преподавали, но в рамках «спецсеминара» можно было изучать любой, даже редкий язык (я освоила нижнерейнский диалект древне немецкого языка, готическую алфавитную графику и могла в подлинниках читать *Дневники* Дюрера и другие памятники письменности и первые печатные издания XVI века; мой сокурсник Николай Григорович овладел системой древнеегипетских иероглифов), а главное, у нас была языковая практика: свои экскурсии во время Фестиваля на стажировке в Третьяковке и Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а позднее в Манеже на первой организованной в его стенах всесоюзной выставке, посвященной 40-летию Октябрьской революции, в 1957–1958 годах мы проводили для иностранных гостей и туристов на немецком, французском и английском языках. В течение двух лет в рамках обязатель-

работавшей главным хранителем Государственного Исторического музея в Москве. Впрочем, иерархия «самых красивых» девушек на нашем истфаке была довольно сложной. Наверно, все-таки на ее вершине стояла литовка («этнографиня») Дануте Павилионите, обладавшая не только безупречным совершенством своей внешности, но и той умопомрачительной, буквально излучаемой ее прекрасным телом сексуальностью, которая сводила с ума всех юношей. У Данки были голубые глаза, пушистые ресницы, каштановые локоны, нежнейшая, окрашенная естественным румянцем кожа. Близки к первому месту в этой иерархии красоты были ее подруги – лунно-платиновая блондинка Светлана Богданова и солнечная блондинка Зоя Аверина. Зоя безжалостно красила свои волосы перекисью водорода, и когда кто-то из девочек предупредил ее, что из-за перекиси водорода к тридцати годам можно остаться, вообще, без волос, Зоя на это с презрением ответила: «А в тридцать лет мне уже никакие волосы не будут нужны».

ных занятий мы изучали «второй» (непременно другой по сравнению с тем, какой был до этого в школе) язык. Для меня этим «вторым», после немецкого, был французский язык, и как это пригодилось в жизни спустя много лет, когда открылась возможность свободного выезда за рубеж на международные научные конгрессы и конференции, еще даже невозможно было представить в середине 1950-х годов. Конечно, и в нашей группе были студенты, к языкам не способные или забывшие все, чему их учили (мы же разыгрывали на занятиях пьесы Мольера, как целые спектакли!) тотчас, как только они сдали зачет. Но на массовом фоне совершенно глухой к иностранным языкам советской молодежи воспитанники нашей кафедры (нашего истфака, нашего МГУ) составляли отрадное исключение. Наличие на факультете сравнительно большого количества иностранцев значительно способствовало овладению разговорным языком. Правда, в основном, эти иностранцы были посланцами рабоче-крестьянской молодежи из «стран народной демократии», но ведь и с немцами из ГДР можно было говорить на немецком, с румынами, а уж тем более с итальянцами (конечно, с итальянскими коммунистами – такими, как учившийся на нашем курсе Ринато Риссалити, ставший известным историком просоветской ориентации) – на французском языке. При этом важнейшим был пример блестящего знания иностранных языков (и не одного, а нескольких), который показывали нам наши педагоги. Как в совершенстве владел итальянским языком В.Н. Лазарев, как свободно говорили (читали, писали, думали) на французском Ю. К. Золотов и Валерий Прокофьев, бывший тогда аспирантом – куратором нашей группы, как органично и естественно были приобщены к «высокому» немецкому (Hochdeutsch) А.А. Губер, М.Я. Лифшиц, руководивший нашей стажировкой в пушкинском музее, наконец, И.Л. Маца, воспитанный в Вене, как изысканно вводил в свою речь латынь и древнегреческий Алексей Алексеевич Сидоров (лекций он у нас не читал, но Федоров-Давыдов привлекал его к работе в роли консультанта, рецензента, оппонента на защите диссертаций) – все это было образцами для подражания, и образцами чистейшей, высокой пробы.

Приобщение к миру искусства начиналось для нас с лекций Всеволода Владимировича Павлова, которые он читал нам на кафедре и в залах ГМИИ (Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), где ему ассистировала прекрасная, как редчайший

изумруд, стройная, как натянутая струна, зеленоглазая Светлана Ходжаш⁵⁸. Древнее царство, Среднее царство, Новое царство, пирамиды, сфинксы, великолепная Нефертити, ложечка из слоновой кости – чудо изящества, грации и эротики, – все это проплывало перед нами на волнах той бесконечной любви к своему искусству, той культуры абсолютного, безупречного знания материала, той доброжелательности к нам, студентам, какие наполняли лекции Павлова. Он был добрым, казался мягким, уступчивым, безмятежным человеком (его интерес к орнитологии, – не легкое хобби, а серьезный научный интерес, – был чем-то вроде постоянной параллели к его искусствоведческой деятельности и чем-то вроде метафорического определения его образа жизни и характера: казалось, он вечно находился в царстве певчих птиц, и кроме их райских песен его слуха не касались иные звуки, грохотавшие в то время и в той стране, где прошла его жизнь). Лишь много лет после смерти Павлова мы узнали о тех его поступках, которые требовали и мужества, и решимости, и жесткой принципиальности и о которых он сам из скромности никогда нам ничего не рассказывал (например, о спасении им во время войны чудесной коллекции тувинского художественного металла, уже предназначенного – после присоединения Танна-Тувы в 1944 году к Советскому Союзу, после уничтожения ламаистских монастырей и всей ламаистской интеллигенции – для плавильных печей, поставлявших материал для оружия: он сам поехал из Москвы на Урал, можно сказать, бросился в пламя этих плавильных печей и привез в Музей изобразительных искусств все, что удалось спасти и что до сих пор составляет сокровищницу буддийского искусства в этом музее).

Вообще, Всеволод Владимирович Павлов и его жена Екатерина Алексеевна Некрасова, дочь известного исследователя русской народной художественной культуры, были на нашей кафедре своего рода камертоном человеческой порядочности, научной и педагогической чести. Они не занимали слишком высоких постов (Екатерина Алексеевна в годы нашей учебы была даже не профессором,

⁵⁸ Жизнь ее закончилась трагично в начале XXI века. Она не перенесла горя, связанного с гибелью ее сына Сергея, забитого до смерти какими-то московскими уличными подонками, и скончалась от кровоизлияния в мозг. Вся ее богатая научная жизнь была связана с ГМИИ, где она в последние годы руководила отделом искусства Востока и была достойной ученицей и продолжательницей дела Всеволода Владимировича Павлова.

а доцентом, не доктором, а кандидатом наук), не имели слишком большого количества часов для лекционных и семинарских занятий с нами, но они поистине составляли нравственный стержень нашей кафедры середины 1950-х годов.

К сожалению, нам не очень повезло с приобщением к искусству античности. Мария Михайловна Кобылина, читавшая нам курс лекций по искусству Древней Греции и Древнего Рима, сама обладала огромной научной компетенцией, была причастна к непосредственному открытию многих художественных ценностей при раскопках в Херсонесе, прекрасно знала свой материал ⁵⁹, но как-то не умела заразить нас своей любовью к нему, может быть, именно потому, что слишком его любила, буквально трепетала от восторга, показывая репродукции шедевров античного искусства, но была не в силах ввести этот материал в рамки цельной научной концепции, имеющей перспективу какого-либо дальнейшего развития. Античность так и осталась на маргине научных интересов воспитанников МГУ середины 1950-х годов. По-моему, никто из выпускников 1958 года не выбрал ее темой своей дипломной и последующей научной работы, и пока не состоялась – уже в середине 1970-х годов, в стенах Академии художеств СССР, – оглушительная, как взрыв нового прочтения древней эпохи, защита докторской диссертации Юрия Дмитриевича Колпинского ⁶⁰, никого из нас греческая античность не волновала ⁶¹.

⁵⁹ Ее труды – от ранних, довоенных публикаций (Кобылина М.М. *Искусство Древнего Рима*. – М.; Л., 1939) до книг, обобщающих ее многолетнюю исследовательскую деятельность (Кобылина М.М. *История и культура античного мира*. – М., 1977) – составили значительный вклад в отечественное искусствоведение.

⁶⁰ Колпинский Ю.Д. *Великое наследие античной Эллады и его значение для современников*. – М., 1974.

⁶¹ Правда, мы имели возможность проникнуть в мир античного искусства сквозь призму блистательных текстов Михаила Владимировича Алпатова, уже издавшего к тому времени свою версию истории мирового искусства, в которой античности было отведено огромное место и придано значение исключительное (Алпатов М.В. *Всеобщая история искусств*. Т. 1. – М.; Л., 1948). Но здесь надо сказать, что книга Алпатова была не то чтобы «запрещена» на нашей кафедре (до этого дело никогда не доходило), но явно «не рекомендована» нам для чтения и подготовки к экзаменам. Герман Александрович Недошивин, не терпевший, когда при нем

Зато по-настоящему волновало нас искусство западного Средневековья (романского стиля и готики), которое впервые после долгого перерыва, наступившего в военные годы и продолжавшегося почти десять лет после войны, читал для нашей группы на втором курсе Алексей Алексеевич Губер, бывший в те года главным хранителем ГМИИ. На эти его лекции приходили многие искусствоведы, давно окончившие свою учебу (в ИФЛИ и в том же МГУ), буквально отсеченные до 1954/55 учебного года от западноевропейского Средневековья внутренним «железным занавесом». Все оно еще недавно ассоциировалось с «проклятым» культурным наследием фашистской Германии, подлежащим не любовному изучению, а тотальному уничтожению. С тем большим потрясением извлекали мы (в основном, с серебристых страниц *Пропилеев*⁶², хранившихся в библиотеке ГМИИ) забытые ценности этого великого искусства, и романские соборы на Рейне и Гарце, и шедевры готики навсегда входили в наше эстетическое сознание, в наши души. Незыблемо и навсегда.

Целой эпохой научных открытий были лекции Виктора Никитича Лазарева об искусстве итальянского и Северного Возрождения, прочитанные нам на третьем курсе (в 1955/56 учебном году). Мне даже трудно найти слова для их адекватной оценки. Это было событие, сопоставимое с актом божественного творения: оно буквально раскололо весь прежний мир наших поверхностных и примитивных знаний (о Возрождении все мы что-то знали даже из школьной программы и на вступительных экзаменах и собеседованиях уверенно произносили имена Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, Тициана) и создало поистине новое мышление, новое понимание сложных, неоднозначных ценностей, новый синклит богов. На горных вершинах этого синклита находились Джотто, Боттичелли, Питер Брейгель Старший, Иероним Босх. Проблематикой Ренессанса становилась прежде всего проблематика его гуманизма, порою такого неожиданного, одинаково оперирующего категориями красоты, гармонии, покоя, уродства, хаоса, безобразия. Эмоции, вызванные постижением того материала, который раскрывал

упоминали имя Алпатова, не щадил в беседах с нами иронических и презрительных замечаний в адрес этой книги, и мы просто боялись учить античность «по Алпатову».

⁶² *Propyläen-Kunstgeschichte*. Bd. I–XVI. Berlin, 1925–1927.

перед нами В.Н. Лазарев (никаких параллельных учебников и публикаций этим лекциям тогда просто не было), буквально разрывали наши души. При этом сами по себе лекции были не столько эмоциональными, сколько, пожалуй, наоборот, рациональными, жесткими, в чем-то даже формальными и сухими, перегруженными множеством фактов, абсолютного и точного знания (запоминания и безошибочного воспроизведения) которых Лазарев требовал от нас уже как строгий экзаменатор: получить на его экзаменах «пятерку» было уделом очень немногих избранных, и то, что я к числу этих немногих принадлежала, до сих пор составляет одно из нескольких (считаемых на пальцах одной руки) обстоятельств, которыми я по-настоящему в своей жизни горжусь.

Пожалуй, сопоставимыми с тем потрясением, какое мы пережили на лекциях Лазарева, были часы, занятые лекциями Ивана Людвиговича Мацы по истории мировой эстетической мысли. При этом Иван Людвигович плохо говорил по-русски, сохраняя свой сильный венгерский акцент, делая грамматические ошибки и с трудом преодолевая очевидный лексический дефицит ⁶³, но грандиозный смысл того, что сложными витками открытий и заблуждений вело через века эстетическую мысль человечества, он доносил до

⁶³ В этом отношении хорошо переведенный на русский язык и добротнo отредактированный, изданный в МГУ курс его лекций, появившийся через несколько лет (Маца И.Л. *История эстетических учений*. Учебное пособие. – М., 1962), выглядит уже совершенно иначе, но в годы нашей учебы такого издания еще не было, все прежние публикации И.Л. Мацы (до обрушившихся на него сталинских репрессий) давно исчезли из советских библиотек, и все, что он говорил, мы воспринимали и запоминали на слух, заменяя несуществующие учебники тщательными конспектами его лекций (тетради с этими конспектами я хранила потом много лет). К слову, признаюсь здесь, что далеко не совершенный русский язык И.Л. Мацы стал для меня своего рода опорой в трудный период, когда я начинала вести курсы лекций на польском языке в торуньском Университете Николая Коперника. Я знала, что не могу избыть свой московский акцент, делаю грамматические ошибки и порою с трудом подыскиваю нужные слова, и утешала себя при этом (весьма дерзко с моей стороны) воспоминаниями о лекциях Мацы, ибо знала, что решающее значение имеет не форма, а суть сказанного. Для сравнения могу привести речь Г.А. Недошивина, который читал у нас *Введение в марксистско-ленинскую эстетику*. Речь у него была блестящая, литературно безупречная, легкая, даже образная, а в памяти и в душе от его лекций ничего не осталось.

нас во всей полноте, ничего не упрощая, ни в чем не отступая от истины, даже если за эту истину (например, за попытку духовно-идеологической реабилитации «вульгарной социологии» Фриче или за насмешливую критику Чернышевского) вновь можно было пострадать. Конечно, главным в его лекциях был анализ венской психологической школы, в традициях которой он сам был воспитан. Транслируемая им теория «конгениальности» так глубоко и прочно проникла в наше сознание, что практически определила научную методологию всех его бывших студентов, посвятивших себя впоследствии исследованию истории искусства и занимавшихся проблемами культурной антропологии.

На старших курсах с лекциями нам как-то меньше везло. Их заменяли самостоятельные занятия над текстами курсовой (на четвертом курсе) и дипломной (на пятом курсе) работ, а также в ГМИИ, где с начала 1956 года, как подарок судьбы, была развернута экспозиция Дрезденской галереи, которую советское правительство после долгих лет тайного послевоенного хранения этого трофея, наконец, решило вернуть немцам, а перед возвращением показать ее советским зрителям. Никто из преподавателей в этой демонстрируемой в Москве «Дрезденской галерее» с нами не занимался, мы сами ходили в музей, как на работу, используя для этого каждый возможный час, и открывали для себя бесценные сокровища дрезденского собрания. Конечно, не *Шоколадницу* Леотара (мы были уже достаточно хорошо воспитаны, чтобы ее не замечать, и отлично понимали пересказанные нам в лекциях Мацы слова Гёте: «Если мне нарисуют собаку так, что я не смогу отличить ее от настоящей, я порадуюсь рождению нового пуделя, но у меня не будет оснований радоваться рождению нового произведения искусства») и даже не *Сикстинскую мадонну* Рафаэля, которую защищал от случайного произвола посетителей пуленепробиваемый прозрачный щит и у которой стоял на вахте вооруженный охранник: про нее мы, казалось, уже всё знали и больше открыть было нечего. Настоящим, потрясающим открытием были *Семь таинств* Джузеппе Мария Креспи. Мы не знали такого итальянского маньеризма, мы, вообще, не знали раньше такой боли и такой тайны, воплощенной в живописи. Ботичелли в «Дрезденке» был только поздний, уже отравленный ядом проповедей Саванаролы, уже отрекшийся сам от себя. С «настоящим» Ботичелли мне улыбнулось то-

гда еще совершенно непредвиденное счастье встретиться значительно позже: в Британском музее в Лондоне (*Венера и Марс*), в галерее Уффици во Флоренции. Но и перед тем Боттичелли, который был в «Дрезденке», мы готовы были стоять часами (физически обычно не стояли, а сидели на любезно предоставленном зрителями в наше распоряжение стульчике и что-то писали в своих блокнотах, «работали»). В «Дрезденке» был великолепный Кранх (лучший из всех музейных собраний, которыми богата Германия), и даже те из нас, кто не был очарован Северным Ренессансом, подолгу не отрывался от его созерцания.

Тем временем, на четвертом и пятом курсах, нам читали в Университете историю русского искусства, историю западноевропейского искусства Нового и Новейшего времени, историю искусства «стран народной демократии» (на примере истории чешского искусства, которую Лариса Алексеевна Жадова выбрала из всей совокупности восточно-европейского художественного наследия, потому что сама после войны жила в Праге, в семье советского генерала, Прагу «освобождавшего», и хорошо эту историю знала); наконец, историю советского искусства (правда, фактически без начала – без революционного авангарда – и без конца, без современного нам творчества художников начинающейся «оттепели», так примерно в диапазоне от раннего Дейнеки и Иогансона до тех же, только поздних Дейнеки, Иогансона, Александра и Сергея Герасимова). О нонконформизме в советском искусстве мы даже не слышали.

С преподавателями, все эти курсы нам читавшими, происходило что-то странное: как-то они не могли преодолеть то ли собственной духовной провинциальности, то ли провинциальности того материала, с которым они имели дело. На примере Ларисы Алексеевны это особенно очевидно. Сама она (юная жена прогрессивно мыслящего писателя Константина Симонова), кажется, была готова к любым новациям в художественной практике и теории, но что она могла поделать с унылым и скучным материалом чешского искусства XIX века? Нечто подобное происходило и с историей русского искусства. Алексей Александрович Федоров-Давыдов читал нам его историю начиная с петровской эпохи, почему-то доверив весь курс истории древнерусского искусства Недошивину, так что можно считать, что историю древнерусского искусства нам, во-

обще, никто не читал, поскольку Герман Александрович Недошин ее просто не знал и ограничивался тем, что время от времени обращал наше внимание на очарование отдельных, вырванных из исторического контекста памятников и произведений, например, на церковь Покрова на Нерли или на ярославские стенные росписи. Ну, а история русского искусства XVIII–XIX веков в самом добротном, самом подробном, самом полном и точном изложении Федорова-Давыдова, можно сказать, сама топила себя. Ну, что мы могли в ней найти после лекций Лазарева об итальянском и Северном Возрождении – Карла Брюллова, «передвижников»? Да, конечно, ценить Александра Иванова и Федотова Алексей Александрович нас научил, и чем Валентин Серов отличался от Сурикова и от Репина мы тоже понимали, но только всего этого было обидно мало⁶⁴.

Из истории западноевропейского искусства Нового времени, которую читал нам Юрий Константинович Золотов, мы по-настоящему поняли и запомнили только Фрагонара, которого Золотов

⁶⁴ Алексей Александрович Федоров-Давыдов, вообще, был человеком крайне неординарным и крайне неровным, как бы сотканным из кричащих противоречий. Его безупречный художественный вкус (в чем-то, избранном) сочетался с вопиющими провалами как раз в области художественного вкуса; он мог проявить и высокое гражданское мужество (я уже упоминала о том, что именно он привлек к работе на кафедре только что выпущенных из сталинских лагерей ученых, вернув им и второе дыхание, и смысл жизни), и трусость, и повадки настоящего самодура. Игорь Светлов в своей книге воспоминаний рассказывает, как Фёдоров-Давыдов «громил» редактируемую Игорем стенгазету и как страшно боялся признать ее «печатным органом» кафедры» (Светлов И.Е. *Рельеф памяти*. – М., 2017. – С. 97–100). Мы на всю жизнь запомнили страшные припадки ярости, в которые Федоров-Давыдов время от времени впадал как будто бы без всякого серьезного повода. Тогда он кричал на нас так, что стены и стекла в окнах нашей маленькой мансарды дрожали, и мы замирали от парализующего страха, не зная за собой никакой вины, но так же на всю жизнь запомнили мы и его доверительные разговоры с нами на «равных», полных уважения началах, и его признания, приоткрывавшие еще бурлившие черные омуты – страшные тайны истории советской художественной культуры, строителем которой (в молодости – смелым экспериментатором) он сам был, почти случайно стал генералом, маршалом этой культуры, в любой момент мог стать песчинкой лагерной пыли. Я думаю, он был просто болен – и своим страхом, и своим бесстрашием, и своим мужеством, и минутами утраты этого мужества, всей своей беспокойной и чистой совестью и пятнами, которые на ней остались.

нежно любил, раскачивая его волшебные качели. Все остальное, во всяком случае многое, осталось в тумане какой-то недосказанности, недопонятости, в разорванных связях с исторической эпохой.

На этом фоне «поздних» лекций совершенно исключительным явлением был прочитанный нам весной 1957 года курс лекций Юрия Дмитриевича Колпинского. Формально он должен был охватить материал западноевропейского искусства второй половины XIX – первой половины XX века, но Юрий Дмитриевич с утвержденной программой никак не сверялся и не считался, читал и говорил, что хотел, а хотел он говорить исключительно о французском импрессионизме. Нет, это не были лекции, это были потрясающие спектакли, перформанс, художественный *хеппенинг*. Начинал Юрий Дмитриевич медленно, как бы скучая, понемногу все более увлекался, наконец, приходил в экстаз, подобный которому, кажется, переживают суфии в своем мистическом слиянии с Богом. Французский импрессионизм был Богом Юрия Дмитриевича (тоже в точном соответствии с максимами суфийской мистики «Бог есть любовь» и «Я сам есмь Богом»). Ему не хватало обычных слов для выражения этой любви (хотя его красноречию можно было позавидовать), он бросался грудью на кафедру, он метался по нашей тесной мансарде, как хищник в клетке, он срывал с себя одежду – пиджак, галстук, расстегивал рубашку, он отбивал на кафедре костяшками пальцев удивительные мелодии и дробь, соответствующую градациям черного, красного, розового, серого в живописи импрессионистов. Что такое французский импрессионизм мы знали, как этого не знал никто за пределами той кафедры и того курса, где занятия вел Юрий Дмитриевич. Правда, мы не знали тысячи других, элементарно необходимых для образованного историка искусства вещей. Колпинский просто игнорировал в истории современного западного искусства все, что его по-настоящему не вдохновляло, не приводило в экстаз, позволяя нам самим восполнять пробелы в полученных таким образом знаниях по принципу «учиться понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Юрий Дмитриевич, вообще, можно сказать, редко ходил на занятия (то уезжал в командировки, то болел, то, вероятно, просто забывал о своих студентах, и прождав его положенное время мы расходились). В истории нашей кафедры навсегда остался эпизод, ставший историческим анекдотом, хотя эпизод, насколько я знаю, был совершенно подлинным, только он произошел не с нашей

группой, а с группой, младшей от нас на год. Для подведения итогов учебного года староста этой группы в сопровождении еще нескольких студенток отправилась домой к Юрию Дмитриевичу, который, как это часто с ним случалось, чем-то легко (без медицинских заключений) болел. Он подписал необходимый протокол представленных оценок и размашисто начертил общее заключение по итогам экзаменов: «Группа подготовилась добросовестно. Выдающихся ответов не было». Девочки по дороге в университет прочитали это заключение, и будучи не в силах обуздать в себе разбуженного встречей с Колпинским дьявола, написали ниже: «Лектор не был добросовестным. Лекции были выдающимися». Так это и осталось в истории нашего университетского искусствознания середины 1950-х годов.

Я не претендую на объективный анализ искусствоведческой педагогики середины 1950-х годов. На этих страничках я постаралась воспроизвести часть пережитого, далекого и близкого, забытого и незабываемого, того, что окрашивало нашу университетскую жизнь чисто внешне и что составляло ее глубинное содержание. Избежать каких-то субъективных перекосов в своих воспоминаниях и оценках я даже не надеялась и не пыталась. Однако, без такого субъективного воспроизведения никогда не сложится и объективная история отечественного искусствознания, творчества формирующегося в ту эпоху нового поколения историков искусства, которые входили во вторую половину столетия, спотыкаясь о ее пороги или скользя по ее сверкающему паркету. Бал только начинался.

ГЛАВА 9. РАБОТА: ПОЛВЕКА ПОЛУПОДНЕВОЛЬНОГО ТРУДА В СОВЕТСКИХ «ШАРАШКАХ»⁶⁵ ВЫСШЕГО КЛАССА. ИСКУССТВО, ИДЕОЛОГИЯ И БЮРОКРАТИЯ. ГРАНИЦЫ СВОБОДЫ

Всё, чему нас учили в Университете, как вскоре оказалось, никакого отношения к работе после окончания МГУ не имело.

Я впервые это поняла, ощутив полный разрыв между тем миром большой науки, к которому в Университете нас приобщали пять лет, и той практикой, которая составляла суть повседневной «работы», на первом заседании закупочной комиссии при Третьяковской галерее. Это было мое первое место «работы». Меня назначили ответственным секретарем этой закупочной комиссии (в мои обязанности входило ведение протоколов и приготовление материалов, включаемых в повестку дня), хотя формально такой должности не было; я числилась «искусствоведом» Дирекции художественных выставок и панорам Министерства культуры СССР.

⁶⁵ Слово «шарашка», принадлежащее жаргону узников советских лагерей и тюрем, ввел в высокую русскую литературу Александр Солженицын. Не знаю, все ли читатели, особенно живущие за границами России, хорошо и одинаково его понимают. Речь идет об организациях, которые создавались внутри ГУЛАГа для узкой группы специалистов, главным образом, представителей технической интеллигенции, чей труд можно было использовать в военных целях и прочих важных для советской системы направлениях. Люди, заключенные в «шарашках», пользовались многими привилегиями, и на фоне того ада, каким было существование остальных заключенных, их жизнь казалась благополучной. Свои «шарашки» – островки относительного благоденствия и «легкого» (с точки зрения людей, обремененных непосильной физической нагрузкой) заработка и труда – существовали и по ту сторону колючей проволоки, которая считалась зоной свободы советских граждан. Никакого иронического отношения к своим «шарашкам» (научно-исследовательским институтам, творческим союзам, государственным учреждениям, комитетам КПСС разных уровней) у тех, кто в их аппарате, в их штате волею судьбы оказался, не было. Напротив, многие отдавали максимум сил – таланта, способностей, энтузиазма, искренней веры в сопричастность к достойному делу – для работы в этих учреждениях. И все же, что бы они ни делали и каких бы успехов ни достигали, – в широком социальном и моральном контексте это был подневольный труд.

Наша «контора», руководимая жутким типом с криминально-кагэбистским прошлым Павлом Петровичем Сёмочкиным (к искусству никакого отношения не имевшим, но в таких делах, как служебные интриги, доносы, слежка за своими сотрудниками, весьма компетентным), находилась в деревянном сарайчике в заднем дворе Третьяковской галереи. К первому заседанию закупочной комиссии, которое мне предстояло вести (конечно, не в роли Председателя, – Председателем был Андрей Константинович Лебедев, занимавший высокий пост Начальника Отдела изобразительных искусств Министерства культуры СССР, – а в качестве ее секретаря) я готовилась с такой же тщательностью, как к экзаменам (на которых – и в школе, и в университете – у меня никогда, или почти никогда, не было даже четверок: одни сияющие пятерки). Я знала все о происхождении экспонатов (нескольких десятков произведений современного искусства и старинных картин, собранных из комиссионных магазинов и частных коллекций), которые комиссия должна была оценить и приобрести для Третьяковской галереи; я готова была произвести их профессиональный анализ, сделать целые доклады о творчестве авторов. Докладов не потребовалось. На первом же экспонате (это был пейзаж Л. Туржанского из собрания его семьи) мои попытки что-то прокомментировать были оборваны, и сидевший на заседании в своей знаменитой енотовой шубе Александр Михайлович Герасимов сказал с характерным рязанско-московским выговором, которым он любил играть: «Тыщонку дадим и будя!» и махнул рукой. Обсуждение нового приобретения Третьяковской галереи на этом было закончено, и дальше все покатилось в том же режиме. Мои знания никому не требовались. Моя работа фактически сводилась к обязанностям писаря (протоколы тогда писались от руки, потом перепечатывались на машинке), которому надо только ни в коем случае не перепутать кому какую «тыщонку» отвалили, кого вообще отклонили («зарезали»), уж за этим Сёмочкин внимательно следил, да я никогда и не ошибалась.

Разумеется, «сидеть» на таких протоколах было скучно, хотелось самой что-то решать, выбирать произведения, достойные музейных собраний и закупок из министерских средств. Но любая инициатива жестоко каралась. Первым таким наказанием (к сожалению, не только и не столько для меня, сколько для авторов) был

подстроенный Сёмочкиным отказ закупочной комиссии приобрести те произведения скульптуры, которые я отобрала во время своей первой служебной командировки – в Ригу, на выставку скульптуры трех прибалтийских республик, в сентябре 1958 года. Купили, кажется, только одно каменное изваяние латышского скульптора Яниса Зариня, остальные работы даже не рассматривали, хотя это были прекрасные гранитные и мраморные композиции, наверно, все самое лучшее, чем советская скульптура была богата к концу 1950-х годов.

Неудивительно, что все мои силы были сосредоточены не на рутинной работе в закупочной комиссии, а на чем угодно, только за стенами этого деревянного барака. Я писала статьи (моя первая большая статья, о творчестве художников прибалтийских республик, была опубликована в первом номере журнала «Искусство» за 1959 год). Я поступила на заочное отделение аспирантуры Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств, и хотя Сёмочкин предпринял потом, уже после того, как я ушла с работы из Дирекции выставок, отчаянные шаги для того, чтобы меня из этой аспирантуры исключили, это ему не удалось. Первый человек, которому я навсегда обязана своей аспирантурой, был Владимир Павлович Толстой, который написал благоприятный отзыв на мой, возможно, еще далеко не совершенный реферат – проспект будущей диссертации. Вторым человеком, которому я также «по гробу» благодарна, был Матвей Генрихович Манизер (в то время Вице-Президент Академии художеств СССР), который согласился быть моим научным руководителем и все четыре года, которые я с ним работала (1959–1963), проявлял потрясающее великодушие, толерантность (и к моим дерзким суждениям, и к самой эстонской, латышской и литовской скульптуре, сильно отличавшейся от его собственного строгого «социалистического реализма») и редкий педагогический талант – умение понимать, слушать, не навязывать свое жесткое мнение, заставить задуматься.

В заочной аспирантуре никакой стипендии не платили, и после того, как я потеряла свою первую работу в Дирекции художественных выставок и панорам Министерства культуры СССР (в апреле 1959 года), а затем и вторую, недолго длившуюся (с сентября 1959 по июнь 1960 года) работу заведующей учебной частью Народного университета во Дворце культуры при Заводе имени

И.А. Лихачева, в моей жизни наступили трудные времена, продолжавшиеся даже не вплоть до защиты кандидатской диссертации (в мае 1963 года), а до сентября 1963 года, когда только что назначенный Директором НИИ теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР Андрей Константинович Лебедев подписал приказ о приеме меня на работу в должности младшего научного сотрудника сектора истории искусства народов СССР, которым руководил Борис Владимирович Веймарн. С тех пор я проработала в этом Институте непрерывно 47 лет – до 2010 года (первые шесть лет работы в Университете Николая Коперника в Польше, с 2004 по 2010 год, я еще совмещала со штатной работой в московском НИИ, да и в 2010 году не была уволена, а была «переведена на контракт», что еще позволило мне написать и издать под грифом НИИ несколько книг, в том числе самую фундаментальную мою монографию *Из эмигрантской дали спасти Отчизну* о литовском искусстве в послевоенной эмиграции).

Правда, в 1967–1968 годах в моей служебной карьере был короткий эпизод, когда меня назначили на довольно высокую должность Главного художника-эксперта Министерства культуры РСФСР, но и в этот период я не рассталась со своим НИИ, оставаясь там на «пол-ставке». Мое положение в НИИ со временем менялось: из «младшего» я очень скоро (в 1965 году) стала «старшим научным сотрудником», затем «ведущим», наконец, «главным» (уже с докторской ученой степенью, присвоенной мне в 1990 году). Из сектора истории искусства народов СССР меня перевели в сектор актуальных проблем художественной критики, которым руководила Марина Тимофеевна Кузьмина. Потом сектором руководил Борис Васильевич Вишняков, а после его смерти сектор расформировали, и я оказалась в секторе (отделе) проблем художественного дизайна, где под руководством Владимира Руфимовича Аронова работала до конца своего пребывания в НИИ. При всех внешних (и порою весьма важных в моральном и материальном аспектах) переменах в названии моих должностей и отделов (секторов) по сути это была одна и та же работа, подверженная общему ритму (свободный график, один «присутственный день» – даже не день, а час – в неделю), идеологическому контролю, раскрывавшая поначалу еще весьма ограниченные, затем все более широкие исследовательские возможности и горизонты.

Характерная особенность не только моей «служебной карьеры», но и продвижения («работы») всех моих коллег заключалась в том, что с присвоением нового звания или назначением на новую, лучше оплачиваемую должность в самой «работе» (в ее содержании, качестве) ничего по сути менялось. Видимо, не везде это было так. Предполагаю, что, скажем, рабочий, получая новый, более высокий разряд, проявляя более уверенную сноровку, опыт, навыки, мог совершать более сложные операции (за это и для этого ему и присуждался более высокий разряд), «просто» инженер, становясь последовательно «старшим», «ведущим», «главным» инженером, обретал более широкое поле приложения своих знаний, расширял круг своей компетенции. В нашем мире от должностей, ученых степеней, научных и почетных званий, от стажа работы и возраста человека качество продукции (искусствоведческих текстов) никак не зависело. Так же, как я могла писать об искусстве в самом начале своей работы в НИИ, так же я писала спустя и 10, и 20, и 30 лет; может быть, ранние работы, основанные на свежем багаже университетских знаний, были даже более яркими. Не думаю, что моя кандидатская диссертация (по объему охваченного материала, богатству первоисточников, уровню профессиональных искусствоведческих анализов и точности оценок) беднее докторской, а главы, написанные мною в 1960-х годах для первых томов *Истории искусства народов СССР* слабее разделов, предназначенных для последних томов этого издания и написанных в конце 1970-х годов. Зато на качество публикуемых текстов – и очень сильно – влияло другое, а именно изменения общего климата советской художественной жизни.

Этот климат не был стабильным и ровным: в одни времена звенела капель «оттепели», пригревало ласковое солнце и «это сладкое, сладкое слово *свобода*», сорвавшись с уст, проникало на страницы печати; в другие времена крепчал мороз суровой цензуры и совершенно невозможным становилось написать то, что думаешь и чувствуешь, – подчиненные задачам воинствующей пропаганды, проникнутые ложью, втиснутые в прокрустово ложе спущенных сверху требований, оснащенные набором цитат (да даже не из трудов Маркса, Энгельса или Ленина, а из речей на очередных партий-

ных съездах товарища Брежнева и его скоропостижно вымирающих наследников) искаленные тексты становились совершенно убогими.

Функции идеологического контроля над всей продукцией нашего Института долгие годы исполнял Владимир Семенович Кеменов, занимавший с конца 1960-х годов должность Вице-Президента Академии художеств СССР. Это был «серый кардинал» всей советской художественной культуры, обладавший исключительными способностями давить, – словно танком, – любое проявление свободной мысли, удушать в зародыше каждую творческую индивидуальность – и в искусстве, и в искусствознании. Он считался пламенным борцом с «формализмом», но не думаю, что у него были принципы и убеждения, необходимые для того, чтобы стать таким борцом – фанатиком определенной идеи. Главным его принципом, делом жизни, страстью и заботой был сам по себе процесс удушения и подавления всего, в чем билась, хотя бы слабо пульсировала неординарная мысль. Будучи главным экспертом в области искусствознания в Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК), он замораживал на долгие годы или срывал присуждение ученых степеней всем, кто ему чем-то когда-либо не угодил (он был страшно злопамятным), в том числе многим талантливым ученым. Играть судьбами зависевших от него людей доставляло ему садистское наслаждение. Я не принадлежала к числу его явных врагов (а следовательно и жертв), но уверена, что если бы моя диссертация (и первая, кандидатская, и вторая, докторская) попала ему в руки, он и надо мной бы вволю поиздевался (к счастью, моя кандидатская диссертация прошла через ВАК, когда Кеменова там еще не было, в 1963 году, а докторская диссертация попала в ВАК в 1989 году, когда Кеменова там уже не было). Если в нашем Институте за то время, когда он находился под пристальным вниманием и идеологическим контролем Кеменова, удалось что-либо ценное написать и издать, то только потому, что Кеменов не успевал за всем проследить, во все вникнуть, а кроме того, будучи очень опытным в сплетении смертоносных интриг человеком, понимал, что нельзя бороться со всеми сразу: одним решительно перекрывал кислород, другим позволял некоторое время дышать. К тому же, при всей своей надутости важности, в глубине души он был трусом, и не тро-

гал тех, в ком (или за кем) он ощущал определенную силу или способность за себя постоять. С ним надо было говорить тем языком официальной пропаганды и демагогии, которым он сам владел и который он хорошо понимал. Помню, как он пытался выбросить из подготовленного к печати сборника *Из истории советской художественной критики* мою статью, в которой удалось собрать довольно интересный материал по архивным источникам и газетным публикациям, характеризующий состояние искусствоведческой мысли и художественной критики в прибалтийских (недавно ставших «советскими») республиках в 1940–41 годах. Я этим материалом очень дорожила и решила бороться за свою статью, спросив Кеменова, какие у него к ней претензии. Он сказал (и это было крайне с его стороны неосторожно), что в 1940–41 годах «мы в Прибалтике еще ничего не успели сделать», вроде бы не было там тогда никакой «советской художественной критики». «Так почему же, – возразила я, – мы отмечаем 35-летие Советской Прибалтики? Если ничего не успели сделать в 1940–41 годах, потом была фашистская оккупация, потом сталинский террор, так сколько же лет Советской Прибалтике?». Он побледнел, как полотно, поняв, что я изложила ему тезисы той «вражеской» концепции, согласно которой никакой «советской Прибалтики», вообще, нет и не было и которую он лично никак не должен поддерживать. Всё проглотил, и статью не тронул. Наверно, следующий удар собирался нанести уже наверняка. Но не успел.

Директором нашего НИИ с начала 1960-х до конца 1980-х годов был Андрей Константинович Лебедев, и мне довелось работать под его руководством более четверти века. Сегодня многие его бывшие соратники и сотрудники часто вспоминают его недобрым словом. Самое удивительное то, что такие недобрые слова находят не только те, кто при его жизни с ним конфликтовал и даже как-то пострадал от принятых им решений (например, блестящий, талантливый ученый Александр Клавдиевич Якимович, которому даже пришлось на некоторое время из нашего Института уйти, наверно, имеет моральное право предъявить бывшему директору свои претензии), но и люди, которым Андрей Константинович помогал, которые при его жизни и директорстве во всем с ним соглашались. Виктор Владимирович Ванслов, который долгие годы был замести-

телем Лебедева по научной работе (и наверно, должен нести какую-то часть своей ответственности за то, что в Институте, возможно, делалось неправильно) и который был принят, приглашен Лебедевым на эту работу в довольно трудный в жизни Ванслова период, в своих воспоминаниях, опубликованных уже после смерти Лебедева, пишет о нем как о сухом чиновнике, человеке догматичного мышления и ограниченного вкуса. Да, конечно, с чем-то здесь согласиться придется. Был Андрей Константинович – и в период своей работы в Министерстве культуры СССР, и на должности директора Научно-исследовательского института – прежде всего чиновником (идеальным советским чиновником), точно исполнявшим все указания выше стоящего начальства (а выше уже был только академический олимп и всесильный, всемогущий ЦК КПСС, руководивший развитием культуры); был он продуктом сталинской эпохи, насаждавшей догматизм, и был он человеком не слишком гибкого вкуса, о чем свидетельствует то, что ему нравился Лактионов, а лучшего объекта в сокровищнице классического искусства, чем Верещагин, которому он посвятил свое капитальное исследование – докторскую диссертацию, он не нашел. Скрепя сердце могу с этим сегодня согласиться. Но от себя, из глубины моего сердца, моей памяти не смогу найти ни одного дурного слова в адрес Андрея Константиновича Лебедева, не посмею бросить в него камень. Я многим обязана ему и переступить через этот высокий порог человеческой благодарности просто не в силах. Еще на моей первой работе в Дирекции художественных выставок и панорам он защищал меня от гнусных интриг, которые старательно сплетал П.П. Семочкин. Андрей Константинович верил в меня, содействовал моей научной работе. Он принял меня в Институт, он давал мне многие ответственные поручения. Он уберег, удержал меня в Институте на очень сложном переломе в конце 1968 года, когда (после ухода из Министерства культуры РСФСР) мои позиции сильно пошатнулись и вокруг нашлось немало людей, старавшихся вытеснить меня из Института. Даже Борис Владимирович Веймарн, в секторе которого я работала (и работала с полной отдачей, не жалея сил, восполняя своими текстами многие пробелы в *Истории искусства народов СССР* – в пяти из девяти томов этого издания опубликованы эти тексты) и которому верила бесконечно,

тогда от меня отступился, да и потом, когда формировал круг авторов девяти томника, выдвинутых на Государственную премию СССР, не включил меня в этот коллектив, что было очень несправедливо. А Андрей Константинович никогда не предал меня, и даже если многие его решения (и сам прием на работу, и дальнейшее «продвижение» меня вверх) были не только согласованы с его начальством, но даже волей этого начальства (Вице-Президента Академии М.Г. Манизера, Президента В.А. Серова, Президента Н.В. Томского) предопределялись, все равно от его инициативы, от его доброго отношения ко мне многое зависело. Последний раз он продемонстрировал это доброе отношение (уже незадолго до его ухода из Института и скорой смерти) на Ученом Совете Академии, на котором 17 апреля 1989 года я защищала свою докторскую диссертацию (это была очень трудная защита, один из самых драматичных моментов в моей жизни). Тогда каждый голос при тайном голосовании имел решающее значение. Он разыскал меня в той дальней комнате, куда я ушла во время этого голосования, и показал мне свой бюллетень, в котором стояло «Да». Наверно, он не должен был, даже не имел права мне этот бюллетень показывать, да и было это по существу неважно (главное, как он проголосует, а не то, что он мне покажет), но он понимал, как я сильно все это переживаю, и ему хотелось меня поддержать. Я прошептала «Спасибо», и кажется, это последнее слово, которое Лебедев от меня услышал в своей жизни (скоро его не стало). Я не хочу изменить это слово на что-либо противоположное. Я благодарна ему за многое, в том числе и за то, что четверть века я работала под руководством человека, которому я доверяла, которого я любила. Русский язык не делает различия между «kocham» и «łubię», поэтому я пользуюсь тем единственным глаголом, который остается в моем распоряжении. Это не была та любовь, которая соединяет мужчину и женщину в пламени долгой или короткой страсти, нас не связывала физическая близость, и он никогда не предпринял ни единой попытки такую близость со своей подчиненной установить (пожалуй, если бы попытался, я бы не отказала ему; он не только как начальник, но и как мужчина нравился мне, и то, что он был на тридцать лет старше меня, никакого значения не имело). Такой любви между нами не было, но я испытала в своей жизни редкое и долгое (прак-

тически не разрушенное от начала до конца) счастье любви (уважения, доверия, симпатии) именно к своему начальнику и наставнику, от которого так много в моей жизни зависело. Я представляю себе, как тяжела жизнь тех (особенно если это люди науки, искусства, интеллектуального труда), кто волею судьбы оказывается в подчинении и в зависимости от тупых и от подлых «начальников», от тех, кому и возразить не можешь без печальных последствий для себя и кого молча, стиснув зубы, презираешь и ненавидишь. Такая жизнь становится цепью мучительных компромиссов или взрывных конфликтов, в которых твое поражение неизбежно. Мне улыбнулось редкое счастье работы под руководством человека, с которым я, может быть, не всегда соглашалась, но которому доверяла, которого уважала, любила и от которого зависела моя судьба. Разумеется, четверть века совместной работы не были сплошным безмятежным раем. Случалось, он грозно гневался на меня (что-то я делала не так, не вовремя, не подчинялась строгой дисциплине), но никогда не таил зла. В моей памяти он остался светлым и прекрасным человеком.

Проработав фактически на одном месте почти 50 лет, я, наверно, могла бы войти в книгу рекордов Гинесса, поскольку большинство моих современников той поздней советской поры (середины – второй половины XX века) часто меняли место работы, в их трудовых книжках можно встретить десятки адресов и названий учреждений, куда они устраивались на работу и откуда они по разным причинам вскоре увольнялись. В моей трудовой книжке только четыре таких названия, причем НИИ теории и истории изобразительных искусств является главным (формально, может быть, не единственным, но по сути своей единственным местом моей постоянной работы – с сентября 1963 года до января 2010 года). Это случай довольно редкий. Но я сильно ввела бы в заблуждение тех читателей, которые на основании этих фактов представят себе, будто я, действительно, полвека работала на одном и том же месте. Это особенно трудно объяснить людям, воспитанным в западной системе трудоустройства и работодателя. Здесь, на Западе, работа в какой-то одной фирме (университете, государственном департаменте) практически исключает возможность одновременной работы в другой (тем более конкурирующей) фирме, в другом университете, в другом департаменте; человек как-то сливается, срастается с местом

своей работы и не может «сидеть на двух стульях», тем более потому, что одна (основная) его работа отнимает у него все время и все силы, а также вполне (и неплохо) обеспечивает его материальные потребности.

В мое время (и естественно, в моем профессиональном кругу, – возможно, где-то в военных частях, на «режимных» производствах, на заводах и фабриках дело обстояло иначе) – все было наоборот. Мне кажется, за все эти десятилетия не было такого месяца, который я прожила бы только на одну зарплату, выплачиваемую в НИИ. В советское время было популярным такое шуточное проклятие: «Чтоб тебе всю жизнь жить на одну зарплату», люди смеялись, понимали, что это значит, на одну единственную зарплату люди не хотели жить. При этом у меня был довольно высокий оклад – более 300 рублей в месяц при кандидатской степени, более 400 – при докторской степени. Правда, после 1991 года покатались денежные реформы и инфляция, но и при них нам, во-первых, в отличие от многих учреждений и предприятий, переживавших кризис, регулярно платили зарплату, а во-вторых, эта меняющаяся зарплата, скажем, в 60 тысяч рублей в конце 1990-х годов не была совсем уж нищенской. На такие деньги (и на 300, и на 400, и на новые 60 тысяч рублей) можно было, экономно и разумно их тратя, решить все насущные бытовые проблемы, но никак нельзя было позволить себе то, без чего я свою жизнь не представляла, а именно без выездов из Москвы, долгих и кратких, на восток и на запад, на Волгу, в Сибирь, на Дальний Восток, на Кавказ, в Крым, в Прибалтику и за рубеж, как только это стало возможным. Там, «далеко от Москвы», были не только места желанного отдыха (море, водные лыжи!), но и источники впечатлений и знаний, необходимых для работы, иначе эта работа просто остановилась бы на мертвой точке. Командировки от НИИ были довольно скудными, слишком краткими и редкими, да в их урезанный бюджет и невозможно было втиснуть все реальные расходы, и все лучшее, и все самое интересное, что мне удалось повидать в республиках Советского Союза и за рубежом, и все самое важное, что удавалось извлечь из работы в архивах (в Риге, Вильнюсе, Таллине, в Казани, в Симферополе, в Йошкар-Оле), из посещения мастерских художников «на местах», из «полевых исследований» и экспедиций, я це-

ликом или в значительной мере оплачивала сама, и была бесконечно благодарна своему Институту уже за то, что он терпит столь долгие и частые мои отъезды.

Деньги, нужные для этих поездок, я зарабатывала в десятках редакций журналов и газет, печатавших мои статьи, в издательствах, заключавших со мной договора на книги, в разнообразных учреждениях, оплачивавших сценарии, рецензии, лекции, консультации, участие в работе художественных советов – всего и не вспомнишь. Но очень сильно ошибется тот, кто подумает, что все это было чем-то вроде «халтуры» (было в Советском Союзе такое емкое слово, понятное людям всех профессий) и делалось только ради денег. Нет, деньги не были самоцелью, и многие виды моей работы (весьма интенсивной, энергичной, очень важной для меня и никак не связанной с моим Институтом) иногда, вообще, никак не оплачивались.

Такова была моя работа, точнее теснейшая духовная связь с Союзом художников СССР, членом которого (кажется, самым молодым в Москве) я стала в 1963 году («кандидатом» в члены Союза художников еще раньше – в 1961 году). Она поглощала уйму времени и душевных сил и никакой оплате не подлежала. Впрочем, там были свои формы материального поощрения: «творческая помощь» (очень редко), отдельные командировки, скидки на проживание в Домах творчества, даже «контракты» на написание искусствоведческих работ, – но не в этом, разумеется, не в этом было дело! Душой, мыслями, творческими планами, профессиональными и даже сугубо личными отношениями, сложнейшими цепочками непрерывных контактов я была связана с Союзом художников, и мое членство в этом Союзе не было чем-то формальным или чем-то выгодным только в прагматическом плане. Это была настоящая жизнь, глубоко насыщенная эмоционально и интеллектуально. Съезды Союза художников, Пленумы Правления Союза художников были теми важнейшими форумами, на которых можно услышать (уловить чутким, натренированным ухом не всегда сказанные прямо, чаще завуалированные) слова, определявшие и наступающие перемены в художественной жизни, и назревающие конфликты, и соотношение сил. Съезды и Пленумы совершались не только в тех стенах (съезды обычно в Колонном Зале Дома Союзов или в Кремлевском Дворце Съездов), куда проникнуть можно

было только при наличии делегатского мандата, свидетельства о журналистской аккредитации или именного пригласительного билета (все свои гостевые билеты я до сих пор бережно храню); они продолжались на приемах, в ресторанах, в отелях, в бурных дискуссиях, заполнявших вечера, а порой и ночи до самого рассвета, сливались со звоном бокалов.

Трудно описать, какое большое значение имели эти непродолжительные, но такие важные встречи друг с другом людей одной профессии, живущих в разных краях огромной страны, с полуслова понимавших друг друга, связанных нитями духовной общности, отнюдь не всегда взаимно близких (нередко даже враждующих, ощущающих напряжение тайной или явной конкуренции), но одинаково посвятивших себя искусству и без этого искусства своей жизни не представляющих. Ничего подобного этому братству (не мирному, а бурлящему, сотрясаемому внутренними конфликтами, но все же корпоративно замкнутому) не знали миллионы советских «трудящихся», находивших за пределами избранного круга людей, принадлежавших к творческим Союзам (Союзу писателей, Союзу кинематографистов, Союзу художников, Союзу архитекторов, Союзу композиторов, Союзу журналистов). Какой-нибудь даже весьма преуспевающий в своей работе инженер, экономист, врач, учитель, лётчик, доведись ему оказаться в служебной командировке да еще впервые в далеком от его дома городе, попадал в чужую среду, где он никого не знал, где его никто не знал, где могли, конечно, сложиться и добрые отношения с новыми знакомыми, но с возвращением домой эти отношения терялись, забывались и никакого значения для дальнейшей жизни не имели. Я же, – и не на склоне лет, когда более-менее естественно приходит признание, а уже в самом начале своего творческого пути, еще не успев ничего серьезного сделать (главные книги были еще только в замыслах, в рукописях, в первых конспектах, в лучшем случае «в производстве» – в издательствах), – приезжая в любой областной центр, в столицу союзной или автономной республики, в том числе приезжая впервые, как впервые я попала в марте 1968 года в Якутск, в июле 1968 года в Казань, а в октябре 1968 года в Кизил (в Туву), сразу же оказывалась в окружении коллег, меня знавших (по публикациям, выступлениям, даже только по справочнику членов Союза художников СССР), ожидавших от меня важного для них

слова, вводящих меня в свой круг. И так бывало с каждым, кто был причастен к этому изумительному, в свое время совершенно искусственно и даже насильно созданному (после знаменитого Постановления ЦК КПСС 1932 года о ликвидации художественных группировок), стремительно распавшемуся сразу же после распада Советского Союза (и даже чуть раньше – Союз художников Литвы вышел из состава Союза художников СССР на основании решения собственного республиканского съезда, принятого 11 марта 1989 года, ровно за год до того, как вся Литва «ушла» из СССР), но столь необходимому мне (многим!) единому творческому Союзу.

В отличие от моего Института, этот Союз не был тем же самым, стоявшим на одном и том же месте, многие годы не менявшим ни своего адреса, ни своего названия, ни своего начальства домом. Это были разные дома и разные адреса, и не только в силу переездов, какого-то постоянного кружения по Москве, но и в силу весьма существенных различий в самом статусе, в содержании деятельности, в степени компетенции, в идеологических ориентирах между Союзом художников СССР, Союзом художников РСФСР и МОСХом (Московской организацией Союза художников), связанных между собой отнюдь не простым и ясным соподчинением в рамках одной пирамиды (всесоюзная – республиканская – городская структура), но сложнейшими токами внутренних течений и противоборства. МОСХ стремился к самостоятельности, претендуя на особый статус столичной организации. В советское время он такой самостоятельности не имел, получил уже после развала СССР, и не думаю, что такая самостоятельность, в том числе полная изоляция от всех домов творчества и прочих ценностей, созданных в системе Союзов художников СССР и РСФСР, пошла ему на пользу. Союз художников РСФСР был постоянным оппонентом, конкурентом, контрсилой против Союза художников СССР. Он и создавался (спустя несколько лет после того, как Союз художников СССР уже существовал, фактически заложенный еще в 1930-х годах, как Оргкомитет будущего Союза, а официально заявивший о себе на первом учредительном съезде в марте 1957 года) с целью обуздать слишком своенравный Союз художников СССР, сформировавшийся на волне XX съезда КПСС и разоблачения «культа личности Сталина». К началу 1960-х годов наступали уже иные времена, и

Союз художников РСФСР, возглавленный верным ленинцем сталинского формата Владимиром Александровичем Серовым, развернувший по всей стране сеть зональных и республиканских выставок «Советская Россия», опиравшийся на «здоровую русскую глубинку», тлетворным влиянием буржуазного Запада не затронутую (там «университетов не кончали»), должен был стать мощным идеологическим тараном, направленным против всяческого «формализма», «мирового еврейства», политической «фронды», свободомыслия и, Бог знает, против чего еще, пригрезившегося испуганным идеологам давшего сильный крен государственного корабля. На самом деле никакого «формализма», «мирового еврейства», а уж тем более истинного свободолюбия ни в Союзе художников СССР, ни в МОСХе не было. Немножко фрондёрствующая, немножко либеральная, немножко независимая интеллигенция там, конечно, гнездилась, но государству было от нее не больше, а пожалуй, меньше вреда, чем от серовских идеологических тяжело-весов.

Как сквозь огонь, и воды, и медные трубы, я прошла в своей жизни через все эти три Союза художников.

МОСХ сначала находился в Ермолаевском переулке – против Чистых прудов над тем трамвайным путем, на котором потерял свою бедную голову булгаковский Берлиоз из *Мастера и Маргариты*. В начале 1960-х годов МОСХ занял весь нижний просторный этаж (с выставочными залами) большого дома на Беговой улице (№ 9), недалеко от единственного на всю Москву ипподрома. В 90-х годах арендовать это прекрасное помещение МОСХ оказался не в силах и переехал в более скромный особняк в Старосадском переулке, недалеко от площади Ногина. Там и ныне находится его администрация, и когда я последний раз зашла туда в 2016 году, чтобы заплатить членские взносы (оказалось, что платить их не надо: пенсионеры старшего возраста от уплаты членских взносов освобождены), сотрудница отдела кадров приветливо сказала мне: «Заходите чаще, ведь это Ваш дом». Я все-таки «своим» дом в Старосадском переулке не считаю, никаких значительных событий с ним в памяти не связано. Дом в Ермолаевском переулке был желанным, но еще чужим. Я едва только переступила его порог (в 1959 году), чтобы робко спросить секретаря секции критики (тогда эти обязанности исполняла Татьяна Лазаревна Мальцман),

можно ли подать документы и заявление о вступлении в союз. Под внимательным взглядом Татьяны Лазаревны я страшно смутилась, покраснела и пробормотала нечто не вполне вразумительное: «...или я еще слишком молода для этого?». Татьяна Лазаревна очень спокойно и резонно сказала: «Дорогая моя, молодость – это всегда и во всех отношениях только плюс, а не минус. Для вступления в Союз нужны не молодость, не старость – нужны печатные труды, публикации». Я с величайшей радостью, засверкавшей в моих глазах, заявила, что такие публикации у меня есть, и оставила ей их тоненькую стопку вместе с заполненной анкетой. Больше Ермолаевский переулочек ничем не запомнился, а вот на Беговой в многосерийном драматическом фильме развернулась вся моя многолетняя жизнь в МОСХе, вся моя любовь–ненависть, все мое счастье–горе, вся моя творческая «карьер» со взлетами и падениями.

Прежде всего я с головой погрузилась в бурную деятельность комсомольской организации МОСХа, которую возглавил тогда Женя Щеглов (известный мастер сатирической графики Евгений Щеглов), перенявший свою «должность» от уже вышедшего из комсомольского возраста Виктора Иванова. Это были прекрасные времена. По стране звенела праздничной каплей хрущевская «оттепель», к нам на Беговую приходили поэты и барды (Евтушенко, Ахмадулина, Окуджава), читавшие и певшие под гитару свои изумительные стихи; готовились первые молодежные выставки, разворачивались творческие диспуты в молодежных кафе. В роли самых доброжелательных кураторов, поддерживавших многие наши начинания, выступали тогда Краснопресненский райком комсомола и ЦК ВЛКСМ, где Отделом культуры руководил Николай Иванович Кузнецов, возлагавший на нас – молодых художников и искусствоведов – большие надежды. Именно он организовал незабываемую поездку в апреле 1960 года во Львов. Меня включили в группу специалистов (там были и театралы, и литераторы, и музыканты, в частности, прекрасный, умный мальчик Рубен Вартанян, иронично определявший свою роль в этой нашей «бригаде ЦК ВЛКСМ» словами «и примкнувший к ним Шепилов»), которые должны были изучать все виды культуры Львовской области (почему-то в ЦК ВЛКСМ ею заинтересовались), проводить встречи с львовской творческой интеллигенцией, выступать с лекциями, потом писать длиннейшие и подробнейшие отчеты. В моей жизни это

была вторая (после студенческой практики летом 1957 года) встреча со Львовом, пик высокой любви – к чему, к кому, даже не знаю, скорее всего к самой атмосфере польского Львова (в своем дневнике я писала, обращаясь к нему: «Кровь твоя течет во мне, что ли?»), к эху, отбивавшемуся от булыжников его мостовых, к прозрачному воздуху над горными перевалом в Сколе, к тревожной тишине границы (Польша была рядом, еще недостижимая тогда Польша).

Женя Щеглов, как мавр, сделавший свое дело (много добрых, прекрасных дел), вскоре из комсомольской организации ушел, мы остались в кругу сверстников. Все – еще «неприкаянные», почти безработные («денег ни гроша, но поет душа, заглушая звуки нежной скрипки...»), окрыленные надеждами. В этом нашем кругу были только что окончившие Суриковский институт Олег Комов, Юра Чернов, ставшие потом известными скульпторами-академиками; был сын уже входившей во власть Екатерины Алексеевны Белашовой Саша Белашов; была никаких институтов не кончавшая дочка дворничихи Дома художников на Большой Масловке Ира Хусаинова, тогда еще милая, скромная девочка.

Меня выбрали секретарем этой комсомольской организации, но случилось это, к сожалению, уже в трудные для всего МОСХа времена. В конце 1962 года, после посещения выставки «30 лет МОСХа» в Манеже Никитой Сергеевичем Хрущёвым и яростного разгрома им «формалистов», там ему специально показанных, было принято решение о роспуске партийной организации МОСХ. Партийное руководство решило распространить это и на комсомольскую организацию: секретарь парткома Игорь Бережной велел мне провести «ликвидационное» собрание, предложив всем входившим в нашу маленькую ячейку членам ВЛКСМ прикрепиться к другим организациям по месту жительства или работы. Я не выдержала испытание этого времени, не сопротивлялась, сдалась, объявила товарищам, что наша организация распущена. Юра Чернов, возненавидевший меня с той поры на всю жизнь, был уверен, что я во всем виновата, грозно поучал: «Надо знать, как разговаривать в парткоме!». Не знаю, могла ли я поступить иначе. Не хочу себя задним числом оправдывать, но помню, всей кожей помню атмосферу тех дней. Председатель МОСХа Дмитрий Константинович Мо- чальский, смертельно напуганный тем, что произошло в Манеже,

тогда не только никого не защищал – ни партийную, ни комсомольскую организации, ни своих коллег и товарищей – художников, но охотно сам «выявлял» и отдавал на верховный суд разгромной критики всех колеблющихся, сомневающихся, еще даже ни в чем не уличенных, но заподозренных в идеологических грехах. Парализованный страхом, он почти несколько месяцев не подписывал тогда никаких бумаг – характеристик, протоколов выставочных жюри, распоряжений, – жизнь в МОСХе была почти парализована.

Шел 1963 год. На некоторое время из МОСХа (а из комсомола – навсегда) я ушла, сосредоточив все силы на завершении своей кандидатской диссертации и ее защите, которая состоялась в Академии художеств СССР в мае этого года. В то же лето я к полной неожиданности для себя узнала, что на общем перевыборном собрании творческого Союза меня выбрали членом Ревизионной Комиссии МОСХа (к тому времени я уже была принята в Союз, а также стала кандидатом в члены КПСС).

Осенью 1963 года началась вторая серия моего несчастного романа с МОСХом – работа в Ревизионной Комиссии. Ее председатель Вячеслав Харлампиевич Сташков был человеком добрым, тихим, не проявлявшим сильной воли, привыкшим покоряться указаниям сверху. Звезд с неба он не хватал ни в искусстве (по-моему, всю жизнь писал одну картину – *Брестский мир*, надеясь показать душевную драму Ленина, окруженного троцкистами, оставшегося в меньшинстве, вынужденного принять навязанное ему решение), ни тем более в ораторском деле и в эпистолярном жанре (а надо было выступать с трибуны и много писать, мотивируя и формулируя решения Ревизионной комиссии). Свои надежды он возлагал на меня и поручал мне многие текущие дела и довольно черную работу, связанную с разборками по так называемым «сигналам» о неблагополучном положении в той или иной сфере деятельности МОСХа. Одним из таких «сигналов» было заявление искусствоведа В.В. Шлеёва о том, что в секции критики происходит расхищение средств, предназначенных для творческой помощи членам Союза. Он утверждал, что все эти средства руководство секции прикарманивает. Мне не хотелось этим заниматься (бюро секции возглавляла тогда Сарра Самойловна Валериус), я пыталась от этого уклониться, но меня вызвал к себе Андрей Константинович Лебедев, только что принявший меня на работу в Институт (наши

миры – Институт, Академия, Союз художников – были связаны общающимися сосудами) и весьма твердо и настойчиво попросил серьезно отнестись к заявлению Шлеёва. Отказать Андрею Константиновичу я никак не могла и со всей старательностью вечной отличницы погрузилась в это печальное дело о распределении творческой помощи в секции критики МОСХа.

Все дело не стоило и ломаного гроша, суммы этой творческой помощи, проходившей через руки Сарры Самойловны, были невелики, накормить пятью хлебами пять тысяч (и даже пять сотен) страждущих бедных искусствоведов она, не будучи Иисусом Христом, была не в состоянии и считала эти деньги («жалкие гроши») изначально предназначенными для тех, кто на общественных началах работал в бюро секции критики, то есть для себя и двух-трех своих близких соратников (к ним относились Александр Каменский, Мюда Яблонская), выписывая из года в год творческую помощь одним и тем же лицам. Владимир Васильевич Шлеёв (человек скользкий и темный, обуреваемый шизофренической ненавистью ко многим, с кем переплетались его пути по жизни) в данном случае формально оказался абсолютно прав, и Ревизионная комиссия МОСХа приняла по этому «делу» (по моему докладу) постановление, обращавшее внимание на нарушение порядка, на отступление от целей распределения творческой помощи и от определенных этических норм. Никаких прямых организационных выводов из этого постановления не следовало и ничем по большому счету Сарре Самойловне оно не грозило. Но какую же ей удалось поднять вокруг него бурю общественного протеста, представив себя жертвой черносотенных и антисемитских интриг! В любимом МОСХе я стала настоящей парией, подвергалась целому граду нападков (борцы за правду даже несколько раз прокалывали шины моего велосипеда, на котором я ездила на Беговую), а вскоре дело дошло и до того, что сплоченная группа возмущенных товарищей начала кампанию, направленную на исключение меня из Союза. О деле с распределением творческой помощи тогда не вспоминали, формальным поводом для такого исключения стало мое выступление на совете, проведенном какими-то высокими инстанциями (кажется, Государственным Комитетом по печати), на котором я выступила с критикой книги Михайлова, считавшего себя неприкасаемым авторитетом в вопросах русского искусства XX века. Сейчас

даже трудно представить себе, как это можно исключить из творческого Союза человека за критические замечания по той или иной книге. Но при умении критику можно было представить как клевету (на что?! Ведь я его только цитировала), а мое выступление как нарушение профессиональной этики. У моих недругов была крепкая круговая порука. Сама Валериус в этой кампании вроде бы даже и не участвовала, более всех усердствовали Александр Абрамович Каменский и, как ни странно, мой бывший университетский наставник Герман Александрович Недошивин, возглавивший после Валериус секцию критики МОСХ. На закрытом заседании бюро секции, в мое отсутствие, они даже приняли решение об исключении меня из Союза. Если бы его удалось претворить в жизнь, для меня это была бы настоящая катастрофа. Но здесь, к счастью, сработали механизмы и звенья многоступенчатой пирамиды. Решение бюро секции критики не утвердил Президиум МОСХ, и как мне говорил тогда секретарь Союза художников РСФСР Александр Гаврилович Вязников, «... если бы даже МОСХ его утвердил, оно поступило бы к нам, и уж мы бы поставили на нем окончательную жирную точку». Бедный Александр Гаврилович, не знал он еще тогда, как пригодилось бы ему это решение спустя год, когда он, уже после смерти В.А. Серова, возглавил войну (не на жизнь, а на смерть буквально, сам и умер на этой войне) против молодого Секретаря Союза художников РСФСР Юрия Александровича Титова, ну, и соответственно против меня; в какую надежную и глубокую красную папочку он бы это решение положил, как умело бы он меня этим решением шантажировал. Но время ушло, дело о моем исключении из МОСХа разлетелось в пыль и прах уже в 1967 году, а мой горький роман с Союзом художников РСФСР – это уже совсем другая история.

Начался этот роман в 1966 году, когда я впервые вошла в серый дом на улице Чернышевского (№37), где разместился Союз художников РСФСР – на втором этаже секретариат и референты, на первом – технические службы и редакция журнала «Художник». У меня всегда было смутное ощущение, что это все-таки чужой, не совсем мой дом, хотя приняли меня там, – разумеется, по мановению руки всесильного Владимира Александровича Серова, совмещавшего в ту пору пост Председателя Правления этого Союза и

Президента Академии художеств СССР, – очень радушно, буквально распахнув все возможные закрома морального и материального поощрения. Ввели меня в республиканский выставком первой молодежной выставки художников РСФСР (Председателем выставкома как раз назначили Титова, которого я впервые увидела на первом заседании этого выставкома ранней осенью 1966 года), отправили в интересные командировки – в Ростов-на-Дону, в Ставрополь, в Ленинград, затеяли большое и нелегкое дело, связанное с назначением меня на должность главного художника-эксперта Министерства культуры РСФСР, завершившееся уже летом 1967 года. Казалось бы, ничего, кроме благодарности, я не должна испытывать к людям, правившим этим Союзом (после смерти В.А. Серова, с начала 1968 года до Второго съезда, состоявшегося в октябре этого года, им правил триумвират: Виктор Коновалов, Александр Вязников, Михаил Тараев). Но я оказалась неблагодарной воспитанницей. В конфликте между этим триумвиратом и Юрием Титовым, посмеявшимся поднять свою курчавую голову чуть выше положенного ему уровня, дерзко и открыто встала на сторону Титова. В большом республиканском выставкоме, готовившем зональную выставку «Советская Россия», вела себя непослушно и нестандартно, голосовала за работы, казавшиеся мне талантливыми (например, за полотна ивановского художника Марка Малютина, которого преследовали за пресловутый «формализм»), не участвовала во многих запланированных охотах и травлях. Сначала наметилось отчуждение. Затем на дрожжах яростной ревности А.Г. Вязникова (поразительной для его возраста) нарастал конфликт, окончившийся взрывным скандалом. Взрыв испепелил все, что можно. Титова бросили в мясорубку КПК (Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС), сняли со всех должностей (он был тогда еще и Председателем Московской областной организации Союза художников РСФСР), едва не исключили из партии (объявили строгий партийный выговор неизвестно за что). Я ушла из Министерства культуры РСФСР (разумеется, не по доброй воле, хотя оформлено все было очень элегантно – переводом на прежнее место основной работы; Министр культуры Российской Федерации Н.А. Кузнецов был последней баррикадой, которую удалось сломать «шурикам» из вязниковской шайки). Мой отец всего этого не выдержал и умер от разрыва сердца. Одновременно поднявшаяся на Втором съезде

волна художнического гнева смела все остатки серовского правления и пришедшего ему на смену «триумvirата». На выборах, состоявшихся на Втором съезде, Вязников провалился с треском, потерял все свои красные папочки, с которыми он до последнего времени важно ходил, пряча в них заветные списки (кандидатов, делегатов, членов счетной комиссии и т. п.), сфальсифицировать выборы не удалось. Для утешения Вязникова назначили на должность главного художника газеты «Правда» (органа ЦК КПСС!), но ни на какой должности Вязников работать уже не мог и скоропостижно скончался. К власти на улице Чернышевского пришла новая, еще более хищная стая молодых волков, установив там свои порядки, не лучше серовских и вязниковских (прежний Секретариат еще раздирали внутренние противоречия, а новый – под руководством Гелия Михайловича Коржева – был единой командой, дружно и слаженно действовавшей во имя обеспечения собственных крупномасштабных интересов). Мы с Юрием Александровичем Титовым на глазах у потрясенной России бросили всё и уехали вдвоем в Сибирь. На тувинских ветрах, на пронзительных пятидесятиградусных морозах над Дивногорской плотиной, в черной беззвездной декабрьской ночи, у трапа самолета на красноярском аэродроме кончилась наша любовь.

Но теперь надо вернуться к третьему дому той исчезнувшей пирамиды – к Союзу художников СССР. По времени это значит вернуться на десять лет назад.

В Союз художников СССР, размещавшийся на первом этаже большого дома на улице Горького, между Пушкинской площадью и площадью Маяковского, отец привел меня, можно сказать, за руку весной 1958 года. Я еще училась на пятом курсе, надо было искать варианты моего распределения после окончания МГУ, и таким вариантом представлялась работа референтом в этом Союзе. Но ко двору я, к сожалению, не пришла. Со мной беседовал Секретарь Союза, занимавшийся всеми кадровыми вопросами, Дмитрий Степанович Суслов, и ему явно не понравился мой самоуверенный тон. Я нагло призналась ему, что знаю три языка – эстонский, латышский и литовский (чистая правда), – и заявила, что хотела бы работать референтом по прибалтийским республикам. Он сухо сообщил, что эта должность в Союзе уже занята и он мог бы предложить мне должность референта по Российской Федерации –

в помощь Нине Алексеевне, которая со стремительно растущим числом художников из областей, краев и автономных республик РСФСР не справлялась. Меня это явно не вдохновляло, и разочарование, видимо, проявилось на моем лице. На этом разговор окончился и больше не возобновлялся. В круг послушных, беспрекословно исполнявших волю начальства референтов Союза художников СССР не попадали девицы, намеренные самостоятельно решать, чем им хочется, а чем не хочется заниматься.

Но дорожка на улицу Горького была проложена, и первые годы после окончания Университета я просто не представляла себе своей жизни без него. Что я там делала, в кабинетах секретарей, в комнатах разных референтов, при коротких, мимолетных встречах и в долгих, на всю жизнь запомнившихся беседах, трудно даже перечислить. Что-то надо было согласовать, подписать (включая и присутственные листы секретарей на заседаниях закупочной комиссии), о чем-то посоветоваться, что-то кому-то передать (важнейшим первым звеном такой передачи была статья Константина Богдана, которую я привезла из Риги в ноябре 1958 года, ведь вот не прямой дорогой в редакцию журнала «Творчество», а референту по Прибалтике Асе Зуйковой надо было эту статью вручить), да и в аспирантуре писать диссертацию о скульптуре прибалтийских республик без информации, которую только в Союзе художников СССР и можно было получить, казалось невыполнимым. Почти со всеми «героями» моей будущей диссертации я сначала встречалась в стенах Союза художников СССР – потом уже на выставках и в их мастерских в Риге, Таллине, Тарту, Вильнюсе. Думаю, что превращение Союза художников СССР в своеобразный творческий «проходной двор» было в интересах его сотрудников и руководителей и поощрялось ими. Для принятия тайных решений у них были свои способы заседаний за закрытыми дверями, и к «тайнам» посторонних близко не подпускали; но постоянное движение художников и искусствоведов, живших в Москве или приезжавших в Москву из дальних городов и республик (кто-то на что-то жаловался, кто-то на что-то надеялся, кто-то о чем просил), создавало ту питательную среду, которая давала сотрудникам и руководителям этого Союза не только необходимую информацию о том, что где происходит, но и ощущение собственной власти над всеми, кто к ним обращался.

Вырабатывался определенный стереотип поведения референта, который внимательно, доброжелательно каждое обращение выслушивал, умел создать иллюзию личного участия (я, мол, тебе сочувствую, я тебя понимаю, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы тебе помочь), а главное, умел направить недовольство (мало ли кого и как обидели, недостаточно высоко оценили, поводов было множество) в нужное для руководства Союза на данный момент русло. Знаю это и на своем примере, и на примерах из жизни моих коллег. В трудный момент, когда я безнадежно искала работу (весной 1959 года), мне в Союзе художников СССР ничем не помогли, но осторожно и настойчиво внушали, что виноват в моих бедах (уходе из Дирекции художественных выставок и панорам) Андрей Константинович Лебедев (очень он деятелям с улицы Горького не нравился и не устраивал их на посту Начальника отдела изобразительных искусств Министерства культуры СССР) и подсказывали мне, как написать на имя Юрия Ивановича Пименова (почему-то именно он аккумулировал поток подобных жалоб) заявление, которому они дадут ход. К счастью, ничего подобного я не написала и уже тогда инстинктивно понимала, что как-то не по-доброму меня жалеют и пытаются использовать. Через несколько лет (в 1965 году) в ласковые руки референтов с улицы Горького попал литовский искусствовед Стасис Будрис. Горячий, вспыльчивый, безмерно честолюбивый, до абсолютного эгоцентризма влюбленный в самого себя и при этом колоссально продуктивный, он, уже пораженный шизофренией, добивался признания, не терпел рядом с собой никого, кто хоть как-то прикоснется к материалу, в своем монопольном праве распоряжаться которым он не сомневался, повсюду видел врагов, завистников и конкурентов. Уж с ним-то на улице Горького знали, как поступить, какой огонек подбросить в бочку с порохом, в каком направлении подтолкнуть взрыв его ярости. И его буквально взорвали, бросили на трибуны, с которых он, очарованный собственной дерзостью и в то же время уверенный в мощной поддержке, наговорил уйму недозволенного и непростительного, объявил войну всем академическим силам. На этой войне он и сгорел. Министр культуры Литовской ССР снял его с работы (Стасис работал тогда в должности инспектора), на какое-то время его перестали печатать, и после нескольких бессонных ночей он покончил собой. Ни среди референтов, ни среди секретарей Союза

художников СССР, так нежно в свое время его пригревших, так наслаждавшихся его гневными выступлениями против их собственных врагов, не нашлось ни одного, кто хотя бы позвонил ему в один из последних, черных для него дней, сказал бы ему или о нем доброе слово, присутствовал бы на его похоронах.

Я все время пишу «референт» («референты»), подчиняясь требованиям русского языка, но никаких референтов мужского рода в Союзе художников СССР не было. Там были референтки, очаровательные девочки, в основном, послевоенного «суловского» набора, они и старея (умело сопротивляясь старению) оставались «девочками». Беспрекословно послушные воле начальства, они нередко выполняли черную работу, к которой начальство не хотело быть явно причастным, боясь запачкать свои руки. Они были той стеной, которая отгораживала высокое номенклатурное начальство (элиту, руководившую Союзом художников СССР) от массы рядовых членов Союза, и любой упрек (образно говоря, камень или, если угодно, гнилой помидор), брошенный из этой массы в руководство (такое случалось, хотя и редко), попадал в эту живую стену, не долетая наверх. Эти «девочки» ничего не решали, ни за что не отвечали, они были исполнительницами чужой воли и указаний, но при малейшем желании их легко было «подставить», наказать за не ими принятое решение. У них не было собственного творческого имени (фамилии), связанного с какой-либо книгой и даже с заметной журнальной или газетной публикацией. «Пишущая» референтка была исключительной редкостью (как, например, Маргарита Халаминская – автор нескольких интересных исследований о творчестве художников Средней Азии, но надо заметить, что Средняя Азия – сфера ее «референтуры» в Союзе художников СССР – считалась тогда маргинальной сферой искусствознания, мало кого интересовало, что там происходит и что об этом Маргарита Халаминская пишет). Референтов «держали» в Союзе художников СССР и неплохо (не только окладами) оплачивали их труд не для того, чтобы они сами что-то писали и печатали. Помню, как Ася Зуйкова учила меня помалкивать и с гордостью приводила сама себя в пример: «Ты видишь, я же ничего не пишу о прибалтийском искусстве. Ты думаешь, я не могла бы написать? Могла бы, а вот не пишу» (сейчас я немного сомневаюсь в том, что она когда-либо могла бы что-либо приемлемое для печатного издания

написать, но понимаю, что она искренне гордилась своей способностью молчать). «Девочки», как правило, не только ничего не писали (кроме «справок» – закрытой информации для сведения начальства), они и не выступали публично даже с самых скромных трибун, они умели только вести тонкие кулуарные переговоры. Но они не хотели быть (да в большинстве случаев и не были) полными ничтожествами в мире искусства. Они многое знали, многое понимали. Они были окружены лестью многочисленных поклонников, пытавшихся через них решать свои проблемы в Союзе художников СССР, и это даже не всегда была корыстная лесть по расчету, а порою искреннее восхищение цветком их юной прелести и женского очарования, законсервированного на долгие годы вперед всеми доступными этим «девочкам» средствами косметики и умением со вкусом одеваться. Со временем у многих из них развивался опасный психологический комплекс. Чем больше ощущали они собственное бесправие, бессилие, зависимость от начальства и горечь вынужденного «обета молчания», тем сильнее был соблазн отыгаться на тех, кто от них зависел (а зависели многие, в мелочах и в делах серьезных: попасть в какой-нибудь заветный список, например, членов зарубежной делегации, кандидатов в будущий состав Правления или в корпус делегатов съезда, – ведь это часто от референта зависело, у высоко поставленных секретарей руки не до всего доходили). Ничего по существу не делая, ничего не решая, они сами казались себе чрезвычайно важными фигурами и присваивали себе право повелевать и царить над массами. Вместо того, чтобы служить художникам и защищать их интересы, они сами хотели быть «начальниками», и чем очевиднее была двойственность их положения (безмолвные «лакеи» в собственном доме – «начальники» над массой слабо защищенных людей), тем более грутально проявлялся этот комплекс маленького «начальника». Они были абсолютно уверены в своем праве пользоваться всеми материальными благами Союза художников и Художественного Фонда СССР, которые никак не предназначались для них по уставу. Никогда не забуду, как Ира Хусаинова, превратившаяся из милой и скромной комсомолки в очень важного «референта», говорила мне: «Ну, ты же не всегда можешь получить путевку в Дом творчества, а я – в любой Дом творчества и в любую минуту». И это была чи-

стая правда. Дмитрий Степанович Сулов взял ее в Союз художников СССР на должность референта по кадрам. В ее обязанности входило наведение порядка в картотеке личных дел; без всякого высшего образования (у Иры его не было) с этим можно было справиться, при этом сам доступ к личным делам художников открыл перед ней большие возможности, которые она по достоинству оценила, и в тесном сотрудничестве со всемогущими «органами» она в полной мере проявила себя, превратившись во влиятельную матрону, к которой уже надо было обращаться «Ирина Борисовна».

Не хочу сказать, что все референты Союза художников были подобны Ире Хусаиновой или Асе Зуйковой. Были среди них (во всех трех Союзах художников) люди, сохранявшие и собственное достоинство, и широту взглядов, и профессионализм, и душевную доброту. Такой была поистине прекрасная Маргарита Халаминская. Такой была тихая, скромная, очаровательная Мариша Бакулева. Добрым словом вспоминают украинские и белорусские художники Ольгу Иосифовну Прохайло. Обаятельная сероглазая Галина Шиманьская и вне должности референта (должности весьма ответственной – по зарубежным связям), которую она, как и все сотрудники Союза художников СССР потеряла с исчезновением этого Союза в 1992 году, проявила себя прекрасным руководителем московской Ассоциации художественных критиков и историков искусства. Поистине везло с достойными референтами искусствоведам в МОСХе, будь то мудрейшая женщина Татьяна Лазаревна Мальцман или пришедшая ей на смену Нина Васильевна Баркова – человек широкой толерантности, доброты и искренности (мы с ней провели чудесные часы в Югославии раскаленным летом 1966 года). Но, к сожалению, чаще в облике референта проявлялись самые отвратительные черты маленького хищника, самодура и паразита. Чем ниже был уровень образования и интеллекта такого референта, тем агрессивнее было его поведение. Классическим примером может служить Нелля Вадимовна Альбова, исполнявшая в 1970-х годах обязанности референта по зоне «Большая Волга» Союза художников РСФСР. Сама – никто (не искусствовед, не художник: Май Митурич подарил ей несколько рисунков, на основании которых ее приняли в Союз), не способная внятно произнести хоть несколько слов, она брала на себя право судить, кого следует, кого не следует допустить на зональную выставку, не гнушаясь всеми

формами откровенного подкупа, на какой была способна благодарная провинция. Очень горькой была судьба таких людей, как только они теряли свою работу. Нелля Вадимовна долго никак не могла понять, как же так случилось, что мгновенно, как только она ушла на пенсию, все ее бывшие клеветы отвернулись от нее, не предложили никакой помощи, забыли о ее существовании.

Нелегкие дни пережила Ася (Анна Георгиевна) Зуйкова, еще остававшаяся на свою беду референтом Союза художников СССР, когда из этого Союза уходила Литва, а за ней и вся мятежная Прибалтика. Привыкшая распоряжаться и определять (проводя на местах волю московского начальства), по какому сценарию пойдет тот или иной республиканский съезд, кого выберут в Правление Союза художников Литовской, Латвийской, Эстонской ССР, она вдруг оказалась персоной *нон-грата* на том самом знаменитом – последнем советском, первом независимом – мартовском съезде Союза художников Литвы 1989 года, на котором с ней уже не только не считались, но прямо дали ей понять, что на этом съезде она – человек посторонний.

Всех референтов уволили из Союза художников СССР в конце 1991 года, когда им нечем стало платить зарплату. Они подали коллективное заявление в суд в надежде отстоять свои права. Суд признал увольнение незаконным и обязал администрацию Союза художников СССР выплатить им зарплату вплоть до... до дня ликвидации этого Союза. Этот день наступил одновременно с оглашением судебного решения. Свою последнюю зарплату (уже почти ничтожную и таявшую в руках в атмосфере наступившей инфляции) они получили, но не вернулись в тот особняк на Гоголевском бульваре, в который Союз художников СССР переехал с улицы Горького в середине 1960-х годов. Возвращаться было некуда. Союз художников СССР перестал существовать вместе с Советским Союзом.

Непостижимы, поистине непостижимы судьбы не только отдельных людей, но целых корпораций. Наиболее «левый» в советской системе ценностей, наиболее либеральный, может быть, более других центров художественной культуры способствовавший «перестройке», сопротивлявшийся партийному диктату, из года в год подтачивавший неуловимой эрозией все основы коммунистической идеологии (хотя всегда умеренно, осторожно, без риска для

тех, кто этот Союз возглавлял и из рук советской власти кормился), Союз художников СССР стал первой жертвой совершившегося в 1991 году великого демократического переворота и исчез, будто бы его и не было. А более всего сопротивлявшаяся «перестройке», готовая стать верным оплотом ГК ЧП, всегда бывшая жестким плацдармом коммунистической реакции Академия художеств СССР волшебным росчерком пера Бориса Николаевича Ельцина (который об этой Академии никакого понятия не имел, но кто-то, готовивший тот знаменитый указ, его руку умело направил) была приравнена к таким сокровищницам отечественной культуры, как Большой театр и Третьяковская галерея, и внесена в список объектов, оказавшихся под охраной нового государства. Она не исчезла, вздохнула с облегчением, получив новый статус Российской Академии художеств, позволявший ей вести свою историю уже не с 1947 года, а с добрых царских времен, и все осталось на своих местах: особняк Академии на Кропоткинской улице, наш Институт в ее дворе, ученые звания и степени, должности, прежняя субординация. Конечно, и в ее стенах появились новые люди. Никогда в жизни никакой Отдел культуры ЦК КПСС не утвердил бы в прошлом на должность Президента Академии такого живого, раскованного, свободного и неумеренного в быту и творчестве человека, как Зураб Церетели (а без утверждения ЦК никакие выборы Президента были немыслимы). Немножко изменились и нравы: такого кумовства, nepотизма, беззастенчивого выбора в члены и члены-корреспонденты Академии собственных дочек, сыновей, племянниц и племянников, не имеющих к искусству никакого отношения, старая советская Академия не знала. Сильнейший крен был сделан в сторону православия: восстановление и украшение Храма Христа Спасителя стало едва ли не главным делом новой Российской Академии художеств (ее прежнее атеистическое руководство, не дожив до новых времен, и в страшном сне не могло бы представить себе ничего подобного). Что-то и внешне изменилось: рядом с Академией появилась Галерея Зураба Церетели и роскошный грузинский ресторан, даже капитальный ремонт всего старого особняка Зураб Церетели начал за свой счет, но не успел довести до конца, финансовый обвал августа 1998 года ударил и по его миллионам. Что-то осталось по-прежнему, даже компьютеры, ксероксы и элек-

тронная почта появились не сразу. Николай Петрович Шкиль, которого новый заместитель Директора нашего Института Евгений Владимирович Зайцев прихватил за собою из ЦК КПСС, еще несколько лет рассматривал доверенный ему печатный станок (ксерокс и прочее оборудование для собственного мини-издательства) как поле идеологического контроля над всей научной продукцией Института. И все же времена контроля и цензуры кончились. Стало впервые возможным писать и говорить то, что думаешь, и печатать то, что пишешь, без страха ослушаться, без оглядки на то, что приказано сверху.

В советское время тоже можно было писать то, что думаешь, но только «в стол», без надежды на публикацию, да и такое занятие (писание «в стол») было небезопасным, разумеется, в том случае, если твои мысли противоречили господствующей идеологии и затрагивали основы существующего строя: достаточно было доноса человека, которому такой текст случайно попадет в руки или которому ты доверишь его, чтобы попасть под статью о распространении ложных сведений, порочащих социалистический строй. Я не только не хотела попасть под арест и суд (такая героическая романтика меня никогда не привлекала), но не хотела «писать в стол». В ящике стола могли храниться лирические дневники или не отправленные личные письма, но весь смысл создания искусствоведческих текстов, историко-искусствоведческих исследований для меня заключался в том, что их прочтут люди, прежде всего коллеги, которые примерно теми же вопросами занимаются, художники, которых то, что я пишу, непосредственно касается, да и просто читатели, интересующиеся искусством. Я писала свои работы для печати, иначе не видела никакого смысла их писать. Но писать для печати означало вступать в сложнейшие отношения с цензурой – внутренней, которая комом страха постоянно гнездилась в душе, внешней, порою весьма суровой и, что особенно обидно, порою (часто) глупой, бессмысленной, основанной на чистейшем самодурстве или невежестве. Дело порою доходило до фарса. Никогда не забуду, как цензура взялась за нашу с Богданасом книгу *Искусство Литвы*. Книга была уже почти готова к выходу в свет, дело было в 1972 году, как раз в это время литовский мальчик, студент Каунасского университета, в знак политического протеста облил себя

бензином и совершил беспрецедентный для тех времен акт самосожжения. Я тогда об этом ничего не знала (наше государство умело скрывать собственные неприятности, возводимые в разряд государственной тайны, от народа), но не могла не почувствовать общего напряжения, возникшего вдруг вокруг всего литовского, и вполне конкретной опасности, нависшей над нашей книгой. Меня вызвали в Ленинград (книга готовилась к печати в ленинградском отделении издательства «Искусство»), и бедная, милая Марина Дмитриева, редактор нашей книги, на которой буквально лица не было, весь этот страшный день металась между мной и цензором, кажется в чине полковника юстиции, который сидел в отдельной комнате с версткой нашей книги. Мне этот цензор не показывался (считалось, что в Советском Союзе нет никакой цензуры), и все вопросы, замечания и повеления что-то изменить в тексте Марина должна была делать якобы от своего имени, будто ей, как редактору, это пришлось в голову. Свою голову она все же не хотела подставлять и, прибегая ко мне, говорила: «Оно просило передать...» (ни имя, ни звание, ни само существование цензора она не имела права упомянуть). Вопросы и замечания, поступавшие от этого «оно», были совершенно дикие и невежественные. Прежде всего «оно» потребовало, чтобы я расписалась в том, что никто из лиц (он выписал на листке все имена, фигурирующие в разделе, посвященном современному периоду) не находится под судом, следствием или в эмиграции. Начинался список всех этих подозреваемых лиц с имени Первого Секретаря ЦК КП Литвы Антанаса Снечкус, о котором высокопоставленный цензор не знал так же ничего, как он ничего не знал обо всех художниках, архитекторах, писателях и иных деятелях культуры современной Литвы. Оценив степень его невежества, я рискнула расписаться в том, что никто из них под судом, следствием и в эмиграции не находится, хотя это было неправдой, но ведь нельзя же было писать об искусстве Литвы XX века, не упоминая имен Галдикаса или Визгирды, Йонинаса или Валуся, как раз в эмиграции и находившихся. Их имена мне удалось спасти, но «оно» на этом не унималось. «Оно спрашивает, – сказала Марина, вернувшись ко мне из очередного челночного рейда к цензору, – почему у вас в главе, посвященной искусству конца XVIII – начала XIX века ничего не написано о том, что присоединение Литвы к России имело огромное положительное

значение». «Оно» прислало мне официальный учебник истории Литвы, изданный под редакцией академика Жюгжды, где стояла эта сакраментальная фраза, и потребовало эту фразу в нашу книгу включить. Я спросила: как, в форме цитаты? Нет, сказали мне, не надо никого цитировать, надо написать эти слова от имени авторов, иначе книга не выйдет в свет. Признаюсь в своем малодушии. Чтобы спасти книгу, я вписала эту фразу слово в слово в начало главы ⁶⁶. Уже потом, когда книга была напечатана, я заметила, что предыдущая глава включала пассаж, никак с этим «положительным значением» не согласованный. Там говорилось, что к концу XVIII века Речь Посполитая оказалась под угрозой уничтожения («Три раздела Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и Россией в 1772, 1793 и 1795 годах приближают эту угрозу и превращают ее в трагическую реальность» ⁶⁷), что «перед лицом наступающей реакции [...] происходит консолидация прогрессивных патриотических сил» ⁶⁸. На это мудрый цензор внимания не обратил, то ли не понимал слов «трагедия», «реакция» и «угроза», то ли не догадывался о том, что третий раздел Речи Посполитой как раз и означал «присоединение Литвы к России». Потом мне довелось убедиться в том, что не я одна попадала в подобные клещи цензурского догматизма и невежества. Когда мне в руки попала изданная в 1968 году *История Татарии*, я с большим интересом стала искать, как ее авторы оценят завоевание Казанского ханства Иваном Грозным, и прочитала примерно следующее: «Присоединение Казанского ханства к России имело огромное положительное значение. Некогда цветущий край был превращен в пустыню».

Цензор, однако, в таком облике «невидимки», передававшей свои требования через редактора (и при этом весьма настойчивой), не так уж часто встречался на моем жизненном пути. В Институте

⁶⁶ «Присоединение Литвы к России, несмотря на деспотизм царского режима, имело в конкретной обстановке того времени положительное значение...» (С. Червонная, К. Богданас, *Искусство Литвы*. – Л.: Искусство, 1972. – С. 79). От формулы Жюгжды эта фраза отличается только упоминанием о деспотизме царского режима, но, как у Высоцкого, «супротив» этого деспотизма даже цензор в чине полковника «ничего не мог», с напоминанием о деспотизме ему пришлось, скрепя сердце, согласиться.

⁶⁷ С. Червонная, К. Богданас, *Искусство Литвы*. – Л.: Искусство, 1972. – С. 72.

⁶⁸ Там же.

обязанности коллективного цензора брал на себя сектор (отдел), на котором в обязательном порядке «обсуждалась» каждая предназначенная для печати работа (книга, статья, глава в сборнике), а затем более высокая инстанция – Ученый совет. Если в издательство работа поступала из Института (под «грифом» Института), она уже автоматически считалась одобренной и дополнительной цензуре и идеологической правке почти никогда не подвергалась. Но если это была «авторская работа», созданная по договору с Издательством и принесенная в редакцию прямо с авторского стола, то функции редактора бесконечно расширялись, он становился цензором и судьей, мог одобрить или «завернуть», напечатать или никогда не напечатать работу, а также «изъять» то, что ему не понравилось. Как и каждый печатавшийся в советское время автор, я находилась буквально в крепостной зависимости от множества людей, оказавшихся (иногда чисто случайно, не в меру своей компетенции и не в меру своих заслуг) моими рецензентами, редакторами, членами Ученого совета и прочими, даже не прямыми, а косвенными начальниками. Из этой ситуации, продолжавшейся много лет, я извлекла чувство бесконечного презрения к невежам и самодурам, которые, выслуживаясь перед собственным начальством или просто из садистского удовольствия, уничтожали, «резали» порою лучшие мои работы, и чувство столь же безграничного уважения и благодарности к людям, наделенным подлинным редакторским талантом, благородством и тактом, которые умели поддерживать смелые начинания (иногда с риском для собственного служебного положения), дать разумный совет, исправить оплошность, открыть зеленый свет перед рукописями, которые становились книгами, главами коллективных трудов, статьями в журналах и газетах. Сначала, насколько помню, из трех написанных работ печаталась, как правило, только одна, к концу «советской эпохи» уже, пожалуй, только одна из десяти рукописей не попадала в печать; несомненно со временем приходил опыт, но все же всегда, до самого 1991 года, это был не только позитивный, но и негативный опыт – опыт вынужденных компромиссов. Великим счастьем было, – если нельзя написать прямым текстом, – то хотя бы разыграть какую-то мелодию в подтексте, бросить многозначительный намек, назвать полузапретное имя или слово, звучавшее тайным паролем. Та надежда, которую в блистательном спектакле 1970-х годов – *Тиль* на сцене

Ленкома – его создатели выразили в последних словах, звучавших со сцены: «Ведь не глухие же [зрители, люди], услышат, поймут...», никогда во мне не умирала.

Разумеется, отдаю себе отчет в том, что все эти намеки, спрятанные в тексте, и «мелодии подтекста», рассчитанные на слишком уж тонкий слух, были слабой, если не сказать ничтожной, формой гражданского протеста. Так, например, в статье о советской художественной критике, занимавшейся искусством «народов СССР» (союзных и автономных республик) в период между 1932 и 1941 годами (в той самой статье, которую пытался, но так и не решился исключить из сборника *Из истории советской художественной критики 1930-х годов* В.С. Кеменов), мне удалось упомянуть само название «Крымская АССР», которое после ликвидации этой республики в 1945 году практически исчезло из всей советской подцензурной литературы (в *Истории искусства народов СССР* не было не только раздела, посвященного искусству Крымской АССР 1921–1941 годов, но даже упоминания о ней в очерке об искусстве всех автономных республик и областей РСФСР). Здесь цензура недосмотрела, и под предлогом анализа критических концепций и интерпретаций творчества феодосийского художника К.Ф. Богаевского, прославлявшего в ту пору советскую индустриализацию в не совсем обычной форме графических утопий, я написала о его месте в искусстве Крымской АССР. О Богаевском в это время писать было разрешено и вполне возможно без всякой ссылки на исчезнувшую Крымскую АССР, как это и делали все авторы статей и книг, где только упоминалось его имя. Я сознательно вводила в текст понятие «Крымская АССР», надеясь на то, что чутким читателям оно напомнит о целом пласте довоенной культуры, фактически уничтоженной вместе с депортацией крымских татар и обреченной на забвение.

В другой раз я попыталась напомнить о существовании литовской культуры, включая и само искусство и художественную критику, в послевоенной эмиграции и сделала это в книге *Связи литовского искусства*, изданной в Вильнюсе на литовском языке в 1977 году⁶⁹. Я гордилась тем, что в книгу удалось включить цитаты из литовского журнала «Айдэй», издававшегося в Америке,

⁶⁹ Červonaja Svetlana. *Lietuvių dailės ryšiai*. – Vilnius, Vaga, 1977.

что с ее страниц звучит голос самого Виктора Визгирды (с. 212) или самого Телесфораса Валюса (с. 209) и их запрещенные советской цензурой фамилии можно найти в Указателе имен художников, которым была снабжена эта книга. Конечно, для грозной советской идеологии все это было лишь жалкими булавочными уколами, да я и не пыталась вступить в борьбу с этой идеологией, довольствуясь в лучшем случае чем-то вроде «фиги в кармане». В худшем случае даже в кармане никакой спрятанной фиги не было, и я шла на позорные компромиссы с этой идеологией (ведь и в книгу *Связи литовского искусства* весь материал, касающийся послевоенной эмиграции, был включен под предлогом борьбы с «буржуазной фальсификацией» литовского искусства) и еще более позорные панегирики в честь октябрьской революции, советской власти, коммунистической партии, поднятой целины и черт знает чего еще. Лгать (если только хочешь печататься!) приходилось на каждом шагу. Я старалась облегчить свою жизнь и свою совесть рассуждениями о том, что любой строй и любая власть имеет свои недостатки (мысль, не столь уж далекая от истины, во всяком случае то, что случилось с Россией в начале XXI века, ее вполне подтверждает: империя Путина нисколько не лучше империи Брежнева) и что ни одна власть и ни один строй не стоят того, чтобы за идею их революционного ниспровержения расплачиваться своей единственной жизнью, собственными страданиями и горем близких, прежде всего родителей, которые потеряют дочь. Я не знала (до 1991 года) никакой другой власти, кроме советской: она меня «породила», «воспитала», «вырастила», дала мне образование и работу, и в моем истинном отношении к этой власти было больше вынужденного примирения, привычного безразличия, чем какой-то острой ненависти, заставляющей бросаться на баррикады.

У меня никогда не было не только мужества, но и искреннего, горячего желания сказать нечто такое, что сумел сказать в своем стихотворении (*На события 28 апреля 1988 года*) литовский поэт Адас Якубаускас:

Dla czego los mnie rzucił
Do kraju tego? Nie lubię go, nie kocham.
Kraj Sowietów nie moją jest ojczyzną.
To obczyzna! Tutaj duchowe męki znoszę.

(Знаю эти стихи в переводе на польский язык. В подстрочном «обратном» переводе получится примерно так: «За что судьба бросила меня в эту страну? Я ее не люблю. Страна Советов – это не моя отчизна, это страна, мне чужая. Здесь я духовно страдаю»).

Нет, я не страдала (во всяком случае не страдала каждый день и час) от пребывания в советской стране. Эта власть ни меня, ни кого-либо из моих близких не арестовала, не расстреляла, не сгноила в тюрьме, не лишила последнего куска хлеба и крыши над головой. Но я никогда не прощу ей того, что все работы, написанные в лучшие годы моей жизни, от школьных сочинений и первых публикаций в печати до самых солидных исследований, изданных в советский период, отравлены ложью, пусть хотя бы капелькой лжи, а ведь бывало и хуже: не ложка дегтя (лжи) портила бочку доброго меда, а маленькая ложечка меда (слово правды, полуправды, едва уловимая аллюзия, спрятанный намек) терялась в бочке дегтя, настоянного на агрессивной и фанатичной коммунистической пропаганде.

Самый смелый шаг, какой я совершила в своей профессиональной работе, произошел на обсуждении выставки «Молодость страны», посвященной XX съезду ВЛКСМ, состоявшемся в Центральном Доме художника на Крымском валу в начале мая 1987 года. Это была, вообще, фантастическая, почти невероятная история. Выставка уже была открыта и стала сильнейшим раздражителем для одной стороны (самой реакционной верхушки Академии художеств СССР, прежде всего для Кеменова) и источником утопических надежд на новую «оттепель» в художественной культуре со стороны либеральной «фронды», а также настоящей оппозиции (диссидентского художественного «подполья»). К обсуждению этой выставки готовились с обеих, а точнее со всех трех сторон, только готовились по-разному. Радикальная оппозиция голоса с трибуны на этом обсуждении не имела (и не дали бы ее вожакам говорить с трибуны, и сами они на трибуну не рвались, но вся атмосфера в основном молодежной «аудитории», наэлектризованная до предела, была создана этой оппозицией, не знаю уж, в какой степени стихийно или при умелой организации). Наша искусствоведческая «фронда», сосредоточенная в «активе» Союза художников СССР и МОСХа, решила использовать эту выставку для укрепления своих позиций и поднять ее обсуждение на самый высокий

профессиональный уровень. Основным докладчиком (хотя формально просто одним из участников обсуждения, который должен был задать всему этому обсуждению тон) был назначен красноречивый Александр Абрамович Каменский, а роль председателя всего собрания взял на себя молодой Председатель секции критики МОСХа Александр Ильич Морозов, сменивший Недошивина на этом посту и стремительно набиравший очки популярности в самых широких «левых» кругах. Наш «серый кардинал» В.С. Кеменов, готовивший идеологический разгром этой выставки (вероятно, в данном случае и в силу собственного страстного негодования «формалистическими выкрутасами», и по воле выше стоящего начальства в каких-то кабинетах ЦК КПСС), предпочитал, однако (как всегда), таскать каштаны из огня чужими руками: ни сам Кеменов, ни директор нашего Института Лебедев на обсуждение выставки не пошли, а послали меня, соответствующим образом уведомив Морозова, что от Академии художеств будет выступать Червонная (он должен был предоставить мне слово), и предварительно, весьма строго и однозначно инструктировав меня, то есть предупредив о необходимости самого жесткого осуждения выше упомянутых «выкрутасов». Я еще этих «выкрутасов» не видела, впервые пошла на выставку в день назначенного обсуждения (за пару часов до него) и была готова к чему угодно, но только не к тому, что случилось.

Началось все с того, что само обсуждение выставки начальство Дома художника (уж не знаю, по собственной предосторожности или по какому-то звонку «сверху») решило вовсе отменить, чем довело и без того наэлектризованную толпу молодых людей, проврвавшихся на эту выставку, до крайнего накала. Назревало нечто вроде бунта, сидячей забастовки, чего-то еще невиданного. Двери зала, в котором предстояло обсуждение, были заперты, молодые люди в джинсах и не в джинсах сидели в выставочных залах на полу, наши Каменские-Морозовы где-то за кулисами что-то утрясали, а я, честно говоря, смотрела на все это скорее весело, не слишком переживала по поводу того, состоится ли обсуждение и даст ли Морозов мне слово для выступления (думала, что не даст), ходила не спеша по залам и отмечала, что мне нравится, что не нравится. Мне многое не нравилось, казалось нарочитым паясничеством, особенно крикливые полотна Ксении Нечитайло, говоря словами

Высоцкого – «внешне безобразные – жуткие внутри». Выполнить партийное поручение своего главного шефа казалось несложным, но не особенно хотелось всем этим заниматься, и я даже была бы рада, если бы никакого обсуждения не состоялось или прошло бы оно без моего участия. И тут (не сразу) я вдруг наткнулась на картину Татьяны Назаренко *Пугачев* и просто остолбенела. От всего: от нового языка живописи, который был мне близок, от ее пронзительного политического смысла, от всей этой убийственной иронии, от опрокидывавших все прежние устойчивые исторические стереотипы контрастов (Суворов – Пугачев, тюремная клетка – конный марш гарцующих победителей). Я еще понятия не имела, что с этим делать и как о такой живописи можно говорить. Так я и стояла, оглушенная этой картиной, когда в Доме художника что-то произошло, долго запертые двери открылись, и вся возбужденная толпа ринулась в зал, заняв все ряды и стулья и даже все ступеньки лестничных проходов. Как-то и я в этот зал втиснулась и стала свидетелем спектакля, подобного которому мне еще не приходилось видеть. Кажется, первому Морозов предоставил слово Каменскому, но неважно, был ли Каменский первым или вторым, в запасе у Морозова было еще немало великолепных ораторов, разумеется, «левой», самой прогрессивной ориентации, которым нужен был «сумбур вместо музыки» (если можно так сказать, выворачивая наизнанку известную формулу партийной критики формализма), которые весь этот сумбур приветствовали и во многом сами готовили. А зал... Зал их не слушал. Зал негодовал. Зал освистывал каждое слово, в котором чутко различал и дешевую комплиментарность, и трусливую осторожность («да» и «нет» не говорите, «черное» и «белое» не называйте). Залу мало было фактического признания успеха этой выставки, – признания, от которого любой оратор мог при необходимости и отречься, ибо ничего прямо и четко не было сказано, и самая изысканная система искусствоведческих конструкций казалась паутиной лжи. Зал хотел слышать «да» или «нет» и отнюдь не только в художественном, но и в политическом измерении. Зал топал ногами, свистел и сгонял с трибуны самых авторитетных лидеров «левой» искусствоведческой фронды. И вот тогда (очень рано, кажется, после третьего или четвертого выступления, с треском провалившегося, освистанного, великолепно подготовленного заранее тесными единомышленниками морозовского

круга) Морозов сделал тактически гениальный ход. Он объявил, что слово предоставляется мне, не забыв связать мое имя с Академией художеств СССР. Ах, как он надеялся перевести на меня «стрелки», направить против меня разбушевавшуюся, уже почти неуправляемую, гневную стихию, раздавить меня в этом крушении. Ведь я должна была по заданию Академии «громить» выставку, выступать с тех «правых» позиций, которые позволят выгодно оттенить «левизну» и либеральную толерантность прежних докладчиков и вернуть обсуждение выставки на круги своя, установить контакт между президиумом и залом на основе общего дружного осуждения и осмеяния академической рутины.

Никогда не забуду, как я шла к трибуне, осторожно обходя тела сидевших в проходе, шла, словно на плаху, через настороженную тишину зала, которая через несколько минут неминуемо должна была взорваться топотом и свистом, да и как уйти потом из этого зала живой – в переносном и в буквальном смысле этого слова – было не совсем понятно.

Пока я шла, я совершенно не знала, что я скажу. Ни единого, заранее заготовленного блока рассуждений, никакого готового текста в мыслях не было. Сегодня я помню все, что я тогда сказала – внезапно для меня самой, никаким расчетом не оправдано, никак с моей ролью представителя Академии не согласовано, с неведомо отчего проснувшимся бесстрашием, тем более удивительным потому, что я ни на секунду не забывала о том, как мои слова могут быть истолкованы и даже в тишине уже слышала тайный шелест доносов, которые последуют за моим выступлением. Я сказала, что не могу признаться в том, будто вся выставка целиком мне понравилась, но думаю, что выставку можно считать состоявшейся, если на ней есть хотя бы одна картина, которая останавливает человека, меняет строй его чувств и ход его мыслей, если этой картине суждено войти в историю современного искусства. И я стала говорить о картине *Пугачев* Назаренко и сказала самое главное о том, что ее главным героем (антигероем) является не Пугачев, а Суворов, что эта картина сегодня должна каждого полководца заставить задуматься о том, куда и зачем, на какой подвиг или на какое преступление он ведет за собой ангельскую рать послушных ему русских солдат. Шел уже восьмой год нашей войны в Афганистане, и не

понять меня было нельзя. И зал понял, взорвавшись бурей аплодисментов. Не могу сказать, что таких аплодисментов я больше никогда в своей жизни не слышала. Случалось (в 1990-х годах), что мои выступления на Курултаях крымскотатарского народа сопровождались такой долго не смолкавшей овацией, что мои коллеги, бывшие ее свидетелями, говорили, что это было нечто потрясающее. Но это были другие времена, совсем другое температурное измерение моего полного контакта и настроя на общую духовную мобилизацию с аудиторией. Ту бурю аплодисментов в Доме художника я вырвала у враждебной аудитории, сломав весь морозовский сценарий с запланированными фигурами победителей и мальчиков (девочек) для битвы. И действовала я не по расчету, а по какому-то необъяснимому наитию. Еще за секунду до того, как я заговорила, я не собиралась, не считала нужным, не считала безопасным, не считала возможным сказать все, что я сказала. Удивительно, каким-то образом все это сошло мне с рук. Даже для профилактической беседы в КГБ не вызывали. Даже Кеменов, которому, несомненно, содержание моего выступления услужливо пересказали, не сделал (не успел предпринять?) шагов, которые могли бы стереть меня в «лагерную пыль»: времена еще были очень суровые.

И все-таки это был исключительный случай. Никаким последовательным борцом с режимом – ни по афганскому, ни по другим поводам, а их было более чем достаточно, начиная с ввода советских войск в Чехословакию, – я не была. Я была членом КПСС, не имевшим никаких партийных взысканий, и более того, я была внештатным инструктором Отдела культуры Московского Городского комитета партии.

Об этом витке моей работы, наверно, надо рассказать особо, начиная с того заседания Бюро МГК КПСС, на котором меня в этой должности утверждали весной 1967 года. Председательствующий на этом заседании Первый секретарь Виктор Васильевич Гришин, выслушав данную мне характеристику, в которой слишком большой акцент был сделан на моих научных и творческих успехах в далекой от него сфере искусствознания, по-моему, с некоторым сомнением спросил: «А как Вы сами относитесь к этому назначению?». Я ответила: «Для меня это большая честь». Больше вопросов не было.

Да, большая честь...

Любая организация («контора», «шарашка») – это прежде всего люди, которые в силу тех или иных обстоятельств (иногда случайно) в ее стенах собраны, под ее «крышей» работают. Я могу судить только об Отделе культуры МГК КПСС, деятельность которого в 1960-70-х годах курировала Секретарь МГК Алла Петровна Шапошникова. Мне довелось «пережить» целый ряд заведующих этим Отделом культуры: Зоя Афанасьевна Соловьева, Юрий Николаевич Верченко (в МГК он работал недолго, вскоре ушел на должность Секретаря Союза писателей СССР), Игорь Борисович Бугаев. Бессменным в эти годы заместителем Заведующего Отделом культуры оставался Роман Петрович Пасечников. Инструкторами, занимавшимися разными сферами московской культуры, были Виталий Семенович Ануров (литература), Петр Васильевич Голубев (театр), Лев Николаевич Табенкин (кино), Виталий Васильевич Абакумов (изобразительное искусство). Это были разные люди, и то высокое уважение, и ту искреннюю симпатию, и ту человеческую признательность, какую я ко многим из них испытывала, никак не может стереть в моей памяти нынешнее понимание ответственности всей этой организации, бесполезности любой деятельности, вытекающей из намерений «руководить» культурой. Многие из этих людей никаких «руководящих» амбиций в себе не пестовали, а делали все возможное, все от них зависевшее (а зависело по условиям того времени немало), чтобы помочь талантливым режиссерам, писателям, художникам, поддержать перспективные начинания, предотвратить или разумно развязать конфликты, которые в творческой среде нередко возникали и самими творческими работниками (их взаимной завистью, доносами друг на друга) провоцировались. Я уже писала (во введении к этой книге) о роли Абакумова в жизни МОСХа, и твердо, по прошествии многих лет с той поры, могу сказать, что это была во всех отношениях позитивная и благородная роль. Он не запрещал никаких выставок, не «душил», не «травил», не преследовал никого из художников (к сожалению, даже подонков), просто потому, что не умел «травить» и преследовать людей. И дело даже не в том, чего он **не** делал, умело обходя многие рифы, игнорируя злую волю (а безобразных и глупых «установок», спускаемых откуда-то сверху и выдвигаемых сбоку, например, из Академии художеств под идеологическим руководством В.С. Кеменова, было предостаточно), стараясь прежде всего

не навредить. Дело в том, что он, не дожидаясь никаких указаний, по собственной инициативе и доброй воле, поддерживал наиболее талантливых московских художников, иногда незаслуженно отесняемых от выставок, от закупок их произведений и заключения с ними договоров. Петя Голубев был настоящим «ангелом-хранителем» многих выдающихся спектаклей на сценах московских театров, и тот, к примеру, факт, что в Ленкоме шли (и никогда не были «сняты» или «запрещены») и *Тиль*, и *Юнона и Авось* – это во многом его заслуга, хотя многим влиятельным лицам «вверху» эти спектакли не нравились, но он знал, как разговаривать и с непосредственным, и с косвенным начальством, на что и как закрывать глаза. Олег Ефремов со своим «Современником» во многом должен был быть обязан Виталию Анурову, одно время «отвечавшему» за театр (думаю, что никакой благодарности Олег Ефремов не чувствовал, а может быть, даже не знал об активной – с риском для собственного благополучного положения – роли Анурова, предотвратившего несколько готовившихся «разгромов» молодого «Современника»).

Однако не все, далеко не все молодые люди, работавшие в Отделе культуры МГК КПСС (женщин в этой среде, вообще, не было, кроме двух, занимавших самые высокие позиции – Зои Афанасьевны Соловьевой и Аллы Петровны Шапошниковой, и меня на самой низшей позиции внештатного инструктора ⁷⁰⁾, вели себя до-

⁷⁰ Отсутствие или недостаток женских кадров в самых высоких партийных и государственных аппаратах приводили порою к ситуациям трагикомическим. Одну из таких ситуаций я пережила в дни приезда Президента США Никсона в Москву. По каким-то делам меня вызвал к себе Заведующий Отделом Игорь Бугаев, и я как раз сидела в его кабинете, когда на его столе зазвонил телефон. Звонили из «органов», с какой-то «линии» (кажется, 9-й), отвечавшей за безопасность особо важных персон. Руководство этой «линии» с ужасом обнаружило, что в этот вечер в Большом театре, который должны были почтить своим присутствием Брежнев и Никсон, в партере совершенно или почти нет (не будет) женщин (билеты соответственно были распределены между сотрудниками данных «органов»). «Слушай, – спросил Бугаева голос в трубке, – у тебя в отделе есть женщины?». Бугаев посмотрел на меня и, видимо, убедившись в том, что я женщина, ответил утвердительно. «Мои тут, понимаешь, напортачили, в партере ни одной женской головки. Выручай». Мне

стойно. Не знаю, чем занимался Владимир Есин, кроме собственного старательного карьерного продвижения вверх. Совершенно ничем добрым и достойным не занимался Виктор Максимович Бутко, даже не могу вспомнить и сегодня представить себе, в какой сфере культуры он мог бы быть хотя бы чисто формальным инструктором, поскольку ни о какой культуре он понятия не имел, был человеком невежественным и примитивным (самовлюбленным красавцем). Что ж, прав был Иосиф Виссарионович, говоривший: «Кадры решают всё». Все зависело от конкретных людей, меры их интеллекта, человеческой порядочности, политической гибкости.

Наверно особых слов в этой связи заслуживает Роман Петрович Пасечников. Он был значительно старше всех нас, и сталинское время, через которое он прошел (не ребенком, как большинство сотрудников Отдела культуры МГК КПСС, а взрослым человеком), научило его и покорности, и пассивности, и печальному умению держать свою голову «ниже травы». При всей незавидности такой позиции и его роли Заместителя Заведующего Отделом, принимавшим нередко непопулярные в московской творческой среде решения, само его человеческое достоинство, какая-то глубинная, может быть, от крестьянских дедов и прадедов унаследованная порядочность оставались неизменными. Он никому не делал зла (во всяком случае по собственной инициативе или испытывая от этого удовольствие; наверно, как солдат, если прикажут стрелять, то стрелял бы; я его стреляющим, к счастью, не видела), а если только мог одарить добром и душевным теплом любого, кто искал у него защиты или совета, делал это с радостью.

На бюрократическом жаргоне тех лет работников Московского Городского Комитета партии называли «горожане». Помню, В.А. Серов по поводу той или иной выставки спрашивал: «А с горожанами согласовали?», «А горожане не возражают?» или возмущался «Что там горожане надумали!». «Горожане» были гораздо

были даны соответствующие инструкции, где получить (бесплатный!) билет, как поярче одеться, и к своей полной неожиданности я провела этот запомнившийся летний вечер в Большом театре, скрутив себе всю шею и голову то в сторону сцены, то в сторону ложи, в которой появились Брежнев и Никсон с супругами и стоя аплодировали в конце спектакля.

либеральнее Союза художников РСФСР, разрешали и даже поощряли то, что этот Союз хотел бы запретить. Свообразные отношения были у «горожан» с «соседями». Так называли работников КГБ. В лицо мы их почти никогда не видели, но время от времени они звонили или присылали в Отдел культуры МГК запросы и информации. Порою ситуации возникали комические. Однажды «соседи» прислали справку следующего содержания (текст ее помню дословно, цифры – неточно, но здесь не в цифрах дело): «... (такого-то числа) в Москве на Пушкинской площади состоялась незаконная антисоветская демонстрация, в которой приняли участие 2 писателя, 3 художника, 1 физик, 5 крымских татар, 7 евреев и 10 лиц без определенных занятий». Мы с Виталием Абакумовым долго заливались смехом, перечитывая этот литературный шедевр. Как-то в новогоднюю ночь в ЦДЛ (Центральном Доме Литераторов на улице Герцена) показали фильм, который не следовало показывать. У «соседей» в ЦДЛ, конечно, были свои информаторы, но в новогоднюю ночь все так перепились, что никто не мог толком вспомнить, что это был за фильм. Петя Голубев – ко мне: «Ты там встречала Новый Год. Может быть, помнишь, что за фильм, – надо помочь соседям». Фильм был о Джеймсе Бонде, но я написала в маленькой «справке»: «К началу фильма опоздала, титров не видела, но по-моему это был *Этот безумный, безумный, безумный мир* Крамера». За показ невинной американской комедии ни у кого в ЦДЛ головы не полетели, а если бы выяснилась ошибка, я всегда могла бы сказать: «Мне так показалось. Разве это не был безумный, безумный мир?»

Нет, я не жалею, нисколько не жалею о тех годах, когда моя работа определялась должностью внештатного инструктора Отдела культуры МГК КПСС. Сам институт «внештатных инструкторов» в 1970-х годах упразднили, но в моей жизни ничего от этого не изменилось, я там по-прежнему «работала», разумеется, бесплатно, но все, что благодаря этой «работе» я могла увидеть (все лучшие спектакли московских театров, все фильмы на московских кинофестивалях), услышать, понять, сама сделать, поддерживая в своих «справках» талантливых художников (о «Тиле» я писала едва ли не вдохновенные поэмы, и Петя Голубев посылал не кого-либо, а именно меня на просмотр этого спектакля в связи с постоянными

доносами бдительных советских трудящихся, поступавшими в Отдел) не обедняло, а обогащало меня. И когда Алла Петровна Шапошникова на большом совещании в МГК КПСС вдруг произнесла мою фамилию, рекомендуя главным редакторам московских периодических изданий обратиться ко мне с предложением написать о сложной и спорной московской художественной выставке на Кузнецком мосту, бывшей тогда «притчей во языцех», я, честно говоря, вздрогнула, и была счастлива в эту минуту, и знала, что это для меня большая честь. Да, большая честь...

Всех, кто руководил нами с «площади Ногина» – из Отдела культуры ЦК КПСС, кроме Зои Петровны Тумановой, которую я там впервые увидела (и надолго запомнила ее тяжелый, медленный, темный взгляд) я каким-то образом знала еще до того, как они на этой площади оказались: Машу (Марию Михайловну) Лабузову по ее прежней работе в ЦК ВЛКСМ (чудесная была девочка, да и осталась такой до конца – милой и доброй), Евгения Ивановича Севастьянова по его прежней работе на должности директора издательства «Искусство» (когда ему сделали предложение перейти в ЦК, он говорил мне: «Понимаешь, что это значит? Это значит, что мне оказано абсолютное доверие»), Олега Иванова – еще по Риге, откуда его перевели в Москву (в Латвии, как журналист, интересующийся современным искусством, он пользовался уважением у художников, и свой интеллект, внутреннюю порядочность, чистоплотность сохранял и на работе в ЦК, где всегда был между многими огнями). Евгений Владимирович Зайцев был до работы в ЦК Заместителем Министра культуры РСФСР (в 1967–1968 года моим непосредственным начальником), потом Заместителем Министра культуры СССР. Там, в Министерстве культуры СССР, с ним вместе одно время (после ухода из МГК КПСС) работал Петя Голубев, который был буквально потрясен той бесконечной мерой подлости, какую он в своем новом сослуживце – Евгении Владимировиче Зайцеве – обнаружил. Неудавшийся актер Таганрогского театра, Зайцев, став крупным начальником в Москве, обожал устраивать в своих кабинетах настоящие спектакли, в которых он сам был и сценаристом, и режиссером-постановщиком, и главным действующим лицом, произносившим последнее слово. Предстояло, к примеру, запретить какую-то пьесу, уже принятую в репертуар того или

иногo театра. Все было решено заранее, определено движением густых бровей Зои Петровны Тумановой, согласовано с «горожанами», в принципе достаточно было росчерка пера. Но Евгений Владимирович обожал спектакли с известным только ему и неизвестным всем присутствовавшим концом. Он приглашал художественного руководителя, директора театра, автора пьесы, артистов, намеченных на главные роли, всем им заранее умея внушить, что сам он целиком на их стороне, что пьесу еще можно «отстоять» и спасти. Люди шли на эти совещания с надеждой. Все они могли высказаться, и Зайцев умел создать атмосферу, способствующую откровенности и даже провоцирующую на высказывания, о которых многим потом приходилось пожалеть. Все шло вроде бы в оптимистичном ключе, но в заранее определенный момент возникал неожиданный поворот действия, предоставлялось слово чиновнику («специалисту»), чье резко отрицательное мнение для многих оказывалось неожиданностью (этим эффектом неожиданности Зайцев особенно наслаждался), дальше возникали новые повороты, вспыхивали искры надежды, гремели грозные осуждения, и все кончалось полным разгромом проекта. Те, кто входил в кабинет с надеждой, уходили из него через несколько часов с вымотанными нервами, с чувством полной безнадежности, побитые, как собаки, и Зайцев сочувственно и ласково всем им жал руки (попробовали бы они не ответить на рукопожатие!). Петя Голубев такого садизма не понимал. Говорил мне с ужасом: «Это страшный человек! Продаст родную мать и отца ради карьеры. Беги от него как можно дальше!». Далеко убежать мне, однако, не удавалось. Последним местом работы Е.В. Зайцева (еще до того, как рухнул ЦК вместе со всем Советским Союзом: у Евгения Владимировича был обостренный нюх, и бежал из ЦК он вовремя, не дожидаясь, пока последних его сотрудников погонят с площади Ногина под улюлюкание толпы в конце августа 1991 года) стал наш Институт теории и истории изобразительных искусств. Новый директор – Виктор Владимирович Ванслов – предложил ему должность своего заместителя, и на этой должности, правда, не в таком крупном масштабе, как прежде, Евгений Владимирович еще успел вволю поизмышаться над многими сотрудниками, которых он вызывал к себе, сочувственно расспрашивал о семье, о работе, умело вел разговор к

тем подводным рифам, о которые должно было разбиться суденышко их мнимого благополучия, выставлял им растущий счет за все их действительные и придуманные им грехи, намекал на большие неприятности, и дело кончалось тем, что уходили они из его кабинета, подписав заявление об уходе из Института по собственному желанию и благодаря Евгения Владимировича за то, что он их от неведомых неприятностей оградил. Так кончилась научная жизнь Ирины Свиридовой (мы были дружны с ней с начала 1960-х годов, вместе пережили незабываемую первую поездку в Италию в июне 1970 года), Виктории Долинской, всех не вспомню. Работали они не хуже других, но чем-то Евгению Владимировичу не угодили, не понравились. Виктор Владимирович Ванслов в «низкие» кадровые вопросы не вмешивался, и Зайцев все решал по своему усмотрению. Меня в свои нежно-удушающие объятия он заключить не успел, но я сильно, очень сильно рисковала – вполне могла стать его очередной жертвой. В Институте Зайцев пытался сколотить группировку «правых сил», готовых оказать сопротивление всем идеологическим «провокациям» перестройки, приглашал каких-то рьяных черносотенцев, клеймивших журнал «Огонек» и его редактора В. Коротича, проклинавших Народные Фронты Латвии и Эстонии и прочих «врагов народа». Однажды я не выдержала и сказала одному из приглашенных в наш Институт ораторов, что он ошибся местом и временем, ему надо бы искать союзников и единомышленников не в нашей среде, а где-нибудь в дореволюционном Охотном ряду среди мясников и дворников, понимавших призыв «Бей жидов – спасай Россию!». Эта дерзость еще, может быть, как-то и сошла бы мне с рук (все-таки я не к Зайцеву напрямую обращалась, а к какому-то его прихвостню, от которого он сам бы немедленно отмежевался, если бы почувствовал, что это выгодно), но уж ни за что не простил бы он мне трех слов, вырвавшихся у меня после его выступления на большом партийном собрании весной 1990 года. Это было объединенное партийное собрание нескольких организаций, собранное в райкоме КПСС накануне выборов в Верховный Совет, которые впервые проводились на основе альтернативной системы, и в нашем выборном округе было две кандидатуры на выбор – Борис Ельцин или бывший Председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков. Райком должен был

консолидировать всех еще остававшихся в рядах партии коммунистов и заставить их голосовать за Рыжкова. Евгений Владимирович Зайцев, последний раз выслуживаясь перед родной партией, произнес хорошо поставленным актерским баритоном длинную речь с выразительными паузами, восклицаниями, уничижительными репликами в адрес Ельцина и закончил ее словами с легким полувопросительным, полу-утвердительным ударением: «Ну, как я понимаю, все мы здесь едины в нашем мнении и будем голосовать за Рыжкова». В зале наступила тишина, в которой довольно громко и выразительно прозвучал мой единственный голос: «Ну, уж нет...» (с долгим, растянутым «нет»). Как у меня это вырвалось, как я на это решилась (прекрасно зная, как мстителен Евгений Владимирович, как много в моей жизни от него зависит, ведь еще даже моя докторская диссертация была в ВАКе не утверждена), до сих пор не знаю. Все стали в мою сторону оборачиваться, и я поймала – от знакомых и незнакомых людей – несколько хмурых, грозно-предупреждающих и несколько сочувственных, восторженных взглядов. Евгений Владимирович нашелся и воскликнул: «Уже хорошо!», что можно было трактовать, как угодно: «хорошо, что мы не думаем все одинаково и можем продемонстрировать плюрализм и свободу мнений» или «хорошо, что скрытого врага удалось раскусить, спровоцировать на откровенность». Мне еще довелось вести с ним последние, какие-то уже не нужные и постепенно затихающие дискуссии – и в Институте, и в Германии, куда я организовала через своих коллег ему и Ванслову приглашение и где мы жили летом 1992 года в Бонне в гостинице бывшего советского Посольства, и в Тунисе ранней весной 1993 года на конференции, где я зачитала на французском языке наш с ним совместный доклад. Вскоре Евгений Владимирович заболел (с болезнью боролся достойно, молча; если бы Шкиль не проговорился, мы бы о ней и не знали) и умер, не успев причинить больше никому никакого горя и вреда.

Почти всю советскую эпоху, во всяком случае до начала «перестройки», моя работа была так или иначе связана с художниками. Я всегда находилась в зависимости от них (от их мнения о моих статьях и книгах, от их желания или нежелания сотрудничать со мной, от голосований по разным поводам, от указаний, поступавших из высоких инстанций – Секретариата Союза художников

СССР, РСФСР, МОСХ), и эта зависимость была взаимной, ибо то, что я пишу (печатаю), говорю с трибуны или решаю, когда имею возможность решать (к примеру, при выборе имен для *Истории искусства народов СССР*, для других книг, словарей, справочников, учебников, или при определении работ, подлежащих закупке, и в иных обстоятельствах, возникавших особенно часто в тот период, когда я работала в Министерстве культуры РСФСР, была членом республиканского и зональных выставкомов), не было им безразлично. Смысл своей жизни и работы я видела в том, чтобы помочь талантливым художникам ⁷¹.

⁷¹ Я уже вспоминала о том, что в 16 лет на встрече Нового, 1953 года, отвечая на вопрос моего любимого юноши о своем самом заветном желании, я сказала, что вижу цель своей жизни в том, чтобы написать историю советского искусства. В известном смысле эта мечта исполнилась. Мне как-то, вообще, везло с реализацией моих детских намерений и заветных желаний. Маленьким ребенком, едва вышедшим из младенческого возраста, на все вопросы взрослых «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», я твердо отвечала «Художником». Ну, не совсем художником, но членом Союза художников СССР я стала в 25 лет и оставалась до конца существования этого Союза. В четвертом классе, замороженная романтикой *Пятнадцатилетнего капитана* Жюль Верна, я стала отвечать на вопросы о своей будущей профессии – «Буду географом». «Географией» казалась мне цепь путешествий по миру и открытий далеких и неизвестных стран, племен и народов. И точно так же я стала, конечно, не совсем географом, но несомненно страстным путешественником, изъездившим полмира, погрузившимся в романтику четырех континентов (до Австралии и Антарктиды только не добралась, но долго не теряла надежды и туда добраться), специалистом по культурам больших и малых народов Европы, Азии, Африки, даже главным научным сотрудником бывшего Института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая. Так что и это, второе детское желание тоже исполнилось. С пятого класса я уже точно знала, что буду историком, в старших классах не сомневалась не только в выборе профессии, но и в названии и адресе того института и той кафедры, куда я собираюсь поступить, и действительно, поступила в Московский Государственный Университет на кафедру истории и теории искусства исторического факультета и получила диплом историка искусства. Университетское образование давало мне полную возможность оценить относительное несовершенство всего советского искусства по сравнению с вершинами мировой художественной классики, но я хотела заниматься именно им, объясняя (себе и другим), что, конечно, среди советских художников нет никого, хоть отдаленно сопоставимого с великими мастерами и я это прекрасно понимаю, но люблю именно своих современников и соотечественников почти так же, как мать любит своих маленьких детей, даже

Я знала многих советских художников: этот процесс их узнавания (не только по работам, но и непосредственно, в лицо, по имени и отчеству) начался для меня даже не в университете, а еще в школьные годы, когда отец на вернисажах и на обсуждениях выставок знакомил меня с самыми известными и популярными представителями этого мира, обладавшего для меня исключительной притягательностью, а также в Доме творчества в Дзинтари на Рижском взморье, где я проводила начиная с 1951 года до 1957 года каждое лето и где отдыхали многие известные художники, а также их дети, моя дружба (или во всяком случае духовное соприкосновение) с которыми начинались в отроческие годы: сыновья Николая Васильевича Томского Толя и Валя, младший сын знаменитого скульптора Сергея Меркурова Федя, дочка Якова Ромаса Таня, дети Александра Ивановича Лактионова Маша и Ваня, моя старшая подруга (не надолго) Надя Бабурина – дочка скульптора Бабурина, автора монумента героям Брестской крепости, моя младшая подруга (на всю жизнь) Наташа Селиханова – дочка белорусского скульптора Сергея Селиханова, создателя мемориала в Хатыни. Многие из моих сверстников школьных лет потом стали профессиональными художниками, например, Гена Тиханович из Минска, Рейнгард Френц из Ленинграда, Ваня Чуйков из Москвы (сын Семена Афанасьевича Чуйкова, который рассказывал нам в Дзинтари чудесные истории о своей поездке в Индию и устраивал вечера классической музыки, ставя пластинки, привезенные им из дальнего зарубежья; божественное *Ave Maria* с той поры навсегда осталось в душе). Вся эта художественная среда с детства была «моим домом», может быть, в большей мере, чем школа или наш двор в Кривоникольском переулке. И хотя все эти встречи и контакты – и со старшими «мэтрами», и с их детьми – были, можно сказать, прерывистыми (первые знакомства забывались, потом возобновлялись; разъезжаясь по своим городам, мы надолго теряли друг друга из виду, но через несколько лет, как правило, радостно встречались

если они бывают несовершенно, непослушны, ошибаются, спотыкаются, падают, но только им я могу как-то помочь, только их защитить, правильно оценить, «открыть», в то время как ко всему уже сказанному другими о великих мастерах мировой культуры мне нечего добавить, на тех сияющих вершинах нет поля для новых открытий. Так все и оказалось на самом деле, так все и получилось в жизни.

вновь), мои связи с миром современных художников были постоянной константой.

Может быть, впервые я почувствовала, что мир художников (даже будущих художников, еще студентов) и мир искусствоведов – это все же не единый, а совсем разные миры, ранней весной 1957 года, когда в университете была организована встреча старшекурсников нашей кафедры и старшекурсников московского Суриковского института с делегатами Первого, учредительного съезда Союза художников СССР. Помню, как много нам, искусствоведам, хотелось у этих делегатов спросить, как много им сказать, манифестируя свое духовное единство с тем, что происходило в те дни в Колонном Зале Дома Союзов, где этот съезд на много лет вперед должен был определить новые направления развития советского искусства. Но наши ровесники, студенты Суриковского института, плотной группой занявшие задние ряды в нашей университетской аудитории, нам говорить и спрашивать не дали. Их не интересовало, по какому пути пойдет дальнейшее развитие советского искусства и от какого наследства следует отказаться. Их искусство не интересовало, вообще. Их интересовала суровая, сермяжная правда их материального существования: низкие стипендии, непригодные для жизни условия в общежитии Суриковского института, отсутствие средств к существованию и ясных перспектив получения таких средств в будущем. С той поры я запомнила, что художники не говорят (не любят говорить) об искусстве, они говорят только о деньгах и обо всем, что им эти деньги прямо или косвенно обещает или, напротив, такие надежды перечеркивает. Мне не раз попадались книги, авторы которых, в меру собственных знаний истории мирового искусства, старались включить в монологи и диалоги своих героев (советских художников) какие-то рассуждения об античности, Ренессансе, об авангарде, заставить звучать в их репликах имена – от Леонардо и Рафаэля до Пикассо и Модильяни. Все это абсолютная чушь. Таких слов и имен нет в лексиконе советских художников, что вовсе не означает, будто они не знают историю мирового и особенно современного зарубежного искусства; знают очень неплохо, привозят из зарубежных поездок альбомы и монографии, о которых многие искусствоведы не смеют даже мечтать, и когда им нужно, они – художники – используют

многие открытия своих предшественников и далеких современников, но предпочитают об этом не говорить.

На пленумах и на съездах Союза художников, бывших важными вехами в моей работе, а порою и в личной жизни на протяжении доброго тридцатилетия – от 1950-х до 1980-х годов, – я знала почти всех, сидевших в зале и, конечно, всех сидевших в президиуме, и они знали меня, я была частью этого мира, и мне кажется, у меня есть все основания судить о нем достаточно объективно с нынешней, уже довольно длительной дистанции во времени. Ныне того мира больше не существует, он распался вместе с Советским Союзом, с ликвидацией Союза художников СССР, с исчезновением самого понятия «советский художник», хотя еще живы люди (уже немногие), к тому миру принадлежавшие, но даже если кто-то из них мало изменился согласно самому популярному шлягеру послевоенных лет «каким ты был, таким ты и остался», то качественно изменились само это творческое сообщество, основы его деятельности, само понятие «художник нашего времени и нашей страны», пусть уже не «советский», но хотя бы «российский».

Советский художник отличался от всех других граждан и тружеников Советского Союза совершенно исключительным положением. Все другие («нормальные») граждане обязаны были где-то работать, служить, хотя бы числиться в какой-то «конторе», их рабочий день был нормирован, а те чиновники высокого ранга, которые имели «ненормированный» рабочий день, были связаны еще более жесткими обязательствами, ответственностью и дисциплиной, чем работники, не имевшие таких привилегий. Если эти граждане нигде не работали, они могли существовать в советской стране только как «иждивенцы» (несовершеннолетние дети на иждивении своих родителей, жены и многодетные матери на иждивении своих мужей, старики и инвалиды на иждивении государства), всем остальным грозило превращение в «тунеядцев», за что их карали по статьям уголовного кодекса, привлекали к судебным расправам, к принудительному физическому труду, заключали в лагеря или ссылали в далекую глухомань. Художник (член Союза художников) мог работать, когда ему вздумается, мог не работать, вообще, он не обязан был «ходить на работу», никто не проверял

его «опозданий», не считал его «прогулов»⁷². В стране всеобщего рабского труда он был, можно сказать, свободным человеком, и эта свобода, конечно, благоприятно влияла на сам процесс сохранения его личности, даже на уровень его сексуальной потенции (затюканный множеством возвышавшихся над ним начальников советский служащий и свободный художник – это даже чисто физически разные мужчины, так же как советская работница или служащая, спешащая с работы домой с тяжелейшими сумками в руках, и художница с ее неустроенным, но легким бытом – это физически разные женщины). Более того, у художника (члена Союза художников) была масса привилегий, о которых даже не смел мечтать «нормальный» советский человек. Художнику полагалась дополнительная жилая площадь (сейчас эти дополнительные 10 метров могут казаться смешными и жалкими, но в тех условиях крайней скученности, тесноты, перенаселенности коммунальных да и отдельных квартир эти 10 метров значили немало) и (или) мастерская, а приобретение своей индивидуальной мастерской (никому, кроме художников, в советской стране не доступное) означало, что вся жизнь переходила в новое качество, существенное не только для профессиональной работы, но и для личной жизни, для обеспечения своей свободы и того, что в польском языке называется «prywatność» (трудно точно перевести эту величайшую потребность и ценнейшее право оставаться порою в одиночестве, не на глазах у сослуживцев, соседей, родных). Художник мог рассчитывать на получение безвозвратной «творческой помощи» (не всем

⁷² Мне довелось знать женщину, которая всю жизнь работала (на довольно высоких, руководящих постах) среди «нормальных людей» (рабочих, служащих). Когда ее (кажется, неожиданно для нее самой) назначили Заведующей Отделом культуры Обкома КПСС одной автономной республики Российской Федерации, она впервые столкнулась с таким явлением, как «Союз художников» (в той республике он был сравнительно небольшой – несколько человек). Она долго не могла понять: как же так, они не ходят на работу, а если и приходят в свои мастерские, то когда кому вздумается, без всякого отчета, порядка и дисциплины, да и Бог весть, чем они в этих мастерских занимаются; говорят, что им там даже позируют голые женщины (какие-то «натурщицы»), и что со всем этим делать, как с этим бороться, совершенно непонятно. Ей было трудно все это пережить, но сама, будучи человеком партийной дисциплины, она, как только ей разъяснили, что с творческой интеллигенцией надо считаться, включилась в принятую во всей стране игру в относительную свободу советских художников.

она доставалась) и по несколько месяцев в год (если удачно попадет в «творческий поток») жить совершенно бесплатно в прекрасном Доме творчества, где ему были обеспечены все условия для работы, а также разнообразные контакты со старшими и младшими коллегами, что, как правило, служило источником духовного обогащения. Чаще, чем «нормальные» советские трудящиеся, художники выезжали за границу — с выставками, в составе делегаций и даже не в «группах», бывших чудовищным изобретением советской системы, а по индивидуальным туристическим маршрутам.

Да, *dolce vita*, сладкая жизнь, и за право так жить надо было «носом землю рыть», что многие в широком переносном смысле делали постоянно: старались доказать свою лояльность партии и государству, свою верность методу «социалистического реализма» и готовы были перегрызть горло каждому, кто им помешает. Уже этот момент сам по себе был достаточно высокой платой за «сладкую жизнь», поэтому по-настоящему и до конца свободным (в своем творчестве, в своих суждениях) советский художник (член Союза художников), конечно, не был, а его нравственность не могла не пострадать от многих вынужденных компромиссов и столь же вынужденных агрессивных выпадов в процессе самозащиты и борьбы за свои права. Однако, к этому моменту уязвимые стороны общественного положения советского художника далеко не сводились.

Дело в том, что в социальном плане он был совершенно незащищенным, не обеспеченным хотя бы минимальным доходом, необходимым для поддержания его жизни⁷³. Все другие, «нормальные»

⁷³ Исключение составляли некоторые графики, работавшие (на правах и в статусе обычных советских служащих) в издательствах, сценографы и модельеры, которым удавалось найти постоянную работу в театрах, некоторые «прикладники», занимавшие предусмотренные штатным расписанием должности «художников» и «главных художников» на фабриках (например, текстильных) и в других производственных структурах. Все они составляли, однако, явное меньшинство, и многотысячного коллектива живописцев, скульпторов, графиков, входивших в состав Союза художников СССР, это никак не касалось. Положение этой массы живописцев, скульпторов, графиков («художников» в самом распространенном, обыденном понимании) резко отличалось также от положения многих других отрядов советской творческой интеллигенции, также объединенных соответствующими Союзами (писателей, журналистов, архитекторов, композиторов, деятелей театральной культуры). Архитекторы имели

советские труженики, как только они устраивались на работу, получали зарплату, пусть мизерную, жалкую, дававшую им право работать кое-как, спустя рукава (потому и существовала известная поговорка: «Оно (государство) делает вид, что нам платит; мы делаем вид, что работаем»), но все же это была регулярная зарплата, и скажем, 1-го (или любого другого числа) каждого месяца любой советский «труженик», даже самый последний лодырь, знал, что он получит какие-то деньги и принесет их домой (каждый месяц!). Художник не получал ничего, его заработок (а следовательно, его существование) ни советским государством, ни Союзом художников, в который ему удалось вступить, никак и ни в какой мере не был гарантирован. Участь художника была участью свободного, но всегда голодного волка. «Творческая помощь», о чем я уже писала, доставалась не всем, да и выплаченная раз в год (а то и раз в несколько лет) оказывалась столь ничтожной суммой, что на нее даже не удавалось раздать все накопившиеся долги. В «творческие потоки» попадали тоже немногие: одни не могли туда пробиться, другие не могли этой возможностью воспользоваться, не желая на много месяцев оставлять свой дом и семью. Нужны были «заказы» («договора» на создание произведений), нужна была закупка готовых произведений с выставок (а для этого непременно экспонирование таких произведений на выставках, что зависело не от самих авторов, а от решающих их судьбу выставкомов и жюри), при этом перспективы, связанные с таким «заказом» или закупкой колебались от довольно скромных до поистине головокружительных: живописец, продав картину, как максимум, за 10 тысяч рублей, или скульптор, получив гонорар за памятник в 10, а то и в 20 тысяч рублей,

постоянное место работы в архитектурно-конструкторских бюро, институтах, в горсоветах; журналисты – в редакциях газет, журналов, на телевидении; артисты и режиссеры – в стационарных, «репертуарных» театрах. У них была постоянная зарплата. Более-менее подобным положению художников было положение писателей и композиторов, но и в этих случаях разница была огромная. И Союз писателей, и тем более Союз композиторов численно были значительно меньше, чем Союз художников, общее число членов которого к концу советской эпохи превышало 10 тысяч, и имели множество механизмов, обеспечивающих более-менее достойный и постоянный заработок всех своих членов (отчисления с исполняемых музыкальных произведений, гонорары за книги, издаваемые в определенной очерочности собственным издательством Союза писателей СССР). У художников ничего подобного не было.

становился обладателем денежного состояния, которое «нормальный» советский труженик со средним окладом в 100–150 рублей в месяц мог накопить, ни копейки в месяц из своей зарплаты не тратя, лишь за несколько лет непрерывной работы⁷⁴. Такие высокие и даже более умеренные гонорары, скажем, в 3 тысячи, в 4 тысячи рублей, попадая сразу в руки художника, не только вырывали

⁷⁴ Александр Чудаков очень точно написал о несвободе обычного советского труженика – «горожанина, зажато и прикованного к кормушке, в которой дверку подымает и опускает власть» (Чудаков А. *Ложится мгла на старые ступени*. Роман-идиллия. – М.: Время, 2018. – С. 293). Художник не был ни зажат, ни прикован к кормушке. У него просто не было никакой постоянной кормушки, и это никак не способствовало формированию у него позитивного и оптимистического мироощущения. «Кормушки», однако, были где-то рядом, порою поразительно обильные, и только от самого художника, от его интуиции, воли, «нюха», связей, везения, способности за себя постоять зависела возможность к этим кормушкам пробиться и открыть их «дверку» – едва-едва приоткрыть или распахнуть на полную ширину. Власть, безусловно узурпировавшая в советской стране все идеологические и экономические сферы жизни, как раз заработками и самим материальным существованием художника не была озабочена; строго говоря, она и не подымала, и не опускала дверку его «кормушки». Однажды мне пришлось убедиться в том, что даже на самых верхних этажах этой власти чиновники высокого ранга имеют смутное представление о возможной величине заработка художника. Когда я работала в Министерстве культуры РСФСР, «на меня вышел» (мне позвонил) какой-то чин из КПК (Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС), занимавшейся чьим-то персональным делом, и спросил меня, какой максимальный гонорар может выплатить Министерство художнику за картину. Поразительно, «там у них наверху» были прописаны и расписаны все нормы и границы окладов и заработков для всей массы советских рабочих и служащих – от портового грузчика до университетского профессора, а вот сколько может (вполне легально!) заработать художник, они понятия не имели и не спускали сверху директивы, а только спрашивали: сколько? Ограничивался (пресекался) только нелегальный заработок, например, тайный вывоз и продажа произведений за границей (но мало кто имел такую возможность и шел на такой риск); каралось (вплоть до исключения из Союза художников) выполнение художественных работ по заказам церкви (но кто получал такие заказы? Церковь в тот период сама нищенствовала), а в остальном колебания от мизерного минимума (вообще, никакого заработка) до грандиозного максимума (при удаче можно было получить подряд несколько заказов, продать не одну, а множество своих работ) были сильнейшими, и для художника «плавание по жизни» проходило в вечных сменах мертвого штиля и накатов «девятого вала».

его из нищеты, но превращали – по меркам того времени и той страны – в богача, баловня судьбы, «миллионера». Было за что бороться, «роя носом землю», буквально «вгрызаясь в горло» мнимым и явным недоброжелателям и соперникам, нередко отступая от многих элементарных этических норм.

Все это создавало особый психологический комплекс советского художника, вчера нищего, сегодня принца и даже маленького короля, самого богатого во всем ближнем и дальнем своем окружении человека, никогда не знавшего, что ждет его завтра, но способного во имя этого своего «завтра» на максимальную духовную мобилизацию, которая в нравственном отношении не всегда была безупречной. Редко кто мог выдержать такое невыносимое напряжение и жизнь, полную яростной борьбы за каждый кусок хлеба (а тем более за манящую в перспективе сверкающую россыпь сокровищ, материальная ценность которых стократно приумножалась сопутствовавшей им известностью, популярностью, славой), сам по себе, один на один. Нужна была поддержка надежных товарищей, которые «правильно» проголосуют, скажут нужное слово (они за тебя, ты за них), выдвинут твою кандидатуру в тот или иной заветный список, дружным коллективным протестом отгонят от тебя недоброжелателей, в связи с чем шел постоянный процесс формирования групп, грубо говоря, сбивания художников в волчьи стаи. Если создание единого Союза советских художников согласно декларируемым благим намерениям авторов этого проекта должно было положить конец пресловутой «групповщине» в художественной жизни, то на самом деле оно привело к еще более жесткой групповщине, но уже внутри единого творческого Союза. Во главе каждой такой стаи оказывался или один вожак (нередко бывший наставник, профессор, академик), или целый синклит равноправных союзников (по образцу «коллективного» партийного руководства, к которому время от времени возвращалась КПСС), и независимо от того, как эти группы-стаи оформлялись (формально, как правило, никак), в каких мастерских собирались, в каких кафе (в римском «Греко» или в московских ресторанах) пили свое любимое красное вино и еще более любимый армянский коньяк, как они расширялись или, напротив, дробились из-за внутренних разногласий и раздоров, их существование было постоянным и опре-

деляющим внутренне алгоритмы всей деятельности Союза художников. Одни приходили к власти (как, например, серовская группировка в Союзе художников РСФСР в 1960–1968 годах), другие и те же самые эту власть теряли (та же «серовская группировка» на Втором съезде Союза художников РСФСР в октябре 1968 года), одни пробирались на самый верх (окруженная многочисленной свитой подобострастных клеветов «Екатерина Великая» – Екатерина Федоровна Белашова в Секретариате Союза художников СССР), другие держались на нижних этажах в городских, областных отделениях, в республиканских творческих союзах ⁷⁵.

Как все это влияло на отношения между художниками и искусствоведами, формировавшими отдельную секцию («секцию критики») в структуре Союза художников ⁷⁶, то есть на мою жизнь?

⁷⁵ Впрочем, говоря о республиканских творческих союзах, я имею в виду не все 15 союзных республик, формировавших СССР. Своя специфика была в Средней Азии, где порою один влиятельный «пахан» («хан» – звучит лучше?), напрямую связанный с республиканской партийной и государственной властью, держал в крепких руках весь творческий союз, подавляя в зачатке любую оппозицию и формирование внутренних группировок. Своя атмосфера была в Грузии или в Армении, где высокая культура целой плеяды художников, воспитанных еще в Париже и продолжавших парижские традиции в послевоенном искусстве, не допускала того, чтобы опуститься на низкий уровень враждующих друг с другом группировок. Тем более этого не было (или почти не было) в Литве, Латвии и Эстонии, где художники еще не утратили достоинства, воспитанного в каждом из них в период становления и расцвета национальных культур в молодых независимых государствах. Там люди, готовые верой и правдой (то есть за высокие дивиденды) служить советской власти, как, например, Эдуард Эйман в Эстонии, оставались одиночками, вокруг которых образовывалась пустота и не сколачивались никакие «группы», или «стаи». Однако, для положения дел в России, в Украине, в Белоруссии описанная выше «групповщина» в Союзах художников была в высшей степени характерна.

⁷⁶ На рубеже 1980–90-х годов произошло их выделение в самостоятельную Ассоциацию критиков и историков искусства – в самостоятельную по отношению к Союзу художников, из которого они вышли еще до ликвидации Союза художников СССР, но формально являющуюся лишь филиалом (сначала общесоветским, а ныне российским, подобно национальным филиалам в других независимых государствах) Международной Ассоциации критиков и историков искусства (AICA – International Association of Art Critics and Art Historians). Никаких существенных изменений в положении (тогда еще советского) искусствознания эта организационная перестройка не принесла.

Художник (среднестатистический «советский художник», как правило, принадлежавший к той или иной группировке-стае, а тем более возглавлявший ее) требовал от искусствоведа, на чью лояльность он рассчитывал, полного услужения себе (просьба «Напишите о моей / нашей выставке статью» или «Напишите о моем творчестве монографию» априорно означала: «Напишите хвалебную статью / монографию», никакая критическая составляющая в таком тексте даже не предполагалась) и столь же категорически отвергал (часто в презрительных и даже непечатных выражениях) труд того искусствоведа, которого он считал нелояльным по отношению к себе (к своей группировке) и подозревал в служении своим противникам, подкупившим его. Не думаю, что были средства, способные убедить среднестатистического «советского художника» в существовании какой-то объективной истины, в праве искусствоведа высказывать свою точку зрения, не совпадающую с собственной завышенной самооценкой художника, – способные заставить этого художника задуматься над тем, что критика в его адрес может означать нечто иное, чем личное недоброжелательство к нему и к его группе (интригу! провокацию! неблагодарность змеи, пригретой на моей груди!), а позитивный, тем более восторженный отзыв о работах его противника (представителя враждебной стаи-группировки) может быть вызван достоинствами этих работ, а не сплетением злостных намерений.

В наиболее острой форме я столкнулась с этим уже на излете советской эпохи – на обсуждении выставки «Большая Волга» в Казани в 1990 году. Председателем выставкома этой выставки был мой давний друг (я многим обязана ему в своей жизни) Харис Якупов. Его сын Фарид Якупов, недавно окончивший Репинский институт, показал на этой выставке огромную по размерам и совершенно чудовищную по своей пошлости, сладкому патриотизму и профессиональной беспомощности картину о колхозных буднях татарской деревни. Первым всё, что думал об этой картине, отбрасывавшей всю татарскую живопись на много лет назад, высказал мой коллега Никита Васильевич Воронов, так же, как и я, приехавший на обсуждение этой выставки из Москвы. Харис, председательствовавший на конференции-обсуждении, сразу после него предоставил мне слово, и я, конечно, не могла не понимать, как он ждал, как надеялся, что я опровергну вороновскую «клевету» и

подниму картину Фарида до уровня художественного шедевра. Я все понимала, все помнила (в том числе едва ли не решающую роль Хариса в спасении моей докторской диссертации от целой кампании по ее разгрому, развернувшейся в Татарстане по инициативе Г.Ф. Сулеймановой-Валеевой), но я просто физически не могла произнести ни одного доброго слова о картине Фарида. Я просто не упомянула ее, обошла молчанием, посвятив свое выступление двум самым интересным, появившемся на этой выставке картинам – *Шествию* Измаила Ефимова и *Перестройке* Анатолия Учаева. Харис не простил мне этого никогда. Я еще успела на том обсуждении перехватить его взгляд, брошенный в мою сторону с такой горечью, с таким отчаянием («И ты, Брут!»), с таким немым упреком, а больше до конца его жизни уже не было ничего: никаких взглядов в мою сторону, никаких слов, писем, звонков (после 22-х лет настоящей дружбы), он не хотел меня знать и видеть, я оказалась искусствоведам, отказавшимся служить его (личным, групповым, клановым) интересам, а следовательно ненужным ему.

Это был только самый яркий пример, но сама по себе ситуация, в которой художник допускал существование искусствоведа, занимающегося современным искусством (искусствоведы, писавшие об искусстве классическом, его просто не интересовали), только в качестве человека, находящегося в постоянном услужении (лично самому художнику, его группе, его клану), а если нет, то, значит, продавшегося неприятелю, была неизменной на всем протяжении советского периода. И когда я пишу «допускал существование», то вовсе не имею в виду только личную обиду, возможность разрыва дружеских отношений и тому подобное. Этот среднестатистический советский художник, представитель более или менее влиятельного клана, имел самые мощные рычаги воздействия (через свою группу, всегда имевшую тот или иной выход в высокие инстанции) на профессиональную деятельность искусствоведа и его жизненную судьбу: можно было и запретить ему печататься, и уволить его с работы (создать такой климат, когда никто не захочет его печатать, а начальство будет вынуждено уволить его) – возможности были самые разнообразные. Харис Якупов, к его чести, ни одной из них не воспользовался (впрочем, и времена уже были не те),

но дело ведь не только в Харисе, а в той ситуации, которая существовала на всем протяжении моей «полу-невольничьей» работы в советской стране.

Какой я находила для себя выход?

Ну, прежде всего надо сказать, что практически никакого выхода часто не находила и, к своему великому стыду, соглашалась писать заказанные работы, характер и направленность которых были предопределены заказчиком – не всегда конкретным художником, лично ко мне обращавшимся, чаще какой-либо инстанцией (например, редакцией газеты или журнала, руководством моего института, Министерством культуры, Президиумом Академии художеств), объективно выполнявшей волю такого художника (группы, стаи, влиятельного клана советских художников). Мне еще казалось, что я сохраняю некоторую объективность, ввожу в свой текст (робко и тактично) какие-то критические замечания, например, в монографиях *Владимир Ильухин*, *Харис Якупов*, *Николай Овчинников* (написанной в соавторстве с Никитой Вороновым к нашему общему с ним стыду) или в статьях о выставках «Советская Россия», в размышлениях об отдельных жанрах или видах советского искусства, о тех или иных периодах его развития. Но напрасно я успокаивала себя. Честной и принципиальной критики там было слишком мало, конформизма – непростительно много.

Почему я соглашалась писать такие *услужливые* статьи и книги?

Писать и печатать (хотя бы такие тексты!) казалось лучше, чем, вообще, ничего не писать и молчать, а альтернатива была именно такая: или я напишу и опубликую, скажем, статью о выставке «Советская Россия» и, может быть, смогу сказать об этой выставке хотя бы несколько честных слов, которые не утонут в море дежурных, стандартных и хвалебных оценок и останутся в памяти читателей, или о ней напишет кто-либо другой (вероятно, хуже, с еще более высокой мерой лживой комплиментарности), и у меня просто не будет никаких публикаций, а публикации – это основной, единственный, несгораемый капитал каждого искусствоведа.

Не всегда, однако, дело обстояло так плохо. Выход можно было найти, обращаясь к некоторым давним пластам истории отечественного искусства (советского художника давняя история мало интересовала), и некоторые работы, за которые мне не стыдно се-

годня, были написаны в советский период по архивным материалам (моим маленьким открытиям), археологическим источникам, введены в рамки исторической периодизации и исторических концепций, в разработке которых я непосредственно участвовала (все главы в пяти из девяти томов *Истории искусства народов СССР*, особенно дорогие мне книги *Искусство Литвы* – в соавторстве с Константином Богданасом – и ставшая основой моей докторской диссертации книга *Искусство Татари. История изобразительного искусства и зодчества с древнейших времен до 1917 года*).

Однако слишком далеко в историческое прошлое мне было не убежать, главным образом, потому, что я сама этого не хотела: я хотела писать о современном искусстве, и открывать его еще никем не обнаруженные ценности не в архивах и музейных фондах, а в мастерских живых художников и на выставках, проходивших на моих глазах. В прошлое – не особенно, а вот в географические дали, простиравшиеся и на восток (до Тувы и Якутии) и на запад, до берегов Балтики тогда еще единой советской державы, можно было убежать с великим успехом, и об искусстве *народов СССР*, не находившемся в фокусе московского внимания и не особенно интересовавшем среднестатистического советского (главным образом, русского) художника, писать всю (или почти всю) правду, руководствуясь собственным выбором, вкусом (иногда сильнейшим эмоциональным увлечением), искренним желанием добрым словом принести пользу доброму делу, удавалось нередко.

Так появилась моя первая трилогия из трех книжек, посвященных самым талантливым скульпторам трех прибалтийских республик – литовцу Юозасу Микенасу, латышу Карлису Земдеге и эстонцу Антону Старкопфу, а потом и монография *Индулис Заринь*. Великим счастьем для меня оказалось знакомство со спецкором газеты «Советская Литва» в Москве Яковом Иммануиловичем Левиным. Он сам меня нашел, позвонив мне, кажется, в 1963 году и предложив мне написать статью о проходившей тогда в Москве выставке литовской графики. С тех пор он обращался ко мне постоянно в связи со всеми смотрами литовского искусства в Москве, а со временем я сама стала предлагать ему свои темы, и цикл моих статей о литовском искусстве, опубликованных на протяжении четверти века в газете «Советская Литва» (после 1990 года – «Эхо

Литвы»), как я смею, может быть, нескромно, судить, является важной параллелью к истории литовского искусства с середины 1960-х до начала 1990-х годов – истории, тогда (да и потом) во всей ее полноте еще не написанной. Особенно я горжусь двумя своими статьями – о живописи Йонаса Шважаса (*Под красным небом – белые города*)⁷⁷ и о только что открывшемся монументе жертвам войны скульптора Гедиминаса Йокубониса и архитектора Витаутаса Чеканаускаса в Пирчюписе: моя статья была первым в печати профессиональным анализом этого художественного ансамбля и, появившись накануне решения вопроса о присуждении его авторам Ленинской премии⁷⁸, сыграла свою роль в положительном решении этого вопроса. В отличие от общесоветской (прежде всего российской) ситуации там, в Литве, художник никогда не терял своего достоинства, не опускался до роли заказчика самому себе хвалебных панегириков, сохранял уважительную дистанцию между собой и искусствоведам, прислушиваясь к сказанному, вчитываясь в написанное слово, но никогда не благодаря за похвалу и не гневаясь на критику. Законы групповщины там тоже не действовали, во всяком случае не парализовали искусствоведческую мысль. Достаточно вспомнить тот факт, что Константинас Богданас (мой старший друг, мой идеал, мой наставник, опираясь на руку которого я, вообще, вошла в искусствознание Литвы, опубликовав в литовской печати свои первые статьи в 1960 году, мой соавтор в создании книги *Искусство Литвы* – без его имени она, наверно, не увидела бы свет, и вообще, по каким-то параметрам в то время мой начальник – Секретарь Союза художников СССР, Председатель Правления Союза художников Литовской ССР) находился в очень сложных, далеко не дружеских отношениях с Гедиминасом Йокубонисом (кажется, еще в студенческой молодости какая-то кошка между ними пробежала, потом отчужденность и некоторая взаимная рев-

⁷⁷ Червонная С. *Под красным небом – белые города* // Советская Литва. 18.04.1965.

⁷⁸ Червонная С. *Гордость литовского искусства* // Советская Литва. 03.04.1963. Последующая публикация в журнале (Червонная С. *Монументальный ансамбль в Пирчюписе* // Декоративное искусство СССР. – 1963. – №6) была развитием положений, заложенных в газетной статье. Газета отнюдь не была информативной «однодневкой», она становилась серьезной трибуной искусствознания.

ность нарастали) и вряд ли в глубине души мог слишком радоваться тому, что первая в республике Ленинская премия будет присуждена его сопернику. Но ни единого слова, которое могло бы удержать меня от написания статьи во славу таланта Йокубониса, Константинас никогда не обронил, ни малейшего знака своего раздражения не обнаружил (какой контраст с тем же Харисом Якуповым, который, увидев на обложке моего альбома *Изобразительное искусство Татарской АССР* репродукцию не собственной картины, как он ожидал, а картины своего друга (!) Лотфуллы Фаттахова, воскликнул: «Зачем же Ты занимаешься популяризацией работ чужих людей!» – «чужих» нельзя, «своих» надо, независимо от качества этих работ). Ни Юозас Микенас, ни Константинас Богданас никогда не делили сокровища и ценности культуры своей страны на «свои» и «чужие», и никто не мешал мне писать о скульптуре Йокубониса (к «клану» Богданаса никак не принадлежавшего), и никто (в том числе сам Йокубонис) не заказывал статьи в собственную честь и не благодарил меня за то, что я пишу, как чувствую и думаю. Но это была Литва – совсем другая планета. А в России, даже уже совсем не советской, наивное представление художников о том, что искусствоведы должны им служить и писать то, что заказано (и так, как заказано), сохранялось еще на протяжении многих лет, да, наверно, и до сих пор не исчезло. Кажется, в 1993 году Зураб Церетели, на которого началась массированная атака художественной критики за московский памятник Петру Первому, вызвал меня к себе (он был уже Президентом Российской Академии художеств) и поручил написать «профессиональную» статью об этом памятнике. Я написала, мне кажется, вполне профессиональную, по своей тональности добрую и даже веселую статью, совершенно искренне возражая против необоснованных обвинений в адрес скульптора и его творения (помню, Алексей Комич даже договорился до того, что фигура Петра слишком высока для того, чтобы поместиться в предназначенной для нее ладье; я просила уважаемого оппонента обратить внимание на фигуру Меньшикова в известной картине Сурикова, настолько крупную, что если Меньшиков распрямится, он выбьет головой потолок, и напоминала ему о системе условностей, неизбежных в монументальном искусстве). Однако, прямых комплиментов в адрес скульптора и его творения в моей статье было все же маловато, Зурабу Церетели

она не понравилась, что означало не только то, что эта статья не была напечатана (кажется, газета «Советская культура» готова была напечатать любую статью, которую ей предложит Церетели, – мою он не предложил), но и некоторые печальные последствия для моей дальнейшей работы в Институте Академии художеств, в котором я уже не работаю. Еще спустя несколько лет я столкнулась с чем-то похожим уже на совсем ином уровне. Дочь художника Дмитрия Мощевитина попросила меня написать монографию о ее умершем отце. Я охотно и с большим интересом взялась за эту работу, поскольку творчество Мощевитина находилось на грани с казанской культурой начала XX века и там открывались очень интересные перспективы исследования не вполне состоявшегося казанского авангарда. Книгу я написала и даже издала ее за свой счет, поскольку у Надежды Дмитриевны после очередного кризиса советской валютной системы не было денег на ее издание. Но заказчик оказался не только не благодарным, а крайне обиженным на меня за это издание, поскольку в окончательном тексте остались те критические замечания и размышления о том, что погубило талант Мощевитина (и что навсегда развело его другом его молодости Чеботаревым), которые мне представлялись совершенно необходимыми, а с точки зрения Надежды Дмитриевны бросали какую-то тень на память о ее отце. Но это были уже последние отзвуки той советской (российской) системы, в которой художник выступал заказчиком, требовавшим от искусствоведа служить ему и прославлять его. Само слово «критика» в этой системе теряло всякий смысл и звучало разве что иронично. В такой системе я работала с самого начала, создав (только за период от моей первой публикации – в марте 1958 года – статьи о белорусской графике в минской центральной газете «Звезда» – до распада Советского Союза в декабре 1991 года) более трехсот опубликованных статей, заметок, альбомов, буклетов, разделов в коллективных сборниках и трудах, маленьких книжек и больших книг, и из этого числа, наверно, от половины сегодня я готова отречься, обнаруживая в них «дань времени» (непростительные компромиссы), но другой половиной все же горжусь.

ГЛАВА 10. АХ, ЛЕТО КРАСНОЕ...

Пушкинская строфа, которую я решила использовать в названии этой главы, имеет, как известно, продолжение: «...любил бы я тебя, когда б не зной, не пыль, не комары да мухи».

Никакие зной, пыль, комары и мухи мне не мешали. Летнюю пору я любила всю жизнь (может быть, потому, что сама родилась в июне?), каждую осень и зиму жила воспоминаниями о минувшем лете, каждую весну – ожиданием приближающегося лета. Лето, конечно, означало отъезд из Москвы, и представить себе год без такого летнего отдыха было просто немыслимо (можно было себе такое представить, но только как беду и наказание).

За всю свою постоянную жизнь в Москве (после возвращения из Туркмении в конце 1943 года и до отъезда из России в Польшу в начале 2004 года), то есть за шесть десятилетий я всего только один раз (в 1986 году) провела все лето в Москве (писала книгу, которой в связи с наступающими в стране переменами не суждено было увидеть свет) и вспоминаю об этом с ужасом.

Вырваться из Москвы на лесной, речной, морской – какой угодно простор было счастьем. Правда, не каждое лето оказывалось счастливым, и я без особого восторга вспоминаю те годы (за шестьдесят лет их было пять–шесть, не больше), когда лето пришлось провести в Подмоскovie, где мы снимали дачу (в 1944–1945 годах в Переделкино, в деревне рядом с Домом писателей; в 1950 году в совсем убогом поселке Крюково, где не было даже никакой речки, озера или пруда) или жили в Доме отдыха во Внуково (в 1947 и 1948 годах). Счастье начиналось там, где открывался доступ к воде, где можно было купаться. Ах, что там купаться – заплывать в чудесные морские дали, прыгать с моста или с мчащегося на полной скорости катера в воду, ходить – летать! – на водных лыжах, подниматься в небо и спускаться в воду на парашюте, опускаться с аквалангом на дно (школу подводного плавания я посещала в Болгарии), управлять яхтой (тоже болгарский подарок судьбы, Албена, яхтклуб, 1974 год, сертификат на право вождение яхты на всей акватории земного шара), крутить колеса катамаранов, владеть веслами лодок, байдарок, наслаждаться ледяной прохладой горных ручьев, а после распада СССР, с началом свободных

выездов за границу всей роскошью зарубежного туризма – соленым теплом неподвижного Мертвого моря, волнами Майами и Мексиканского залива, фантазией естественных и искусственных водопадов, гротов, trampлинов, извилистых гор, бурлящих вейрпулей-джаккузи, нежностью бассейнов с минеральной водой, сухим жаром финских саун, горячей влагой парных, температурными градациями турецких и римских бань. Лето должно было быть царством воды – сплошным гигантским акваландом, пронизанным солнечным светом. Разумеется, не все технические совершенства этого царства были известны с самого начала – многое приходило со временем, по мере расширения географического диапазона летних поездок и открытия новых чудес, но воду я любила всегда, даже в виде самого примитивного побережья, не украшенного ни мрамором ступеней, ни сверкающей мозаикой. Помню, как летом 1964 года, уже на последней дистанции мотоциклетного марафона (за несколько дней мы проехали более тысячи километров, прорезав насквозь и обогнув кругами Литву, Латвию, Эстонию), где-то за Даугавпилсом, в Латгалии, мы с Витасом остановились на берегу озера. Это был «дикий» берег, заросший высокой травой, и чистое озеро, в котором росли белоснежные лилии и желтые кувшинки. Каким же безмерным блаженством было погружение в его прохладные воды, и не нужно было никаких технических и архитектурных фантазий, ибо к этому высшему наслаждению уже нельзя было ничего добавить.

За свою долгую жизнь мне посчастливилось побывать на разных реках, морях и океанах, иногда раз в жизни, как, например, в хорватском Дубровнике или на знаменитом пляже Капакобана в Рио-де-Жанейро, иногда возвращаясь к любимому месту несколько раз, при этом сложилось несколько направлений таких частых, повторяющихся поездок. В хронологической последовательности их формирования это Крым, Рижское взморье, Паланга, Болгария, Волга, Турция, французская Ривьера (Канны, Ница), наконец, моя последняя любовь – Италия, остров Искья, Неаполитанский залив. Выберу для этой книги только три, сравнительно ранних сюжета.

Крым

В Крым я впервые попала вскоре после войны. Летом 1946 и 1948 года мы с мамой жили в Евпатории. Боже, какое это было убожество, буквально на каждом шагу и абсолютно во всем: плацкартные вагоны переполненных и медленных поездов; убогие комнаты, которые мы снимали в «частном секторе»; несъедобные обеды, которыми нас кормили в каком-то то ли санатории, то ли «доме отдыха матери и ребенка»; принудительное и суровое медицинское обслуживание, от которого и здоровый человек самому себе начинал казаться больным; огромное количество вокруг действительно больных детей, с нарушениями психики и двигательной системы, хромым и вовсе не ходячих. Весь «курорт» был чем-то вроде огромной больничной палаты. В нем царил странное сочетание чудовищной тесноты и глухой пустоты. Приезжих, в том числе «дикарей» было страшно много; ни одного уголка жилплощади, свободной от квартирантов, кажется, не было; за всем, в чем только была нужда, выстраивались очереди; буквально, как селедками в бочке, было набито голыми телами (отвратительными!) небольшое пространство в тени, под тентом, на женском пляже. В то же время город казался мертвым, пустым; не помню, чтобы звучала на его улицах музыка, чтобы показывали по вечерам кино, чтобы, вообще, происходило что-то интересное. Даже море не приносило настоящего облегчения, возможно, потому, что мама, напуганная печальным опытом моей болезни в Анапе, теперь не только не покупала мне никакого мороженого, но ограничивала до минимума минуты моего пребывания на солнце и в море; вместо полноценных купаний я почему-то принимала ванны с морской водой в какой-то грязноватой лечебнице. Ощущение грязноватости и неопрятности было на каждом шагу. Теперь я знаю, что в те годы Евпатория была богата еще не совсем уничтоженными памятниками татарской архитектуры, где-то стояла божественная Ханская мечеть, построенная великим Синаном, где-то оставались руины Теккие дервишей, но мы ничего этого не видели. В местном краеведческом музее висели только фотографии (фотомонтажи – подделки), изображавшие зверства фашистов в оккупированном в годы войны Крыму. Десятилетним подростком я уже знала, что из Крыма были выселены все крымские татары, греки, болгары и армяне. Трагедия этого выселения не вполне доходила до моего сознания. В то время

это сознание как раз переживало болезненную ломку, было подвержено сильнейшему влиянию пионерско-комсомольско-коммунистической пропаганды, и это еще великое счастье, что я не впадала в патриотический фанатизм и не испытывала ненависти к «врагам народа». Отсутствие татар и греков я скорее воспринимала как еще один недостаток евпаторийской действительности, что объяснялось отчасти сугубо прагматическими причинами (мы с мамой помнили, что в Анапе в 1941 году была некая гречанка, которая готовила мне прекрасную еду, чаще всего с куриным бульоном и мясом, заменявшую несъедобные обеды в санатории, а теперь никакой ни гречанки, ни татарки, умеющей вкусно готовить, в Евпатории было не найти), отчасти все-таки чисто романтическими мотивами (в десять лет я больше всего увлекалась географией, и мне сильно нравился некий смутный Восток, настоянный на воспоминаниях о Туркмении, а какой же мог быть Восток без татар и даже без греков). Единственно, что оставалось тогда в Крыму от прежнего татарского рая – это обилие фруктов, которые тогда еще сохраняли всю нежность, сочность и сладость плодов, бережно выращенных в татарских садах, на бахчах и в виноградниках. Когда я вернулась в Крым после долгого перерыва в 1960-х годах, от них уже почти ничего не осталось, «русский Крым» всё умудрился разрушить, привести к знаменателю убогого стандарта, унылой, бездарной серости.

Да, я вернулась в Крым в июле 1963 года, и хотя не было в нем ни татар, еще томившихся в своей среднеазиатской ссылке, ни памяти об их наследии и культуре, ни мусульманского очарования, ни журчания бахчисарайских фонтанов, но эта вторая в моей жизни встреча с Крымом была все-таки совершенно иной, никак не лишенной радости. Конечно, дело было в том, что я сама изменилась, превратившись из ребенка, абсолютно зависимого от воли взрослых, в самостоятельного человека, к тому же переживавшего в тот период (27 лет!) чудесную пору расцвета и молодости, и женской зрелости, и любви, и физических сил. Но ведь и Крым изменился. Украинский Крым был чище и достойнее, богаче и веселее того убогого послевоенного русского Крыма, каким он был в 1946–1948 годах. Правда, украинская речь, которая звучала по радио и телевидению, внося какую-то неожиданную нарядность даже в лексику официаль-

ной пропаганды, еще не меняла его культурного слоя, сформированного несколькими поколениями переселенцев из разных областей России, включая подневольные массы советских колхозников и привилегированные круги разного рода бывших и остававшихся «в строю» силовиков, ветеранов, кагэбистов, советских и партийных «аппаратчиков». Крым оставался «всесоюзной здравницей», но эта здравница имела и свои привлекательные стороны. Мы с Юликом жили в Гурзуфе в новом, только что построенном корпусе Дома творчества художников имени Коровина, что давало нам свободный вход в парк (и великолепный кинотеатр) санатория Министерства обороны, а также имели пропуск (не смогу описать, какими правдами и неправдами полученный, в каких битвах завоеванный) в Международный молодежный лагерь «Спутник», где проводили все дни на пляже и все длившиеся до глубокой звездной ночи вечера на высотной танцплощадке, с упоением погружаясь в вакханалию только что ворвавшегося в советское пространство твиста. Три года (три лета) длилось это упоительное блаженство. С балкона нашей комнаты открывался волшебный вид на морской залив, сверкавший в лучах солнечного света. Сегодня, исходя из представлений о настоящем, высоком комфорте, обеспеченном уровнем многозвездочных отелей мировых курортов, я могу, конечно, со снисходительной улыбкой смотреть на Гурзуф 1960-х годов, но тогда условия жизни нам казались просто сказочными. Мы не замечали мелких неудобств, не обращали внимания на то, что в номере нет «своего» душа и туалета, что полотенца меняют не каждый день и даже не каждую неделю, нас вполне устраивала коридорная система, мы легко взлетали по лестнице на четвертый этаж (и радовались, если комнату давали на четвертом этаже: чем выше, тем лучше был вид на море), нам казалось прекрасным то питание, какое мы получали в столовой (в столовую сначала надо было ходить по набережной – в старый, первый корпус Дома творчества художников, потом построили для нее новый блок, вплотную примыкающий ко второму корпусу), и питание там, действительно, было очень хорошим; во многом это определялось стараниями Заиры Ибрагимовны – заведующей этим блоком питания, между прочим, едва ли не единственной крымской татарки, которой к тому времени удалось вернуться в Крым, но надо сказать, что и в других Домах творчества Союза художников СССР и Союза художников

РСФСР, где мне довелось жить, например, на Рижском взморье в Дзинтари, в Литве – в Паланге, на Сенеже, в Челюскинской, продовольственное снабжение и кухня были замечательными от начала и до самого конца существования этой системы «домов творчества».

В Гурзуфе мне довелось пережить и расцвет этой системы, и ее крах. В нашем Доме творчества имени Коровина была прекрасно оборудованная медицинская часть; врачи и медсестры, которые там работали, казались такими милыми, доброжелательными; совершенно бесплатно можно было пользоваться массажами и другими процедурами, которые по нынешним временам в дорогих отелях стоят колоссальные деньги. Как только рухнул Советский Союз, Дом творчества передали на баланс Художественного Фонда Украины, но настоящего хозяина фактически не стало. В Крыму творился полный бандитский беспредел. Наши милые медсестры разворовали все медицинское оборудование, старшая сестра Наташа даже не стеснялась торговать на набережной лекарствами, украденными из аптеки Дома творчества. Последний раз я жила в этом чудовищно обедневшем, буквально на глазах превращающимся в руину Доме творчества летом 1998 года (вместе с Максимом, которому было тогда 10 лет). Только море оставалось прежним – изумительный вид на море с балкона комнаты на четвертом этаже. Гурзуфский рай, созданный для художников, навсегда остался в прошлом – в 1960-х, 1970-х, 1980-х годах.

Впрочем, мой гурзуфский рай этих десятилетий никогда не ограничивался тем, что давала путевка (сама по себе дешевая, но всегда добытая с большим трудом) в Дом творчества имени Коровина. Рядом с ним находился Международный молодежный лагерь «Спутник», и именно там было сосредоточено все, что представляло для меня наивысшую ценность. Сначала он был, действительно, международным, чем-то вроде постоянного продолжения Фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Там отдыхали довольно большими группами немцы, поляки (один раз руководителем такой группы оказался мой университетский друг Юрек Рыбак, это была совершенно потрясающая встреча и сплошной упоительный праздник, длившийся пару недель), и их присутствие создавало не только возможность (слава Богу, языкового барьера не было) общения с «иностранцами», к чему я, как и многие мои

сверстники, как значительная часть советской молодежи, не имевшая еще возможности выездов за рубеж, постоянно стремились. Их присутствие создавало в «Спутнике» ту желанную атмосферу, которой практически не было больше нигде. Во всем Гурзуфе не было ни одного настоящего ресторана, ни одного ночного или хотя бы вечернего бара, до начала 1980-х годов ни одной танцплощадки (городскую танцплощадку построили недалеко от нашего второго корпуса Дома творчества имени Коровина, но туда я никогда не ходила, а танцплощадка в «Спутнике» – это было блаженство). В «Спутнике» был и бар, где подавали коктейли и даже чистое шампанское, в «Спутнике» была сауна с душем (вещь изумительная!), но самое главное – в «Спутнике» был (и оставался чуть ли не до самого конца, когда уже никаких иностранцев здесь не было) причал с катером, лодками, катамаранами, с водными лыжами.

Впервые на водные лыжи нас с Юликом поставил летом 1967 года инструктор физкультуры гурзуфского лагеря «Спутник» Петр Андреевич. Тогда здесь еще никто не знал, как с этими чудесными лыжами, которые поступили в лагерь, обращаться. Петя сам придумал хитроумную схему: в море выходили и шли параллельно друг другу два катера, на одном был укреплен фал, перекинутый на соседний катер, на борту которого мы одевали лыжи и, вцепившись руками в фал, с помощью Пети ставили в узкое водное пространство между катерами сначала одну, потом вторую ногу, и если нам удавалось удержаться на этой скорости, первый катер резко уходил в сторону от того, с какого мы стартовали, и мы летели за ним. Вставать на лыжи из воды мы еще не умели, не знали, что это гораздо проще. Как бы то ни было, чудо впервые свершилось, и с той поры... С той поры – в течение доброй четверти века – жизнь, вообще, имела смысл лишь постольку, поскольку ты можешь встать на водные лыжи и полететь за катером в морскую даль.

В 80-е годы у меня были уже собственные водные лыжи (любимые, синие, деревянные), которые я привозила с собой в Гурзуф из Москвы (хранила в «Спутнике»), и чего же я только на них ни творила под восхищение всей набережной, всего персонала Дома творчества, наблюдавшего за мной из окон и с балконов, и нескольких пляжей, мимо которых я пролетала, радостно им салютуя одной рукой. Правда, высшую школу пилотажа в воднолыжном

спорте я прошла не в Гурзуфе, а в 70-х годах на Волге, где отважный мальчик Валера, управлявший катером, не то чтобы научил, а просто заставил меня совершать головокружительные прыжки с водных трамплинов, а также в Болгарии, в Золотых Песках, где меня звали «Miss Wasserskie». Однажды в почти штормовую погоду Румен, руководивший базой воднолыжного и парашютного спорта в Золотых Песках, решил устроить для всего пляжа развлечение: вывел катер и предложил желающим встать на водные лыжи; пробовали многие – крепкие молодые парни, сильные мужчины, тренированные спортсмены; все падали в воду уже на старте под смех и свист всего пляжа; я единственная удержалась на тех высоких волнах в том бешеном темпе, который Румен взял нарочно, бросая катер то вправо, то влево и надеясь сбросить лыжника в воду; все, кто был вокруг, в воде и на берегу, наблюдая за этой сценой, уже приготовившись смеяться и свистеть, ибо устоять на лыжах было практически невозможно, – стали мне аплодировать и кричать «Браво!». Такие минуты не забываются.

В Гурзуфе тоже хватало прекрасных минут, и были это даже не минуты, а часы, проведенные на водных лыжах. Петр Андреевич в «Спутнике» уже не работал, но по стечению обстоятельств капитана катера здесь в 80-х годах тоже звали Петей, и куда только мы с этим Петей не залетали: и в «Артек», и в правительственный санаторий Ай-Даниль, и в проливы между А-Доларами, совершая там стремительные петли, и просто в дальнее море, обгоняя катера и «ракеты» с туристами.

Все кончилось в 90-х годах. Петя уехал из Гурзуфа куда-то в Днепропетровск (что там с ним стало?). Весь крымский гражданский флот замер без горючего. Синие потрескавшиеся лыжи остались в старой московской квартире на Кастанаевской улице.

Рижское взморье

Вторым, противоположным Крыму направлением моих летних (многолетних) поездок стало Рижское взморье (Юрмала), поселок Дзинтари. Впервые мы с мамой оказались там летом 1949 года по приглашению моей школьной подруги, одноклассницы Милки Шуляк. Милка, конечно, никаких полномочий делать подобные приглашения не имела (ей, как и мне, было в ту пору 13 лет), но она

была главным инициатором нашего приезда к ним на дачу, поскольку провести лето со мной казалось ей интереснее, чем скучать одной в новом незнакомом месте или делить это летнее одиночество с младшим братом Шуриком, который находился в ужасной подростковой стадии «скверного мальчика» (за нами потом все лето шпионил, устраивал всякие скандалы-провокации с доносами родителям, обидно дразнил, в общем, не дай Бог иметь такого братишку). О поездке и ее условиях договорились наши мамы, причем за этими условиями стояла такая сложная цепочка связей, что человек, не знающий реалий латвийской жизни конца сороковых годов, наверно, и понять не сможет, как это все было устроено. Считалось, что мы едем в гости, хотя на самом деле мы снимали на этой даче маленькую комнатку (кажется, даже кроватей в ней не было), причем снимали не у семьи Шуляк, которой эта дача формально не принадлежала, а у жены подчиненного Милкиного отца Яниса. Никакого права сдавать комнаты ни Янис, ни его русская жена Тоня не имели, поэтому денежные расчеты должны были храниться в строгой тайне, и вовсе не из нежелания «хозяев» платить налоги (тогда такой проблемы не было), а из-за того, что хозяев, имеющих право распоряжаться жилплощадью, у этой дачи практически не было. Она была конфискована у неизвестной нам, возможно, недавно высланной, возможно, успевшей бежать (эмигрировать) латышской семьи (остались детские игрушки, даже книги на русском языке, изданные в «досоветской» Латвии, которые мы с Милкой, обнаружив их на чердаке, читали запоем). Вся эта прекрасная дача (двухэтажный красивый деревянный коттедж) с большим садовым участком, с соснами, с детскими аттракционами, которых мы в своей жизни прежде никогда не видали, стала ведомственной территорией Комитета госбезопасности, и Милкин отец Сергей Шуляк, который в этом комитете в довольно высоком чине служил (кажется, был полковником), приезжал сюда из Москвы как в свою вотчину, а офицеры КГБ Латвийской ССР, его здесь встречавшие, находились в его полном подчинении. Двое из них, в том числе рыжий высокий Янис с женой Тоней, которая сдавала нам комнату, жили на этой даче постоянно. Днем Шуляк и его подчиненные уезжали и чем уж там занимались в Риге или не только в Риге, нам знать не полагалось. Возвращались они поздно, возбужденные, раз-

горяченные, и до глубокой ночи в саду за столом, освещенным яркой электрической лампой, продолжались их «совещания» – обильные ужины, приготовленные женами, обильные возлияния, бурные обсуждения загадочных событий, сопровождаемые взрывами довольного смеха или яростной брани.

У нас с Милкой была в это лето своя жизнь. Мы впервые открывали Латвию, как страну, совершенно не похожую на Россию, мы, можно сказать, окунались в атмосферу «заграницы», потому что неистребимая «заграница» еще ощущалась на каждом шагу – в книгах, которые мы читали, в фотографиях, оставшихся в витринах чудом уцелевших фотоателье, в готической архитектуре старой Риги, в богослужениях в Домском соборе, которые мы тайком посещали, не понимая еще ни единого слова, но ощущая магию иной веры и церкви. Неприветливость латышей (уличных прохожих, не отвечавших на наши вопросы) нас пугала, но и эта суровость была частью загадочной и притягательной «заграницы». Вечерами, прислушиваясь к цокоту лошадиных копыт (конные патрули совершали объезд поселка), к долетавшим до нашего сада одиночным крикам, свисту и даже выстрелам, мы ощущали тревожную романтику и какую-то поразительно близкую опасность. В Латвии шел 1949 год, и черная тень этого времени подступала к нам почти вплотную, хотя мы еще ни о чем не знали, еще ни в чем не разбирались, оставались в плену своих пионерских примитивов, да и в силу своего семейного и социального положения (живя на такой даче!) находились в лагере «победителей», а не побежденных.

Второй урок, открывший контрасты между этими мирами («лагерями»), мне довелось освоить (пожалуй, скорее ощутить эмоционально, нежели понять по-настоящему) на Рижском взморье, куда мы второй раз приехали с мамой летом 1951 года. Мы снова жили в Дзинтари, но уже не на той даче, а в Доме творчества художников, куда папа достал нам путевки. Директором этого Дома была Юдифь Герасимовна Долгицер – умнейшая и красивая женщина, которую боготворил ее муж Константин Израэлевич. С их дочкой Дорой мы были ровесницы и подружились на многие годы вперед, хотя это была не совсем обычная дружба: во-первых, прерывистая (мы дружили летом и почти забывали друг о друге потом на целый год, даже не переписывались), во-вторых, сотканная из множества несогласий друг с другом по многим вопросам. Для Доры семья

была высшей ценностью и авторитет родителей нерушимым, а я, строптивая, непослушная, была совсем не такая. Дора вся целиком, до кончиков своих пушистых ресниц, до крутых локонов своих золотисто-каштановых, стремительно темнеющих с возрастом волос, принадлежала еврейскому миру, о существовании которого в нашей стране я до встречи с ней даже не подозревала. Я и в Москве знала многих евреев, в том числе близких друзей нашей семьи, а также учителей и товарищей по своей и соседним школам, по нашему двору, но это совсем не был тот еврейский мир, в котором жила Дора, в котором все зависело от кровных, национальных связей и за жестким границами которого оставались все, кто к нему не принадлежал. Когда ее старший брат Гарик встретил и полюбил русскую девушку Тамару, отдохавшую в том же Доме творчества в 1952 году, это была настоящая трагедия, развернувшаяся на наших глазах: он безумно ее любил, но знал, что никогда не сможет жениться на русской, и они расстались навсегда. Еврейская солидарность, еврейская кровная «побратимость», немыслимость «кровосмешательства» в смешанных браках, обязанность всегда и во всем помогать «своим» и убеждение, что все не-евреи («изгои») – даже, если среди них встречаются милые девушки и юноши, с которыми можно дружить и в которых можно влюбляться, – всегда остаются чужими, были непреложными законами того мира, в котором жила Дора Долгицер. Но я здесь отвлеклась в сторону, потому что хотела рассказать о другом – о пропасти между нашим («советским») миром, к которому принадлежали и все отдыхающие Дома творчества в Дзинтари, и все, кто руководил этим Домом (тут уж независимо от национальных различий), с одной стороны, и той поверженной в 1940 году Латвией, о которой мы практически ничего не знали. Вернее, знали то, что полагалось знать из учебников истории, из лозунгов советской пропаганды (я даже латышский язык начинала учить со слов «Uz Lenina karoga, uz Stalina vadiba, uz priekšu, uz komunuzmi uzvaru / Под знаменем Ленина, под водительством Сталина вперед к победе коммунизма!», начертанных на красном полотнище над сценой летнего театра-филармонии) да еще, как я уже писала, смутно чувствовали, ощущая «дух места», но незабываемое и наглядное воплощение этот контраст между «мы» и «они» («они» – латыши, но не все латыши, поскольку мно-

гие латыши были такие же, как «мы», «советские» люди – и подростки из нашего интернационального «детского сада», и милые, приветливые официантки Дома творчества, и «заслуженные» рижские художники, отдыхавшие здесь почти на таких же правах, как московские гости, ну, может быть, по сравнению с москвичами и ленинградцами все-таки гости «второго сорта», но вполне к нам лояльные, не «враги») воплотился в фигуре садовника нашего Дома творчества. Этот садовник (мы все это знали от Доры) был прежним владельцем того двухэтажного особняка, который стал главным зданием-столовой, а также владельцем всей просторной, заросшей соснами территории Дома творчества и разбросанных по ней деревянных коттеджей. С приходом советской власти все это у него отняли, а его самого сослали в Сибирь. Была ли у него семья и что стало с его семьей, неизвестно, но сам он в сибирской ссылке выжил и вернулся в Латвию с какой-то первой волной то ли амнистированных, то ли условно освобожденных «спецпереселенцев». Юдифь Герасимовна Долгицер приняла его на работу садовником в его же бывшем собственном имении, превращенном во всесоюзный Дом творчества. О том, насколько мужественным и гуманным было решение, принятое директором, можно себе представить только в контексте того жуткого сталинского времени – начала 1950-х годов. Так или иначе бывший домовладелец, нынешний садовник, вернувшийся из ссылки латыш появился в том пространстве, в котором мы жили в Дзинтари. Мы, дети, подростки, с ним практически не общались, к нему не обращались, имени и фамилии его не знали, кажется, полагали, что он и по-русски не понимает, и ни одного слова от него не слышали. Но мы его помним. Пишу не «я помню» (я-то помню отлично), но думаю, что имею право говорить от имени всех, кто еще жив из той нашей детской и молодежной компании (недавно мне довелось разыскать в Минске Наташу Селиханову, и вместе вспоминая Дзинтари, мы прежде всего вспомнили этого садовника). Насколько помню, он всегда стоял на коленях около какой-нибудь клумбы, грядки, над каким-то кусочком земли (его земли!), старательно приводя в порядок все, что было разрушено, запущено или как-то неправильно сделано. Он всегда был здесь, работал с утра и до ночи, всегда молчал, но его взгляд (о, какой взгляд!) мы иногда на себе ловили, особенно когда

дурили, шалили, безобразничали, заливались хохотом, болтали какие-то глупости, играли, где нам вздумается, не спрашивая, можно или нельзя. С помощью Доры мы завладели всем игровым инвентарем, который в Доме творчества оставался с тех времен, когда садовник был хозяином этого дома, в частности, мячиками, клюшками и металлическим «воротами» для гольфа и с восторгом, хотя, наверно, не по правилам и неумело, играли в эту аристократическую игру (в московских дворах и подворотнях дети не знали, что такое гольф), сопровождая свои упражнения победными возгласами на русском языке (или на чистом русском, или на русском с еврейским акцентом, или на том полу-белорусском жаргоне, на каком говорил, например, Генка Тиханович, называвший своих родителей «маханша» и «паханша»). Садовник изредка в нашу сторону поглядывал, не говоря ни слова, и я понимаю теперь, – а чувствовала уже тогда, будучи не очень умным и не очень чутким подростком, – какая яростная смесь презрения и ненависти, национальной, классовой и глубоко личной ненависти к «чужим», пылала в его душе. Не знаю, дожил ли он до восстановления независимости Латвии, вернули ли ему его дом и земельный участок на правах реституции (вряд ли, в начале 1950-х годов он казался нам уже старым человеком, хотя, может быть, старым вовсе и не был), но так или иначе, правда, без единого слова, но тем не менее весьма чувствительно я уже в школьные годы соприкоснулась с «другой» Латвией, поверженной, ограбленной, буквально поставленной на колени, но ничего нам не простившей, не желавшей жить под «знаменем Ленина и водительством Сталина», хранившей в душе великую силу ненависти, презрения к захватчикам и способность к сопротивлению.

Прошло еще четыре десятилетия, когда наступило иное время, и за свободу и независимость этой Латвии (этой, несоветской Эстонии и Литвы) я уже сознательно выходила на московские митинги и демонстрации. Помню, в марте 1990 года несла через всю Москву самодельный плакат «Руки прочь от Литвы!», замирая от страха, что налетят омоновцы или «дружинники», плакат порвут, меня в землю втопчут, боялась страшно, но шла упорно, до самого конца демонстрации, до Красной площади, в одном ряду с тысячами таких же, как я, москвичей, которые самоотверженно поднялись тогда за «чужую» правду, за «чужое» дело и, может быть, только в самом конце, на донышке, не только за «вашу», но и за

«нашу» свободу. С государственным отделением Прибалтики от Советского Союза, от России, мы в начале 1990-х годов ничего не приобретали, а теряли страшно много – и в чисто материальном, прагматическом плане (уже перестали быть «нашими», доступными нам прекрасные Дома творчества в Дзинтари и Паланге), и в моральном измерении, ибо наши лучшие и важнейшие союзники – Народные депутаты от Литвы, Латвии и Эстонии – уходили из Совета Народных депутатов, из Верховного Совета СССР, из той Межрегиональной группы, которая держалась на авторитете и решимости балтийских делегаций, и все в России постепенно начинало лететь в ту бездну, которая ныне увенчана Государственной Думой, Советом Федерации и администрацией Президента в их нынешнем черносотенном составе. Да, теряя Прибалтику, мы нанесли удар сами себе, но это было необходимое и священное искупление грехов всех нас, ведавших и не ведавших, что творим, подбрасывавших хворост в костер советско-коммунистической инквизиции, в котором горела прибалтийская земля с июня 1940 года. Я уже ребенком, подростком, молодой девушкой, была причастна к этим грехам хотя бы своим наглым присутствием (каждое лето, каждое лето!) сначала на Рижском взморье, затем в Паланге, осквернением этой прекрасной земли своим своим непрошеным присутствием.

Хорошо, что сегодня я это понимаю.

Но никакое понимание, никакие умозаключения холодного рассудка не могут истребить память о волшебном очаровании тех лет (двух летних месяцев в каждом году), которые я провела в Дзинтари (в 1951–1957 годах) и в Паланге (в конце 1950-х и в 1960-х годах).

Как же это было все вокруг прекрасно – море, золотой пляж, песчаные дюны, сосновые рощи, россыпи лесной черники рядом с нашим Домом творчества в Дзинтари прямо за забором, за калиткой, откуда тропинка вела на станцию. Кусты акации, жасмина и черемухи в нашем саду, наверно сбереженные руками того самого садовника. В этих светлых цветущих зарослях я впервые встретила 6 июля 1951 года Милочку Федотову – мою ленинградскую сверстницу, дружба с которой окрасила не только все сверкающее лето этого года, ни и позднее – уже на расстоянии, в письмах, – время, когда мы учились в 9-м и 10-м классах и поверяли друг другу свои

сердечные тайны. Еще там, в Дзинтари, была деревянная, празднично раскрашенная, православная церковь, окруженная зарослями боярышника. По чистым гравийным дорожкам, ведущим от калитки к притвору этой церкви, десятки раз я прошла свой путь поисков Бога (еще раньше, кажется, в шестом классе я нашла подобную дорожку в Москве – к церкви в Большом Афанасьевском переулке). Но ни в Москве, ни в Дзинтари встречи с православным Богом как-то не состоялось, или она была слишком краткой, мимолетной, и что-то мешало мне принять декорации аккуратной церквушки за истинный храм (позднее, на первых курсах Университета я в третий и последний раз искала православного Бога в Троице-Сергиевской Лавре, куда мы ездили с моим однокурсником и будущим мужем Николаем Григоровичем и в пасхальную ночь, и в другие праздничные и будничные дни, но увлечение романтикой неведомой, полузапрещенной монастырской и церковной жизни не удавалось переплавить в истинную веру). Зато в Дзинтари состоялась другая встреча, отнюдь не божественная, но на всю мою духовную жизнь повлиявшая сильно и, я бы сказала, навсегда. Это была встреча с Александром Вертинским, который в те годы тоже каждое лето отдыхал с семьей в Дзинтари (снимал дачу) и несколько раз выступал на сцене местной филармонии под тем самым кумачовым лозунгом о победе коммунизма, о котором я уже вспоминала. Я не знаю, был ли у Вертинского на всем Земном шаре такой понимающий, такой бесконечно влюбленный в его музыку и поэзию слушатель и зритель, каким была я в свои 15–16 лет. Это не было поверхностное увлечение. Это было открытие богатейшего мира литературы «серебряного века» – открытие, к которому я была подготовлена и школьным, и внешкольным образованием, и тем, что можно назвать «состоянием души», но состоялось это открытие именно на концертах Вертинского. Я так умела ценить всю недосказанность, многозначность, метафоричность и метаморфозную, ускользающую сущность поэтических образов, слов, я так отзывалась – вот уж буквально всеми фибрами души – на каждую печальную, ироническую, нежную, горькую интонацию, звучавшую в его исполнении, я так тонко понимала всю выразительность его мимики, пластики его движений (о, эти взлетающие в надежде и падающие в отчаянии руки!), что каждый его концерт был переворотом в моем сознании, спасительным якорем легкого неверия,

брошенным в пространстве жестоких и категорических, однозначных императивов. Потом я старалась не упустить ни одного выступления Вертинского в Москве, где, к сожалению, выступать ему приходилось нечасто, но моя встреча с ним состоялась в Дзинтари, и это тоже неотъемлемая часть той летней роскоши, которую дарило Рижское взморье.

Рижское взморье дарило нам какое-то совершенно невероятное, волшебное очарование звездных ночей. До сих пор не понимаю, в чем тут дело: то ли я на небо не смотрела в других краях (совершенно не помню звезд над Крымом, над Москвой, над подмосковными деревушками); то ли местные власти экономили на электрическом освещении, и над темными приморскими поселками звезды по вечерам, особенно в августе, так ярко светили; то ли все дело снова было в том самом «состоянии души», когда предчувствие любви еще заменяет настоящую любовь, тайна неразгаданности висит над миром, спрятавшим свою прозаичность, и лучшим аккомпанементом к такому состоянию становится музыка видимых или только воображаемых, очень далеких звезд.

В одну из таких августовских звездных ночей произошла моя первая встреча с Наташей Селихановой. Она моложе меня, кажется, на три или четыре года, и если в том августе 1951 года мне было уже 15, то ей только 11 лет. Ее уложили спать, но, видимо, она услышала голоса за окном (или, согласно более романтической версии, уловила зов звездного света), в общем, проснулась и немедленно, поскольку ни секунды промедления пережить было просто невозможно, не обувшись и не переодевшись, босая, в белой ночной рубашке, сияющая от радости, выскочила в наш сад. Такой я запомнила ее на всю жизнь, а наша жизнь со встречами в Москве и в Минске была еще долгой и, я бы сказала, неординарной. Достаточно вспомнить почти фантазмагорический эпизод нашей встречи в 2015 году после сорокалетнего перерыва. Я уже жила в Польше, полетела в Минск на Белорусский научный конгресс и «в составе польской делегации» (не помню, кто, кроме меня был в составе этой делегации) посетила мемориальный Музей скульптора Азгура. Я очень спешила, потому что непременно хотела в этот день разыскать Наташу; общие знакомые – белорусы – обещали мне в этом помочь, уже звонили ее сыну Константину, чтобы через него

нас связать. Скульптура Азгура меня, естественно, не интересовала, все мои мысли были заняты будущей встречей с Наташей, я ходила по музею, глядя в пол и, кажется, не поднимая глаз, и совершенно не обращала внимания на светловолосую даму, которая была хозяйкой этого музея, любезно нас (иностранцев!) принимала, ко мне лично, какой-то там польке, внимательно не присматривалась. Когда мы, наконец, ушли из музея и созвонились с Константином, он сказал, что его мама, Наталья Сергеевна Селиханова, работает в музее Азгура и сейчас находится в этом музее. Это была, действительно, потрясающая встреча, когда я вернулась в музей и мы с Наташей бросились друг другу на шею, и она кричала: «А как я могла даже подумать, что ты окажешься в составе польской делегации!», а я кричала: «Я на тебя, вообще, и глаз не поднимала, я спешила к своей Наташе и только думала, как бы поскорее из этого музея уйти!». Вот так, немножко по Лермонтову: «...наступило за гробом свиданье, но в жизни загробной друг друга они не узнали», с той только поправкой, что это была все же не совсем загробная, а вполне реальная жизнь, только было мне и Наташе уже не 15 и 11 лет, как при первой встрече, а почти 79 и 75 лет со всеми вытекающими из этого физическими последствиями. Но эту смешную историю я вспомнила так, между прочим. У нас с Наташей, вообще, почему-то много было комических эпизодов. Один из них пришелся, кажется, на следующий август, 1952 года, когда мы, соответственно повзрослевшие, но из-под родительской опеки еще не освободившиеся, отправились на танцплощадку, устроенную в Дзинтари около здания филармонии. Разумеется, отправились мы туда не легально, а сбежав от наших родительниц – от моей и от ее мамы, которые ни за что своих девочек в этот джазовый «вертеп», конечно, бы непустили. Уж не помню, как мы провели время на этой танцплощадке (вероятно, без особых успехов, потому что с нами, малолетками, взрослые ребята не хотели связываться и танцевать), но на танцующих посмотрели, музыку послушали, по большому глотку звездной романтики схватили и, наконец, очень поздно, может быть, даже в полночь, вернулись в наш Дом творчества с печальным пониманием того, что в такую изумительную ночь придется расходиться по домам, где спят наши мамы. Но наши мамы не спали, а в полной боевой готовности (хотя и в до-

машних тапочках и халатах) стояли на освещенной аллее у главного корпуса. Диалог, вернее, два задумчивых монолога, которые они произнесли при нашем появлении (и при нашем полном молчании), я помню до сих пор слово в слово. Моя мама взволнованно и осуждающе сказала, имея в виду танцплощадку: «Это же публичное заведение, туда одних матросов 50 штук пошло!» (они, оказывается, бросились к танцплощадке, но их, в ночных халатах и тапочках, туда не пустили, так что им пришлось ограничиться подсчетом проходящих мимо матросов, возможно, им померещившихся, поскольку мы с Наташей на танцплощадке никаких матросов не видели). Наташина мама перешла от абстрактных оценок танцплощадки к более практическим выводам и медленно сказала, имея в виду свою дочь: «А эту гадину я сегодня всю ночь буду бить» (это она-то, никогда руки на Наташу не поднявшая!). Выслушав обе эти сентенции без единого слова, мы с Наташей посмотрели друг на друга и мгновенно ринулись прочь, растворившись в ночной темноте нашего чудесного сада. Ждать нас нашим встревоженным мамам предстояло еще несколько часов до самого рассвета. А мы – мы ничего не делали, у нас не было никаких грешных поступков, не было даже знакомых мальчиков, мы слушали шум сосен, мы блуждали среди деревьев и темных кустарников нашего сада, мы летели неизвестно куда по пустой и блестящей улице, ведущей от станции к морю, мы пили мерцающий звездный свет, мы жили предчувствием будущего счастья, будущей любви, будущей юности, ведь даже настоящая юность в нашей жизни тогда еще не наступила. Все это было частью чудесного лета на Рижском взморье – волшебного лета, которое длилось не один год. Ничего этого больше нет – ни тех девочек, ни того Дома творчества в Дзинтари, ни той убогой танцплощадки с матросами (или без матросов) неизвестного флота, ни той Латвии, перевязанной транспарантами из красного кумача, кричавшими «Вперед, к победе коммунизма!». О чем жалеть?

Эстония, прозрачная и туманная

Эстонию я открыла для себя сразу после Латвии, на полгода раньше, чем Литву. И случилось это не летом, когда обычно доводилось «открывать» новые земли, а зимой, в начале 1958 года, на Всесоюзной выставке, посвященной 50-летию Октябрьской революции в Манеже, где на последнем университетском курсе мы проходили свою студенческую практику в роли экскурсоводов. Открытие это, состоявшееся в январе (знакомство с делегацией эстонских художников в Манеже, которую возглавлял Юло Тедер; зимние каникулы – последние университетские каникулы, которые я провела в Таллине и Тарту) и продолжавшееся еще несколько лет (наверно, до середины 1960-х годов, когда я из числа своих увлечений Эстонию вычеркнула), было, как я теперь понимаю, поразительно неадекватным по отношению к истинным ценностям эстонской культуры тех лет. Солженицын, кажется, писал, что ему не довелось в жизни встретить плохих эстонцев. Мне, к сожалению, напротив, «везло» на встречи с «плохими» эстонцами (мелочными, трусливыми, завистливыми) и людьми, считавшими себя представителями и лидерами эстонской культуры: кажется, все эстонское искусствознание сводилось к личностям Бориса Бернштейна и Лео Генса, присвоивших себе монопольные права в этой области, и несколькими дамам от журналистики, более следившим за своими прическами и маникюром, нежели за ходом своих довольно коротких мыслей; конечно, совершенно особое место в этом кругу занимал профессор Вальдемар Вага, мне довелось гостить в его доме-особняке в Тарту в феврале 1958 года и потом еще несколько раз бывать в начале 1960-х годов, это был чудом уцелевший осколок «старой» Эстонии, но и Вага тогда был не просто осторожен, а буквально парализован каким-то вечным, «подкожным» страхом, следил за каждым своим словом и не говорил буквально ничего, в чем была бы ощутима живая, смелая, творческая мысль. Когда я защищала в мае 1963 года свою кандидатскую диссертацию (*Монументальная скульптура Советской Прибалтики*), целая стайка безликих эстонских искусствоведов, организованная и инспирированная Бернштейном (сам он делал вид, что никакого отношения к этому предприятию не имеет), приехала в Москву, чтобы «изучать» мой капитальный манускрипт (тогда размеры диссертаций не были ограничены, и моя работа вмещала почти 2.000 страниц) и писать

донос в ВАК, а назначенный к тому времени Директором Художественного института Эстонской ССР мой друг Яан Варес, – действительно, добрый и искренний друг, человек с ослепительной улыбкой, сиявшей доброжелательством, – старательно «умывал руки», не поощряя этот донос, но и не мешая его соавторам. Неудивительно, что после таких испытаний моя нежная любовь к Эстонии таяла, как льдинка.

Удивительно другое: как много прекрасных, достойных людей в Эстонии я знала и как поразительно не умела их по-настоящему ценить. Назову хотя бы одно имя – Эндель Танилоо. Сколько в нем было чистоты, душевной щедрости, доброты, высокой человеческой порядочности, и как прекрасна была его скульптура – и в форме лирических миниатюр, и в виде величественных монументов! Конечно, при создании таких монументов, как, впрочем, и станковых композиций, занимавших место на выставках 1950–70-х годов, ему приходилось идти на идеологические компромиссы, в частности, участвовать в конкурсах на памятники революционерам, повстанцам, рабочим, «борцам за советскую власть», но ведь иных конкурсов тогда не проводилось, и если Эндель в чем-то таком и участвовал, то никогда не терял человеческого и художнического достоинства.

О его нравственных качествах (и не только его лично, но всей его замечательной семьи, его прекрасной жены) могу судить по одному эпизоду, который мне самой чести не делает. В июне 1959 года Эндель пригласил меня на праздник «Янки Купалы» (по-эстонски эта ночь Св. Яана иначе называлась, но также была самой короткой в году, сопровождалась романтикой разожженных костров, танцами, песнями, волшебной встречей угасающей, вечерней, и восходящей, утренней, зари над желтоватыми водами Эмайыги). К месту праздника мы плыли на лодке, в которой нас было пять человек — он с женой, пятилетним сынишкой Урмасом, двухлетней дочкой и я. Когда лодка почти причалила к берегу, я взяла на руки маленькую девочку, собираясь выбраться на землю, и тут случилась почти катастрофа. Лодка качнулась, ударилась о берег, я не удержала равновесия, и даже страшно вообразить, что могло бы случиться, если бы я уронила девочку или сама вместе с ней упала в воду. Слава Богу, устояла, удержала, все обошлось, но как

же прекрасно повели себя в этой ситуации Эндель и его жена. Поблуднели оба, но ни единого упрека в мой адрес, ни единого злого слова и даже взгляда (представляю себе, как яростно раскричалась бы в подобной ситуации хотя бы, к примеру, моя мама), только – сочувствие, понимание, желание помочь. Это не просто вежливость – это эстонская вежливость, движение доброй души.

Много лет спустя Эндель (судьба хранила его до глубокой старости) прислал мне (уже в Польшу, в Торунь, где я жила с 2004 года) каталог своей поздней выставки и фотографию с замечательного скульптурного автопортрета, запечатлев себя в студенческой «корпорантской» фуражке (знак верности традициям тартуских «корпораций» досоветской эпохи), но не юношей начала давних 1940-х годов, а человеком, на лице которого долгая жизнь оставила свои глубокие морщины – горькие следы. Времена как бы смещались и сближались – юность, старость, так ли они сильно отличаются друг от друга, если человек остается самим собой? Такому человеку не надо искать оправдания дурных поступков («такие, мол, были времена»), ибо он ни в какие времена и ни при каких обстоятельствах не совершает бесчестных поступков, и идеал его жизни – это не только безмятежная юность, ибо вся его жизнь по своему идеальна. Нечто подобное я встречала только у эстонцев, хотя не умела это ценить.

Спустя много, много лет после первого знакомства с Эстонией и эстонцами, я встретила в Стокгольме замечательного эстонского художника Энно Халлека. В отличие от моей долгой дружбы с Эндем Танилоо, это была короткая встреча в его мастерской. Я собирала материал о творчестве эстонских художников в эмиграции, и он так доверчиво откликнулся, так щедро делился со мной своими сверкающими проектами монументальных росписей, так много хотел мне дать, ничего не требуя и не ожидая взамен, что вернул меня к размышлениям об эстонском характере, к иллюзиям Солженицына («не бывает в мире плохих эстонцев»), к восхищению такими людьми.

В свое время я вела не то чтобы дневник, но такую тетрадь (несколько тетрадей на протяжении 1950–60-х годов), куда вписывала наиболее яркие впечатления от встреч с разными людьми. Получались своеобразные лирические новеллы. Иногда радужные, иногда

печальные. Две из них я здесь воспроизведу. Кажется, они позволяют понять, чем была для меня Эстония.

Первая называется **«Рыбак с острова Абрука»**.

Утро было солнечное и холодное. На море бесились волны. Если сесть в тени у ворот пристани, холод заберется под платье и даже под кожу, но если забраться на лодки, стоящие на солнце, станет даже горячо, и голые руки могут загорать. Пожилая женщина ласково предлагает мне садиться рядом с ними. Смутившись, отвечаю немного невпопад:

– Aitäh, ta ei tahta. Siin – päikene (Спасибо, не хочу. Здесь — прекрасно).

Она смеется, не знаю, моему ответу или моему акценту, и с гордостью сообщает юноше, который сидит рядом с ней на скамейке:

– Tüdruk on Moskvast (Девушка из Москвы)!

И рыбак смотрит на меня чуть искоса, чуть с изумлением, синими глазами.

Рыбак с острова Абрука! Мне казалось, что это огромный человек, дикий и сильный, как его краснокожие предки. Но Юри – тонкий и светлый, совсем мальчик, и только руки, привыкшие к соленому морю и тяжелым сетям, – руки рыбака.

Лодка так сильно качалась на волнах, что мне пришлось все-таки спрыгнуть с кормы и крепко держаться за канат. Солнце теперь жгло совсем сильно, и с каждым часом кожа на руках все больше темнела. Серебряная дорожка от солнца ложилась на зеленое море. Абрука оставалась все дальше, и только море было вокруг.

Мы разговаривали с Юри о тысячах вещах на свете: о Тартуском университете, о строительстве Нарвской ГЭС, о професоре Вага, о маяке острова Абрука. Он сказал, что даже в Тарту (на протяжении одного университетского семестра – от каникул до каникул) ему трудно без моря – как могут люди всегда так жить? Море было прозрачно-зеленым, оно тонulo в солнечном ослепительном свете, и во всем мире в это утро было только море и солнце. Вдали показался берег Сааремаа, медленно приближался силуэт Куресаарского замка. А потом мы ходили по замку, держась за руки, как маленькие дети. За толстыми стенами замка был жаркий июльский день, но здесь было тихо и холодно. Это

звонко повторяло наши голоса, если мы решались говорить, в огромных залах. Каменные стены молчали. Мы обошли все ходы, все залы, лазили по крутым лестницам, вмурованным в толщу стены, смотрели сквозь узкие отверстия бойниц на море, на маленький белый городок у ног замка, на пыльные дороги Сааремаа. Я даже забралась один раз в огромное епископское кресло, а Юри рассказывал мне страшные истории Куресаарского замка. Как хорошо было быть детьми!

Мы расстались с ним на улице Сталина на следующее утро. Я должна была улететь из Кингисеппа, кончался срок моего пребывания в запретной зоне... Я подала ему на прощание руку, и тогда он вдруг, смутившись, попросил мой адрес. Ведь, может быть, он когда-нибудь приедет в Москву.

В Москве я получила письмо. На открытке были Рыбаки Уутмаа. Юри писал: «Под окном моим растут цветы, красные и синие, красивые, как жизнь. Они напоминают мне о Вас».

Потом я уехала в Палангу [это было лето 1959 года], и Юри больше не писал мне писем...

Я очень счастлива, что один раз на один только час, среди немых стен Куресаарского замка, я вернулась в давно ушедшее детство. Мы понимали друг друга на языке Гейне:

- «Mein Kind, wir waren Kinder:
- Zwei Kinder, klein un froh...».
- Хорошая вещь – детство!

Читателю, наверно, надо очень многое объяснить, чтобы раскрыть алгоритмы той удивительной, двойной, тройной, многогранной игры. Да, мы играли в чистое детство, давно не будучи детьми. Но еще мы играли в рыбацкую романтику острова Аbruка, а Юри Туулик уже тогда не был его простым «рыбаком». Он, конечно, родился на этом острове и держал в руках тяжелые рыбацкие сети и весла больших лодок, но его путь со студенческой скамьи Тартуского университета уже вел его в большую литературу, и Юри Туулик вскоре стал известным поэтом, с которым можно было вести политические дискуссии в таллинском «Кунсти-Клубе» (мне, к счастью, такие дискуссии с ним вести уже не довелось). Мы играли в Куресаарский замок, делая вид, что история остановилась здесь на средневековых легендах, не замечая ни разрушения, на которое

этот замок был обречен, ни цинизма советской топонимики, предлагавшей нам «Кингисепп» (вместо Куресааре!) и упрямо неистребимые «улицы Сталина». Но главным предметом, в который играла вся интеллектуальная Эстония послевоенных лет, был сам остров Абрука. Расположенный далеко на запад от основного архипелага «эстонских островов» (Сааремаа, Муху), фактически уже в нейтральных водах, ближе к шведскому берегу, нежели к советским берегам, маленький остров Абрука, абсолютно закрытый для посещения – и иностранцами, и гражданами СССР (запретная зона!), казался каким-то волшебным оазисом, миражом в советской эстонской пустыне послевоенных лет. Попасть на этот остров было практически невозможно – не было никакого регулярного сообщения. Мне тем летом 1959 года с огромным трудом удалось получить (пройдя через разные грозные ведомства, стоящие на службе государственной границы и государственной безопасности) разрешение на саму поездку на Сааремаа, строго ограниченную во времени (в моем паспорте сохранились соответствующие указания и печати). На этом острове, гуляя вечером по набережной (в одном платье, босоножках, с сумочкой через плечо – ничего более), я задержалась около катера, обладатели которого заводили мотор, и со свойственной мне «раскованностью», заговорила с ними, спросив, как бы в шутку, не собираются ли они на остров Абрука. Они серьезно ответили мне, что собираются. На размышление у меня не было даже секунды (мотор уже завелся), и я просто прыгнула в их лодку, вероятно, с криком-просьбой, чтобы они взяли меня с собой. Уже когда мы отошли довольно далеко в море, хозяева катера, не слишком разговорчивые, сумели объяснить мне, что собственно, они не едут на остров Абрука, вернее, должны заехать на его берег, чтобы забрать, кажется, какой-то улов, а оттуда сразу уезжают, но не обратно на Сааремаа, а куда-то в сторону Латвии. Мне в сторону Латвии было не по пути, и через несколько часов они высадили меня на острове Абрука, где я осталась совершенно одна (в платье и с дамской сумочкой), понятия не имея о том, как и когда я вернусь на большую землю. Никогда не забуду, как я шла по тропинке через темнеющий лес, и поразительное обилие никем не пуганных зверей попадалось мне навстречу. Тропинка привела в рыбацкий поселок, где меня встретили с изумлением и радушием. Се-

рый, собственной выпечки хлеб, которым меня угощали за большим деревянным столом, был чем-то находящимся за пределами воображения горожанки. Там все было приготовлено и сделано своими руками. Никакого рынка Абука не знала. Раз в год, то с советского берега, то из Швеции, сюда завозили соль, все остальное в руках, под ногами – в море, на земле, в лесу. Жители Абуки считались советскими гражданами, но они в глаза не видали не только советских паспортов, но даже советских денег. Десятку, которую я им предложила, они с почтением вернули мне обратно, но долго с интересом рассмотрели человечка в овальной рамке – Ленина на банкноте (кто такой Ленин, они не знали). Основной жизненной проблемой рыбаков острова Абука оставался гендерный дефицит: в семьях, давно связанных узами кровного родства (притока нового населения не было), рождались только мальчики. Это был своеобразный вариант «этнического вырождения»: красивые, здоровые, сильные, но только мальчики. Женщины и девушки были на вес золота, и мне в той рыбацкой семье, в которой я нашла приют, предложили все, что угодно (моторную лодку, сети, дом), чтобы я там осталась. Вот не осталась, однако, и утро, с описания которого начинается выше приведенная новелла, было последним днем моей жизни на острове Абука. Катер, которого мы ждали на причале, вовсе не направлялся на Сааремаа, а шел по какому-то иному маршруту, но согласно опыту старожиллов, далеко в открытом море он мог (только с некоторой степенью вероятностью мог!) пересечься в пути с почтовым катером, следующим в сторону Сааремаа к Кингисеппу, и если нам удастся вовремя этот катер в море заметить, просигналить ему и сблизиться с ним, то те пассажиры, которым надо было попасть на Сааремаа, могли пересесть в почтовый катер. Мы с Юри как раз и были такими пассажирами, и хотя к тому времени у меня был уже достаточный опыт «хождения по морю» на разного рода лодках и катерах, все же никогда не забуду, как это было увлекательно (ни на что не похоже и по-своему символично) посреди открытого моря пересесть (перепрыгнуть, перелететь через борт) во встречный катер, которого в открытом море можно было и не встретить. Как стеклышки в ярком калейдоскопе, сверкали перед глазами мотивы игры, в которую мы с таким увлечением и в 1959 году, и еще многие годы спустя продолжали играть.

А вот другая, последняя эстонская новелла. Она написана в довольно редком для меня жанре диалога с самой собой (раздвоение личности?) и называется **«Завтра Эди улетает в Каир»**.

В кафе «Метрополь» играет музыка. В узких рюмках зеленоватый коньяк. Я не пьянею. Мне весело? Ну, что ты, нет. Просто я умею смеяться. Хороший кофе. Крепкий коньяк. Сегодня Эди называет меня «мой добрый ангел». Дешевая вещь – быть ангелом. Завтра он уезжает в Египет. Рано утром в воздух поднимется самолет. Мне жаль? Ах, что ты! В кафе «Метрополь» готовят хороший кофе. И я давно не пьянею от крепкого коньяка.

У Эди очень подвижное лицо, очень светлые глаза и «сердце из воска». Эстонское сердце. Ты хочешь сказать, что оно очень доброе? Да, я именно это хочу сказать.

Смеешься? Ну, смейся, пожалуйста. Но ведь он был очень добр, – по-русски не так, я хочу сказать «hea», – очень добр в ту ночь на острове Муху. Помнишь, душное сено, холодная роса утром, солнце, зеленый остров, и ты шла босиком по высокой некошенной траве, а рядом было синее-синее море. Да, это было. Но раньше была ночь в эстонском Постпредстве в Москве, и Министр поднял бокал прозрачного вина – уже в сотый раз они пили за твои глаза, за счастье и за твои красивые ноги. Ты, наверно, удивилась, когда он сказал эту фразу (об эстонцах, уничтожавших свой народ) и быстро спросила:

– Кто? Эрик Адамсон?

Он внимательно посмотрел в твои глаза и медленно ответил:

– Нет. Хуже... Эйманн.

А потом ты сказала Яану, что больше всего уважаешь Министра за этот смелый ответ. Ты не помнишь?

Нет, почему же, я помню все, но ведь потом была Пирита, и сказочный белый туман, и сквозь темный, утонувший в тумане лес наша машина ехала в Козы, и я говорила, что никогда не забуду этот туман.

Туман, белый лесной эстонский «иди» окруживший черные деревья. Тебе и не надо забывать его.

Но ведь ты помнишь и другое, правда? Пьяная ночь в «Пекине». Эди, наконец, ушел спать, и вы остались втроем — ты, Яан [Яан Варес] и Микелис [латышский искусствовед Микелис Иванов]... И Микелис рассказывал невеселые истории о людях, которые ушли из

жизни. Вы старались не называть его имени, но все трое отлично с полуслова понимали друг друга, и ты думала: «Сколько же жизней на его совести?». И вы пили какую-то еще уцелевшую бутылку цинандали, пили вроде как бы именно за него – нашего высокого боса. Кто кого предал, сколько раз? Скучная история, правда?

Зачем я помню и знаю больше, чем хотела бы!

Очень тихо было в Кейле на берегу реки. Это было в июне, в Эстонии, в пору белых ночей. И во всем мире в этот вечер были только два цвета – серый и розовый. И тихо, тихо плыла мимо нас река.

Я помню Таллин, мокрые улицы, сумерки и первые темные ночи. Помню его осторожные письма, которые я всегда возвращала ему при встрече. И фотографию 30-х годов, где он снят еще студентом в корпорантской фуражке, красивый и нежный мальчик, и что-то очень чистое и прямое было тогда во взгляде его еще ярких глаз. Боже мой, где же!.. Неужели и я через 25 лет!.. Да, дорогая. Через 25 лет ты тоже полетишь в роскошном самолете, с красным заграничным паспортом и с чеком на твоё имя в каирский банк. Только ты не горюй. Тебе терять будет нечего. Разве что только молодость. А это тоже дешёвка. У тебя нет таких чистых глаз, как у мальчика в корпорантской фуражке. Ещё бы, ты ведь познакомилась с ним, когда ему уже 48, и ты очень быстро научилась смотреть в его глаза, пытающиеся ускользнуть в сторону, научилась смеяться, когда совсем невесело, и легко говорить с ним по-эстонски. Нет, тебе уже нечего терять. Иди смело. В 48 лет у тебя тоже, может быть, будет значок Депутата Верховного Совета на груди и оклад в шесть тысяч рублей. А все-таки жаль того мальчика!

Ах, о чем жалеть! У мальчика было «сердце из воска».

В кафе «Метрополь» играет музыка. Завтра утром Эди уезжает в Египет. Он, наверно, ещё позвонит тебе из внуковского аэропорта и, улыбаясь, ты скажешь ему:

– Ma südamest soovin Sulle palju edu, palii õnne!

Разве я солгу? Избави Бог. Я от всего сердца желаю ему и успеха, и счастья.

Красивая музыка играет в «Метрополе».

– Head reisi!.. Доброго пути!

Как же мало я ошиблась в своих предсказаниях. Правда, до значка депутата Верховного Совета на моей груди дело не дошло, но очень много почетных наград как-то прошелестело в моих руках, а ослепительный мир «заграницы» (да какой-то там Каир! Гораздо больше: Рим, Венеция, Лондон, потом любимая Варшава, Амстердам, Брюссель) открылся передо мной не через 25 лет (я писала эти строки в свои 23 года), а гораздо, гораздо раньше. Эди исчез навсегда еще в доперестроечном тумане, только пара моих карандашных портретов, сделанных его твердой рукой, висит в моей нынешней квартире в Торуни. Рука у него была твердая и опытная, хотя, впрочем, иногда слегка дрожала.

Паланга

Последний раз на Рижском взморье я отдыхала в июле 1957 года, накануне Международного Фестиваля молодежи и студентов в Москве. С июля 1958 года (сразу после окончания Университета) в моей летней жизни началась новая эра: Паланга, Литва. Немножко она была похожа на Латвию: то же Балтийское море, те же песчаные дюны, те же высокие сосны с их приглушенным шумом, тот же ветер (по-моему, всегда с моря), те же проблемы оккупированной страны, о которых никто из местных жителей прямо, – во всяком случае со мной, – никогда не говорил, но о которых можно было догадаться, проявив хоть немного чуткости. Между прочим, на Рижском взморье в те годы, когда я там бывала, каждое лето отдыхал художник Лео Кокле – горбун, человек величайшей доброты, изумительного таланта, светлого интеллекта, всегда охотно и доброжелательно общавшийся с нами, детьми, подростками и совсем молодыми людьми. Значительно позже, уже после его смерти, я узнала о том, что как раз в эти годы вокруг него, в его рижской мастерской формировался тот круг латышской творческой интеллигенции (политической оппозиции советскому режиму), который стал спустя годы зачатком и опорой Народного Фронта Латвии. Будущие депутаты Совета Народных депутатов – Джемма Скулме, композитор Раймондс Паулс и другие – те, что сумели в 1989–90 году повернуть колесо и собственной, национальной, и общесоюзной истории, вышли именно из этого круга, приняли эстафету того огня, который разгорелся в очаге, сложенном в мастерской Лео Кокле. Лео был искренним, открытым, совсем не

двуличным человеком, и если бы у кого-нибудь из нас, приезжих, хватило ума и такта поговорить с ним по душам – даже не о политике, а хотя бы об искусстве, которым мы, почти все дети художников или искусствоведов, в ту пору уже серьезно интересовались, мы услышали бы многое, что, возможно, переломило бы те наивные представления о «социалистическом реализме», с которыми мы входили в свою профессиональную, пусть еще школьную и студенческую жизнь. Но таких разговоров мы не вели, хотя инстинктивно ощущали (не думаю, что это мне только теперь так кажется) в спокойных, ясных, иногда печальных, иногда смеющихся глазах Лео магнитную силу притяжения к чему-то запретному, тайному, к какому-то неоспоримому «Всё не так, всё не так, ребята!», с которым, не знаю, как бы мы жили дальше. Нечто подобное было и в Литве. Никто не пытался открыть нам глаза, посвятить нас в ту историческую правду, какую тщательно скрывала и выворачивала наизнанку коммунистическая пропаганда, трубившая о «восстановлении советской власти» в 1940 году по доброй воле и к великому счастью литовского, латышского и эстонского народов и скрывавшая все кошмары организованного этой властью террора и геноцида.

Здесь, в Паланге, как и в Дзинтари, тоже стихийно складывался молодежный коллектив «детей» известных деятелей советского искусства» (там, на Рижском взморье, были Толя и Валя Томские, Ваня Чуйков, Вика Серебрянная, Наташа Селиханова, Гена Тиханович, Володя Масленников; здесь, в Паланге, – Таня Ромас, Федя Меркуров, Ваня и Маша Лактионовы), и хотя никаких комсомольских собраний мы в этом коллективе не проводили, но комсомольской идеологией были сильно заражены и заряжены. Мы жили в одном доме с литовскими художниками и их детьми (между прочим, этим домом был тогда Дворец Тышкевича, который именно мой отец, бывший тогда Директором Художественного Фонда СССР и летавший в 1945 году в Литву, «присмотрел» и «предопределил» для размещения в нем всесоюзного Дома творчества художников; новое здание для Дома творчества в Паланге было построено только спустя двадцать лет, в середине 1960-х годов, после чего в бывшем Дворце графа Тышкевича разместился Музей янтаря), и хотя тесно общались и дружили с литовцами (а будучи очень молодыми людьми, то и влюблялись – русские девушки в литовских

юношей, литовские юноши в москвичек, надолго или на один короткий летний сезон), всегда ощущали невидимую границу, которая между нами пролегалa. Они знали что-то такое, чего не знали мы и о чем они умели молчать, уже самым этим молчанием возвышаясь над нами, одновременно чуть-чуть опасаясь и чуть-чуть презируя нас.

Паланга подарила мне дружбу с Дайвой Антините, дочкой скульптора Робертаса Антиниса, который как раз в то лето 1958 года в одном из залов Дворца Тышкевича, переоборудованном под скульптурную мастерскую, лепил свою знаменитую *Эгле – королеву ужей*, которая в 1959 году была отлита в бронзе, установлена в парке Паланги и стала одним из шедевров литовской монументально-декоративной скульптуры XX века. Он лепил ее с Дайвы, по всем законам академического мастерства – буквально с натуры, и вся красота юной Дайвы (божественная красота!) воплотилась в бронзовой Эгле и осталась, хочется верить – навеки, на литовской земле. Но в то лето долгие часы позирования в обнаженном виде были для Дайвы лютой мукой. Ей было холодно, тоскливо за стенами мастерской, неловко стоять обнаженной даже перед родным отцом, страшно неудобно в той сложной позе стремительного кругового движения, которая была замечательной находкой Антиниса и определила динамику, экспрессию, выразительность скульптурной композиции; все тело, руки, ноги болели, и избежать этой пытки, под любым предлогом скрыться, исчезнуть, убежать от отца, вырваться на простор парка и пляжа было ее заветной ежедневной мечтой. Убегали мы вместе, часто скрывались за пирсом на женском (нудистском) пляже, бродили в лесу (парк вокруг Дома творчества местами был настоящим лесом), поднимались «в горы» – на любимую гору Бируте, с которой открывался вид на море. Мы были ровесницы, только я уже окончила университет, а она училась на последнем курсе Литовского Художественного института, нам было о чем говорить друг с другом. Но поразительная вещь – какая высокая, неприкосновенная, хрустальная стена недосягаемого стояла между нами при всех этих встречах, блужданиях и разговорах! И дело даже не в политике, которой мы, вообще, не касались, будто никакой политики в мире и не было. Дело в том, что и частная, женская жизнь – моя, ее – были наглухо закрыты для взаимного обсуждения. Казалось просто невыносимым делиться

секретами, что-то расспрашивать или рассказывать о своих увлечениях, разочарованиях, романах, а уж в 22 года и ей, и мне было бы при желании что рассказать друг другу. Со своими студенческими, московскими, даже случайными подругами, с той же Дорой Долгицер или Милочкой Федотовой на Рижском взморье, с Ленкой или с Ритой, слетавшими в МГУ на огонек польского землячества, *это* (жизнь личную, сексуальную) я готова была обсуждать во всех деталях, с Дайвой – никогда. В наших тихих и плавных беседах царил такая невинность и чистота, будто в 22 года мы снова стали пятнадцатилетними девочками, еще не знающими, что такое первый поцелуй. Это не была искусственная игра в девичество. Мы были людьми из разных миров, и граница между нашими мирами, – ее, литовским, и моим, каким-то жутким советским, претендующим на всю бессловесную Прибалтику, – была невидимой, не обозначенной словами, но настолько четкой и жесткой, что нельзя было ее ни обойти, ни проломить.

Самым прекрасным было лето в Паланге в 1959 году. Господь Бог послал ее соснам, и дюнам, и водам редкое тепло, в дневные часы почти южную жару и совершенно необычные, теплые вечера и звездные ночи. Я загорела до черноты (Рута Бракере как-то сфотографировала меня лежащей на песке и на оборотной стороне снимка написала: «Готовится жаркое»). У меня был свой катер – ну, конечно, не свой, он принадлежал какой-то рыболовецкой артели, на катере был капитан и матросы, но так получалось, что утром он приплывал за мной и бороздил море по маршрутам моей фантазии, и с этого катера, когда он сильно разогнался, я прыгала в море, и звезды в небе по ночам мы считали, лежа на его палубе. Особенно много этих веселых и падающих звезд было в незабываемую ночь Святого Роха – 15 августа. Ни один человек, отдыхавший или живший в Паланге, не мог позволить себе такой радости и роскоши – ночного выхода на катере в море. Там пролегалла граница, и как только темнело, пограничники проводили по пляжу глубокую и широкую борозду – переступить через нее было равносильно побегу за границу. Но у катера был свой причал, у капитана особый пропуск, позволяющий вернуться на катере к месту его прописки в Кунигишках, остальное было делом техники и нашей фантазии. Очень богатой фантазии.

Но катер – это еще не все. Я могу сказать, что у меня в Паланге было свое море – такого не было ни у кого. Все отдыхающие так или иначе ощущали дискомфорт мелкого берега: до места, где можно было окунуться и поплыть, надо было долго идти по воде, да и какое там плавание, даже вдали от берега тянулась все та же мель. Я прыгала в море с высокого парапета пирса, вынесенного так далеко в море, что там уж никакой мели не было. Каждый такой прыжок был чудесным событием. Я долго (разумеется, в секундах «долго», но эти секунды надо было пережить!) летела с пирса в воду, и если солнце светило мне в спину, то моя тень летела передо мной по зеленой воде; потом уходила на большую глубину (не всегда удавалось коснуться ногами дна) и еще долго, долго всплывала из этой глубины вверх до той чудесной точки, до той чудесной секунды, когда плотная водная крыша разрывалась над моей головой, и тысячи солнечных лучей бросались в мои глаза и начинали целовать мои волосы, и можно было уже не выплывать, а плыть, кружиться между сваями пирса, чтобы потом, ухватившись за такую сваю, выбраться по ней снова на пирс (плыть к берегу казалось скучно). Спустя много лет в Болгарии я брала уроки подводного плавания. Это было интересно, но даже отдаленно не могло сравниться с тем наслаждением, которое приносили минуты подводного и водного плавания после прыжков с моста (пирс мы почему-то упорно называли мостом). Конечно, восторг и аплодисменты собиравшихся на мосту зрителей это наслаждение усиливали. Кстати, скажу для сравнения, что в Болгарии (и в Албене в 1974 году, и позднее на Золотых Песках и Солнечном Берегу) в моем распоряжении (разумеется, высоко оплаченном) были самые современные скоростные скутеры (они подбирали туристов из воды после прыжка или плавного приводнения парашюта) и великолепные яхты (я окончила школу в албенском яхт-клубе и получила удостоверение, подтверждающее мое право водить яхту на любой акватории Земного шара), но ничего более роскошного, чем старенький рыбацкий катер в Паланге летом 1959 года, позднее уже никогда не было.

Важнейшим атрибутом палангского быта и своеобразным символом палангской свободы были мотоцикл (чужой) и велосипед (свой), который я привозила с собой каждое лето из Москвы (надо было сдать его в багажное отделение на Белорусском вокзале, потом поучить в Кретинге, и проделать ту же процедуру в обратном

порядке перед отъездом из Паланги). Скорость, легкость, возможность преодолевать дальние расстояния и находить нечто необычное (густые заросли лесной малины, спрятавшийся на дальней лесной поляне зеленый аэродром планерного клуба) – все это дарили мне мотоцикл и велосипед.

Клуб «Жуведра» (Žuvėdra – Чайка) я открыла уже следующим летом – 1961 года (лето 1960 года прошло без Паланги, в сплошной работе над будущей диссертацией). В отличие от благословенного лета 1959 года, лето 1961 года было дождливым.

Дождь шел почти не переставая. Шел утром сквозь плотное серое небо, шел ночами, и шуршание капель сливалось с шумом со-сен над дюнами, с гулом прибоя. Крупные чистые капли ударялись о сплошное прозрачное стекло планера. Дождь шел над морем, над дорогами, и когда велосипед разрезал лужи, ноги обдавало водой. Ноги всегда были мокрые. Бессмысленно было надевать туфли, доставать забытый где-то на дне рюкзака прозрачный ломкий комочек целлофана, в котором спрятаны нейлоновые чулки. Лучшие всего, когда ноги босые и под упругими пальцами – гравий, песок, мокрая трава аэродромного поля.

К дождю мы привыкли, как к воздуху, любили его, не замечая (как можно любить море) и называли его по-литовски, ласково: «Lietus». Всё тогда имело литовские наименования: воздух – Oras, море – Jūra, планер – Sklanditūvas.

Иногда дождь проходил, Трава становилась сухой и пряной, небо – синим до боли в глазах. Жизнь – такая огромная, что даже дыхания не хватало в груди, – была сосредоточена на отмеченном красными флажками квадрате аэродромного поля. Каждая травинка на этом поле имела особый вкус и запах. Ветер гнался по полю навстречу скорости планера, холодный и сильный ветер с моря.

Красное полотнище, чехол парашюта, разостлано на нашем квадрате. Если лечь на него лицом вверх, небо – такое бездонное. В мире, кажется, нет ничего, кроме этого неба, и это небо зовет.

– Draugas veršyningas (Товарищ начальник полетов, разрешите доложить...) – я стою перед Повиласом по команде «смирно», а голос звучит в этом поле звонко и далеко. И завершаю рапорт, говорю (это, конечно, по уставу, но звучит как-то по-человечески, будто не рапортуешь, а искренне просишь: – Разрешите участвовать в полетах!

Повилас принимает рапорт. Он чуть улыбается. Его прищуренные глаза следят за небом, за маленькой серебристой «чайкой», так высоко поднявшейся в небо, что даже знакомых цифр не видно на ее стальном неподвижном крыле. Руки Повиласа лежат на чуткой и послушной рации. Часы показывают доли секунды.

– Трос отцепился, трос отцепился, – посылает он последнее сообщение с земли планеристу – туда, в синюю высоту.

Я тоже не отрываю глаз от планера. Медленно падает трос черной точкой маленького парашюта. Еще полет, высота. Первый поворот, вираж, изумительно красивый вираж, солнце на серебристом крыле, и снова – радостный плавный полет.

Минуты большие и тревожные. Спокойно ждать невозможно. Пытаюсь, заткнув уши, читать учебник воздухоплавания. Трудные, будто из железа вырезанные слова: «Хорда крыла есть линия, соединяющая переднюю и заднюю точки профиля крыла. Угол между хордой и направлением движения...».

Вот он коснулся земли, еще раз рванулся вперед, пролетел мимо посадочный знаков и замер, послушно лег на крыло.

К черту учебник. Он рядом, твой планер, «скландитувас», «Приморец», с крупными цифрами на фюзеляже «2-22».

...Я сама готовлю его к полету. Промчалась черная машина, Эмутис почти на ходу сбросил трос, не заглушая мотора, резко развернулся вокруг рации, и стремительно унесся к своему «Геркулесу». Когда у «Геркулеса» дежурит Эмутис, его машина весь день носится по полю, как дикая лошадь.

Теперь надо действовать быстро и ловко: распутать концы троса, расправить его парашют, прикрепить трос, услышать, как щелкнул замок... Ветер колышет поле. Склонившись над рацией, радист повторяет:

– Неринга, я – Наглис, я – Наглис... Изъять слабину левого барабана!..

Поле дрогнуло. Заметался, задрожал стальной трос, вздрогнул маленький парашют.

Повилас склоняется над рацией:

– Полет разрешаю... Старт!

«Старт!» – весь мир в одном этом слове.

– Startas! startas! – повторяет команду радист.

Секунда, короткая секунда, необходимая для того, чтобы там, на «Геркулесе», поняли это слово. Потом толчок, волна воздуха

навстречу планеру, бросок вперед. Взлет крутой и стремительный, кажется, почти по вертикали. Это наш замечательный чешский «Геркулес» может обеспечить такое чудо (взлетать на планере за самолетом было бы гораздо скучнее). Чудо полета само по себе усиливается ощущением еще двух внезапных чудес – сколько бы раз они не повторялись, они всегда кажутся внезапными. Это чудо тишины (в тот миг, когда на самой высокой точке подъема я сбрасываю трос и слышу с земли последние слова «Трос сброшен!..» – с этой секунды я остаюсь наедине с небом в царстве изумительной тишины) и чудо преображения земли. Земля буквально встает «дыбом», меняются ориентиры и геометрические составляющие пространства, горизонта: вместо дали – высота, высокой стеной стоят зеленая земля, лес, а за ним не видное с аэродромного поля море, волшебная синяя стена...

Это я не сейчас пишу. Это я писала, наверно, осенью 1961 года («планерная новелла» осталась в дневниках, хранящихся в архиве Центра «Восточная Европа» Бременского Университета). Это было очень давно, но никуда не ушло, не стало прошлым.

ГЛАВА 11. ЛИТВА – ОКНО В ЕВРОПУ?

Ну, что ж Паланга... Жаркое или дождливое, короткое или поразительно долгое лето, музыка танцплощадок, любимое море, полеты во сне и наяву, – это был подарок судьбы, счастье моей молодости (если последний раз я отдыхала в Паланге в 1970 году, значит и до 1970 года эта молодость продолжалась; постаревшей душой или телом я в Паланге не была никогда). Но дело, конечно, не в Паланге. Дело в Литве, и об этом надо задуматься серьезно. Чем была она для меня, чем была она для нас многих, если только можно в расплывчатые границы этого неясного «мы» включить какую-то значительную часть советской, московской, прежде всего творческой интеллигенции?

Ответ напрашивается сам собой, как некая банальная формула: «окном в Европу».

На самом деле это было все-таки не так. Конечно, нельзя было не ценить европейский лоск, европейский характер литовской культуры, тот комплекс ценностей, духовных и материальных, благодаря которому Запад (а Литва была крайним Западом) не просто отличался от Востока (любого Востока) нашей страны, но безусловно возвышался над этим «Востоком» по всем параметрам. И все-таки «окно в Европу» – это было не главное. По сравнению с Литвой Эстония или Латвия могли выглядеть как более широко распахнутое, более близкое (хотя бы к соседней Скандинавии) окно, в прозрачных или цветных, витражных стеклах которого отражалось значительно больше чудесных страниц европейского, прежде всего германского, культурного наследия. Нет, Литва имела самодовлеющую ценность сама по себе. Ее языческая романтика (последняя языческая страна в Европе!) была важнее ее приобщения к западному христианству. Литва не вела в иные дали, не служила транзитной зоной, она даже чисто географически упиралась в Балтийское море и польскую границу, не обещая никаких перекинутых через эти берега и границы мостов, она манила к себе сама по себе, она начиналась лесами Вильнюсского края и заканчивалась песчаными дюнами Курши-Нергинги, и все сокровища мира были сосредоточены в этом сравнительно небольшом пространстве.

Литва – это прежде всего люди. Ну, разумеется, камни тоже имели значение – древний Пунтукас и другие валуны ледникового периода – алтари-жертвенники языческой культуры; красный кирпич замков и сакральной готики (самой изящной на свете церкви Святой Анны, которую Наполеон мечтал унести из Вильнюса на ладони); белоснежный мрамор и золотистый гипс вильнюсского барокко; россыпи темного и светлого янтаря на морском берегу – прекрасные камни, красоту и значение которых мы умели ценить. Но главное – это люди. Вопреки логике, реализму и даже вопреки собственному опыту (доводилось, к сожалению, встречать представителей литовского этноса, не вызывающих уважения), я все-таки утверждаю, что в каждом литовце, будь то крестьянин, рыбак, писатель, художник, секретарь ЦК Компартии Литвы – кто угодно, – течет кровь Великих Литовских князей.

Профессор Микенас

Первым, кто открыл передо мной планету Литва, был профессор Микенас, великий скульптор и прекрасный человек, которому не было равных. Мудрость. Высокое человеческое достоинство. Безграничная доброта. Мягкая ирония, с которой он воспринимал многие социальные, политические и моральные грани формирующейся на его глазах действительности. Право, не хватит самых высоких слов и идеальных категорий, чтобы охарактеризовать его незаурядную личность.

Не помню, как нас познакомили, в какой момент я впервые увидела его (это случилось на первой выставке скульптуры прибалтийских республик в Риге в сентябре 1958 года), зато хорошо помню, как в экспозиции этой выставки я обнаружила его работу (тогда еще даже не отлитую в бронзе), которая называлась *Голова юной пианистки* (портрет Алдоны Дварёнайте, которая в тот год была студенткой Варшавской консерватории). Остановилась я перед ней потрясенная. Эта изумительная пластика представляла собой ту высшую точку достижений и творческих возможностей реализма (не хочу говорить «социалистического реализма», скажу – «идеального», может быть «идеалистического», «романтического реализма»), который тогда мне казался главной перспективой развития современного искусства. Я ведь росла «под крыльями» Рабо-

чего и колхозницы Веры Мухиной и не могла не ощутить, как в пластике Микенаса, спустя двадцать лет после чуда создания той скульптуры, совмещавшей в себе самую великую ложь и самую великую правду 1937 года, вновь эти крылья распрямились для торжествующего полета. Драматический процесс истинной эволюции творчества Микенаса я поняла много, много позднее. Даже когда работала над монографией о его творчестве (и моя книжка *Микенас* была издана в Ленинграде в 1963 году), я еще ничего не понимала. Мой умнейший, добрый и строгий редактор Яков Михайлович Окунь сказал, рассматривая иллюстрации к книге: «Вот если случится мировая катастрофа, наша цивилизация погибнет и археологи нового тысячелетия будут извлекать из развалин памятники искусства XX века, они скажут, глядя на современные работы Микенаса: «Ну, это был, видимо, начинающий художник, он еще робко искал свой стиль», а посмотрев на его композиции 30-х годов, воскликнут: «Вот до какой высокой, изумительной творческой зрелости он поднялся, вот каким был расцвет его творчества!...». Я тогда этого совершенно не понимала, что неудивительно, если вспомнить, чему учил нас «наш Университет» и чему учила сама жизнь (выставки советского искусства, постоянная экспозиция Третьяковской галереи, прежние «сталинские» и новые «ленинские» премии, вся старательно выстроенная и нерушимая система художественных ценностей). Теперь я хорошо понимаю, что ни творческий, ни жизненный путь Микенаса от 30-х к концу 50-х годов не выглядел как прямая траектория крутого подъема и взлета, скорее наоборот. Но вот что интересно и в высшей степени характерно именно для Микенаса. Возвращается он в 1931 году в Каунас из Парижа, из своей восхитительной l'Ecole de Paris, из Академии Жюльена, молодой, влюбленный в новые горизонты «современного» искусства» (art nouveau, art moderne – пусть даже эти горизонты еще не слишком далеко выходили за границы творческого поля, скажем, Родена или Бурделя), уже знающий нечто (и умеющий творить нечто), чего «старики» литовской школы ваяния – ни Зикарас, ни Римша, ни их последователи – не знают и не умеют. Естественно, примыкает к созданной Адомасом Галдикасом группе прогрессивной творческой молодежи «АРС» (о которой он в годы советского идеологического наступления на «формализм» и «безродный космополитизм» скажет с легкой и доброй иронией:

«Шумим, братцы, шумим...» – мол, ничего особенного, молодые были, хотелось заявить о себе, пошуметь). Да, действительно, это был не грохот жестокой битвы, это был веселый, зеленый шум молодого литовского искусства, и ни единой ноты, ни единой мелодии грозных ниспровержений, проклятий, ничего подобного нигилистическим гимнам («во имя нашего завтра сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства цветы») в этом шуме не было. Никакой ненависти к представителям старой школы, ни малейшего желания растолкать всех локтями, захватить ведущие позиции в искусстве, всем на зло показать, какие мы – парижане... Вообще, никакого зла. Доброта. В этом был весь Микенас. И кстати, «старики» (скульпторы старой, академической школы) невольно платили ему взаимностью. Его чудесные мраморные изваяния и вырезанные в дереве композиции принципиально меняли облик литовских выставок середины – второй половины 30-х годов, не оставляя места академическим опусам, но никто не пытался вытеснить его произведения из выставочного пространства, никто не мешал ему в осуществлении его монументальных и высоко престижных проектов (оформление павильона Балтийских республик на Международной выставке 1937 года в Париже, создание скульптуры *Литва* для литовского павильона на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке). Он входил в историю литовского искусства и как-то незаметно для себя, но уже безвозвратно и непреодолимо становился классиком этого искусства (в 32 года был уже зрелым мастером, в 62 года, которые отвела ему судьба, сохранял творческую молодость) с какой-то поразительной легкостью, никому не переходя дорогу, ни с кем не вступая в соперничество и борьбу.

Он и в советское искусство, ошетинившееся всеми грозными идеологемами 40-х годов, вошел так же легко, без родовых мук создания чего-то совершенно иного и нового, без печального ритуала, обязывавшего «сжечь все, чему поклонялся, поклониться тому, что сжигал». Ничего он не сжигал. В 1941 году, к первой, не состоявшейся декаде литературы и искусства Литовской ССР в Москве, лепил прекрасную литовскую крестьянку (*Сбор урожая*) – родную сестру *Литвы*, венчавшую павильон «буржуазной Литвы» на Нью-Йоркской выставке; в годы немецкой оккупации завершил замечательный рельеф *Отдых* – мечту о покое и счастье, воплощение

высшей степени любовного наслаждения, возможного между мужчиной и женщиной и независимого ни от какой оккупации («независимость» – это очень точная характеристика его характера и его творчества, не менее важная, чем другие ключевые слова: «мудрость», «достоинство», «доброта», «ирония»).

Конечно, не все было так просто, и я не хотела бы упрощать трудный процесс превращения свободного художника независимой Литвы в советского академика (члена-корреспондента Академии художеств СССР), лауреата первой Сталинской премии, присужденной «Литовской ССР» в области изобразительного искусства, профессора и заведующего кафедрой (факультетом) скульптуры Государственного художественного Института Литовской ССР, вся деятельность которого (и самого Института, и его профессуры) была в лучшем случае подконтрольна Кремлю, в худшем случае – этим Кремлем управляема. Я даже понимаю сомнения тех литовцев, которые пришли к власти после 1990 года (хотя не одобряю принятых ими решений о сносе некоторых памятников), которым изваяния Микенаса, олицетворяющие успехи СССР в освоении космоса (*Первые ласточки*) и в изобретенной советской пропагандой «борьбе за мир», а также способствующие мифологизации советского партизанского движения (памятник Марите Мельникайте в Зарасае) казались (конечно, после 1990 года) неуместными на литовской земле. Но, во-первых, Микенас позднего советского периода создавал не только вещи, в идейной и эстетической ценности которых можно было сомневаться (и я, потрясенная и завороженная, стояла на рижской выставке 1958 года перед его *Головой юной пианистки*, которая и до сих пор остается неподвластной никакой эрозии запоздалых сомнений: от таких идеалов не отрекаются), а во-вторых, даже вынужденный делать что-то не так или, вообще, не то, к чему лежала его душа, Микенас никогда не опускался ниже той нравственной планки, которая была поставлена им самим для всего, что он мог себе позволить, и поставлена на высоком уровне.

Вспомню лишь один эпизод, абсолютно достоверный (тому есть свидетели), может быть, сам по себе не слишком важный, но очень характерный. В последние дни еще продолжавшейся войны, в конце апреля 1945 года, Микенаса и еще нескольких литовских

скульпторов (Бронюса Пундзюса, Раполаса Яхимавичюса, молодого Вишняускаса) правительственным решением отправили в Кёнигсберг для сооружения памятника советским гвардейцам, павшим при штурме Кёнигсбергской крепости. Выбрали и отправили туда, их самих не спрашивая, не особенно интересуясь тем, что они по этому поводу думают: это было время силовых установок, военных приказов и безусловного подчинения этим приказам. В высоких политических кругах тогда дискутировался и решался вопрос, кому будет принадлежать земля Восточной Пруссии (Сталин хотел навязать ее Литве, Снечкус всеми доступными ему способами сопротивлялся введению такого Троянского коня в его республику), в связи с чем, по указанию сверху, авторами кенигсбергского монумента должны были быть литовские художники. Задачи перед ними тоже были поставлены, сформулированные «в верхах», отвечавшие целям советской политики и пропаганды и почти никакой творческой инициативы не допускавшие. Микенас и Пундзюс разделили между собой сюжеты – «Штурм» и «Победа», которые должны были воплотиться в симметричных по отношению друг к другу двухфигурных композициях (яростный бросок в атаку с оружием в руках и торжество победителей под распростертыми знаменами). Работа велась «ударными темпами» и в сжатые, «спущенные сверху» сроки, о чем Микенас вспоминал не без иронии: «Город еще горит, а они...». Он такого рода иронические суждения до конца не договаривал, но понятно было, что в горящем, разрушенном, изнасилованном и повергнутом в массовый голод уцелевшего немецкого населения городе целесообразнее было бы заняться чем-то иным, нежели сооружение «монумента Победы». Занимались, однако, именно сооружением монумента. Наступил ответственный момент «сдачи готовой продукции». В мастерскую-ангар, где работал Микенас, нагрянула обладавшая высшими полномочиями военная комиссия во главе с маршалом – командующим фронтом. Видимо, скульптура произвела на комиссию вполне благоприятное впечатление: героизм, отвага, мужество, «полет», или широкий стремительный шаг вперед (и здесь веял дух *Рабочего и колхозницы*, Микенас их видел в Париже) – все было налицо. Конечно, полная условность, отвлеченность, немыслимость самой ситуации победного марша при столь же полной реалистической достоверности человеческих фигур, лиц, военного антуража. Работу можно

было одобрить, но зоркий маршал заметил, что чего-то в скульптурной композиции не хватает. На гимнастерках гвардейцев не было ни орденов, ни медалей, никаких «георгиевских ленточек»: непорядок. Он об этом сказал, свита согласно прошелестела одобрительным хором, Микенасу не надо было переводить эти слова, он понимал по-русски. Должен был ответить: «Будет исполнено!» и немедленно вылепить и прикрепить к гимнастеркам своих гвардейцев столько орденов и медалей, сколько потребуется. Он ответил иначе: «Прошу Вас, награждайте! Это не в моей компетенции». Что это было – шутка, дерзость, проявление собственного достоинства художника, внезапный удар тока, который рождается движением той частицы, какая есть, по-моему, в крови каждого литовца, досталась ему в наследство от Великих Литовских князей, не привыкших подчиняться московским приказам?

У маршала было хорошее настроение, маршал усмехнулся, гимнастерки гвардейцев остались без «георгиевских ленточек», скульптурная композиция *Победа* Микенаса была удостоена через год Сталинской премии – первой и единственной в истории искусства «советской Литвы».

Микенас никогда не отрекался от своих друзей. Его наиболее близкими друзьями были люди противоположных миров: художник Викторас Визгирда, который ушел в эмиграцию в 1944 году (не мог не уйти, ибо в годы немецкой оккупации оставался на посту ректора Вильнюсской Академии художеств), и поэт Антанас Венцлова, который в 1940 году был назначен на пост Министра (наркома) образования Литовской ССР, в 1941 году эвакуировался в советский тыл, до конца своей жизни оставался убежденным коммунистом, искренне восхвалял Сталина в своих стихах. С семьей Антанаса Венцловы Микенас мог бы и породниться, если бы сбылась лелеемая родителями с обеих сторон мечта о том, что старшая дочь Микенаса Рима выйдет замуж за сына Антанаса Венцловы – Томаса. Надежды родителей не сбылись. Томас стал, к ужасу и величайшему отчаянию своего отца, лидером молодежного диссидентского движения, лишен советского гражданства, уехал в Америку; Рима вышла замуж за человека из кругов литовской эмиграции в Бразилии. Микенас, в глубине души, видимо, не одобряя этого брака, называл своего зятя со скрытой иронией «бразильянец» (зная, что по-русски так не говорят), но выбору и счастью

своей дочери не мешал, безумно любил своего внука Йонаса, ставшего персонажем его прекрасной, вырезанной в дереве композиции «Дзук и внук» и прославившегося тем, что в свои три года произнес знаменитую фразу «Kaip sunkiai gyventi! (Как тяжело жить!)». Жить с таким дедом, за спиной такого деда, как Микенас, Йонасу не было тяжело. Микенас был прекрасным отцом и идеальным мужем, наделенным чувством высокой ответственностиглавой семьи. Он любил, обожал свою жену – навеки запечатленную в его скульптуре, прекрасную Эугению Дварёнайте, вполне достойную этой любви и обожания, которые каждому, кто бывал в их доме, бросались в глаза, ощущались в любом слове, взгляде, поступке Микенаса. Думаю, что если бы кто-нибудь смог заставить Микенаса публично признаться в своих чувствах, он сказал бы о своем отношении к жене словами Мстислава Ростроповича, который, комментируя свое положение в доме, в браке с Галиной Вишневской, с наслаждением повторял: «Я подкаблучник, я самый настоящий подкаблучник!». Но Микенаса никто не мог вызвать на откровенный и публичный разговор о делах семейных. Он мог сколько угодно говорить о бельгийской королеве, оценившей неповторимый вкус аникшчяйского вина, или рассказывать бесконечные, вертящиеся вокруг одной первой фразы анекдоты «Есть такая птица ибис. Идет она по песку...». Но о своей любви, о своей семье он никому ничего не рассказывал. Чувство собственного достоинства никогда не позволяло ему приподнять даже краешек занавеса, прочно скрывавшего от постороннего любопытства его семейную жизнь. Не хочу эту жизнь идеализировать. Наверно, были у него свои проблемы в отношениях и с женой, и с дочерьми. Не стану утверждать, что он всегда хранил супружескую верность: время, в котором он жил, было для идеальных моногамных браков крайне неблагоприятное. За той историей, которая произошла на его похоронах, вернее, за тем, о чем говорила по этому поводу «вся Литва», наверно, скрывалась доля истины: когда траурный кортеж машин двинулся от здания Художественного института, где происходила гражданская панихида, в сторону кладбища, в одном из автомобилей случайно открылась плохо закрытая дверца и сидевшая с краю женщина – молодая преподавательница марксизма-ленинизма в этом Институте – выпала из машины и от удара об асфальт мгновенно

венно скончалась. Говорили о том, что она была возлюбленной Микенаса в последние годы его жизни и что он, словно вождь древнего литовского племени, забрал ее с собой по языческому ритуалу в могилу. Можно поверить. Литва всегда была страной полуязыческой.

Не знаю, по каким языческим или христианским нравственным законам жил Микенас, но знаю, что он всегда старался помочь людям, от него зависевшим, особенно людям, попавшим в беду. Наверно, сотни людей могли бы рассказать, как и чем в различных обстоятельствах помог им Микенас. Наиболее ярким примером такого рода было спасение Гедиминаса Йокубониса и Казиса Киселиса – учеников Микенаса, в ту пору еще студентов – от грозившего им исключения из Института за то, что оба скрыли от отдела кадров короткий период своей учебы в духовной семинарии во время войны и осмелились, уже будучи студентами Художественного института, выполнить заказ католического костела на реставрацию старой и создание новой скульптуры «религиозного содержания». Грех по тем временам (рубежа 40–50-х годов) считался огромным, и если бы профессор Микенас проявил равнодушие к судьбе своих учеников, хотя бы просто промолчал на педагогическом совете, устранился от решения их участи, исключение из Института было бы неизбежным, и вряд ли молодые люди, исключенные из Института, смогли когда-либо вернуться в большое искусство. Микенас спас своих учеников, приложив к тому немалые усилия и сам себя подвергая риску (времена были очень суровые), спас их дарования и, можно сказать, спас Литву от утраты таких ярких молодых дарований. И знаменитый *Рыбак* Киселиса в Клайпеде, и монументальный ансамбль в Пирчюписе, и памятник Адаму Мицкевичу в Вильнюсе Гедиминаса Йокубониса – все это было еще впереди, и в том, что все это состоялось, есть большая заслуга Микенаса, о которой он сам никогда никому не рассказывал. Он был гордым и скромным человеком.

Самым редким и изумительным его качеством (отчасти он сумел его передать, «привить» своему любимому ученику Константинасу Богданасу, но все же только отчасти) была органическая неспособность к зависти. Он радовался успехам своих коллег. В развитии литовской скульптуры он преследовал не личные, а нацио-

нальные интересы. Он содействовал реализации талантливых творческих проектов даже в тех случаях, когда лично ему, его «шкурным интересам», такие проекты могли повредить (в конкурсах и тому подобных ситуациях). Просто у него не было «шкурных интересов» ни в жизни, ни в искусстве. Наиболее очевидным примером тому может служить история с гранитными плитами с барельефами по мотивам *Дзядов*, которые были созданы перед войной скульптором Генрихом Куной для памятника Адаму Мицкевичу в Вильнюсе. История этого памятника была трагична. Реакционная националистическая общественность «польского Вильнюса» всячески сопротивлялась его сооружению, не признаваясь открыто в собственном антисемитизме, но все же не желая допустить, чтобы автором сооружения оказался человек еврейского происхождения (блестяще победивший на сложнейшем общенациональном конкурсе и получивший первую премию). Если до войны еще оставалась надежда, что вопреки сопротивлению реакционных сил памятник все-таки будет по проекту Куны поставлен в Вильнюсе, то с началом войны все окончательно рухнуло. Сначала «Советы» похоронили этот проект: что им Мицкевич, что им мастер европейской славы Генрих Куна, они занимались в 1940–41 году сооружением гипсовых истуканов – портретов Ленина, Сталина. Потом нацистские оккупанты уничтожили все, что еще оставалось от этого проекта: при бомбежке Варшавы в сентябре 1939 года одна из первых бомб, сброшенных немцами на польскую столицу, попала в литейный завод, где находилась уже отлитая в бронзе статуя Мицкевича; деревянная модель, по которой была отлита эта статуя, сгорела в охватившем завод пожаре. После оккупации Варшавы гитлеровцы добрались и до самой бронзовой статуи: распилив ее на части, увезли на военный завод и расплавили ее для производства оружия. Сам Куна чудом пережил оккупацию и холокост, скрываясь у друзей, прятавших его с риском для собственной жизни, а в конце войны – в полном одиночестве, изолированный от всего мира, в собственной квартире; пережил не надолго, не выдержав всех испытаний военного времени: его сердце перестало биться в декабре 1945 года. Рельефы, высеченные на блоках розового волынского гранита и предназначенные для облицовки постамента памятника Мицкевичу, казалось, бесследно пропали (за исключением двух, сохранившихся в Варшаве, – всего их было 12).

Десять плит с рельефами были найдены в подвалах бывшего Бернардинского монастыря, в котором разместился Государственный Художественный Институт Литовской ССР, при ремонте, произведенном в конце 1940-х годов. Встал вопрос: что с ними делать? Власти «советского Вильнюса» – ни городские, ни республиканские – ни о каком памятнике Мицкевичу, созданном по проекту скульптора, работавшего в «буржуазной Польше», в «польском Вильнюсе» 30-х годов, после войны так же, как в 1940–41 годах, не хотели и слышать, но поскольку эти власти – вся эта власть уже была не совсем кремлевской, а концентрировалась в руках Антанаса Снечкуса – человека, который старался по собственной инициативе никогда не причинять вред Литве и умел на многое происходившее помимо воли Кремля в республике закрывать глаза, положение было не совсем безнадежно. Решение вопроса о том, что делать с обнаруженными каменными плитами, власть оставила на усмотрение Художественного Института, на территории которого они оказались. Дирекция, естественно, обратилась к Микенасу: он руководил отделением (факультетом) скульптуры, он был единственным Лауреатом Сталинской премии, от его авторитетного слова все зависело. Никакой особой личной симпатии к культуре «польского Вильнюса», к ее мастерам у Микенаса не было: довелось ему познать не самую лучшую сторону этой буквально ошестившейся против всего литовского культуры, когда в конце 1939 года его назначили директором Высшей Свободной Художественной школы (будущей Вильнюсской Академии художеств) и польский художественный Вильнюс встретил его в штыки. В личных интересах Микенаса (я уже сказала, что не было у этого человека «шкурных интересов», но какие-то личные интересы, проявления творческого честолюбия, заботы о собственном престиже, наверное, все-таки были) было бы естественное стремление эту находку скрыть, вернуть скульптурные *Дяды* Куны в подвал темницы, отослать их в Польшу, куда угодно, никому не показывать. Если в Литве у скульптора Микенаса не было достойных соперников, то Генрих Куна, даже мертвый Куна, мог быть ему самым настоящим соперником: та же парижская школа стояла за ним, но мировое признание, размах творческих возможностей были шире, слава – громче; далеко не во всех крупных европейских музеях были представлены работы Микенаса, произведения Куны – почти

во всех. Продемонстрировать собственным ученикам, что не где-то в абстрактных даях американской эмиграции, на сияющих вершинах всемирного авангарда, а здесь и сейчас, в нашем Вильнюсе, существует, или еще недавно существовала школа пластики, до высокого уровня которой мы, литовцы, еще не поднялись, а главное, показать им *Дзяды* – взрывоопасные для любой российской, в том числе и для советской империи, взрывающие душевный покой и гражданский мир звоном кандалов, – ну какой другой профессор советского вуза, лауреат Сталинской премии и пользующийся государственным почетом академик мог на это пойти? Микенас на это пошел. Жестом Великого князя, словом, высокого великодушия он приговорил эти рельефы к вечной жизни. Почти полвека они находились на не знающей себе подобных выставке под открытым небом, лежали для всеобщего обозрения в сквере прямо под окнами художественных классов и мастерских, и несколько поколений студентов и выпускников Художественного института ежедневно общались с ними, невольно приобщаясь к той традиции протеста и бунта, которая никак не была выгодна советской правящей элите (а Микенас к этой элите в известном смысле принадлежал) и вела к тому, чем стал литовский «Свюдис»: дорога в Институт шла мимо этих рельефов. Много позже, спустя двадцать лет после смерти Микенаса, когда в уже готовой к возрождению Литве наступило время для создания и открытия нового памятника Адаму Мицкевичу, его автор, ученик Микенаса, Гедиминас Йокубонис включил все сохранившиеся рельефы Куны в архитектурный ансамбль этого монумента. Мне кажется, в этот момент ударил звон колокола, и не надо спрашивать, по ком звонит этот колокол. Он до сих пор звонит, хороня и благословляя, прощая и оплакивая людей XX века, бывших и жертвами, и героями этого века. Но среди множества этих людей не было таких ярких личностей, как Микенас. Больше – ни одного.

Известие о смерти Микенаса я услышала от Владимира Павловича Толстого. Он вошел в зал заседаний нашего НИИ теории и истории искусств Академии художеств СССР, воскликнул: «Умер Микенас!». Я замерла, как-то окаменела, ни о чем не спрашивала. Почти физически ощущала, как огромная глыба со скрежетом боли отрывается от материка, имя которому – жизнь. Без Микенаса жизнь становилась мельче, беднее. Шел октябрь 1964 года. Люди

были заняты мыслями о перемещениях в высших эшелонах власти, о судьбе Хрущева и его сподвижников, предавших его. Немногие заметили и осознали истинную утрату, которую понесла не только одна Литва. «Слава тебе, несказанная боль. Умер вчера сероглазый король...».

Константинас Великолепный

Вторым человеком, который ввел меня в Великое Литовское Княжество, был Константинас Богданас. Он сделал это как-то изумительно легко и изящно, словно не шел и не тащил меня за собой, а вел в танце, под мелодию нежного танго, ни разу не сбившись с его волшебного ритма.

Своими первыми публикациями в литовской печати (в основном искусствоведческом журнале той поры «Дайле», в центральной газете «Тiesa»), своей кандидатской диссертацией (самим выбором ее темы, всем ходом исследования) я обязана именно ему – не столько его советам или прямой протекции, сколько его изумительному умению в какой-то недостижимой высоте зажечь зеленый свет успеха, освещающий дорогу – лестницу, ведущую вверх. Не было бы без него и нашей книги (С. Червонная, К. Богданас, *Искусство Литвы*), изданной 1972 году в издательстве «Искусство» вопреки яростному сопротивлению Союза художников СССР, придирчивой государственной цензуре (особенно после самосожжения Каленты наши цензурные полковники просто с цепи сорвались, заставили меня подписать декларацию, что никто из лиц, выписанных из последней главы нашей книги, не находится в эмиграции; открывался список этих лиц фамилией Снечкуса) и колебаниям директора этого Издательства Евгения Ивановича Севостьянова. Как-никак это была первая, в ту пору единственная история искусства и архитектуры Литвы от древнейших времен до наших дней.

Но это все случилось позже.

Впервые я увидела Константинаса на выставке прибалтийской скульптуры в сентябре 1958 года. Он был тогда просто великолепен. Вообще, эпитет «Великолепный», как известный турецкий султан, он мог бы по праву носить всю свою жизнь до глубокой старости, до печального дня смерти в 2011 году. Но тогда это особенно бросалось в глаза. Ему было 32 года – пора расцвета его ис-

ключительного мужского обаяния. Начало стремительного движения вверх по ослепительно яркой освещенной лестнице, вершина которой терялась где-то в небесной высоте. Он недавно окончил аспирантуру при ленинградском Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, за свою скульптурную композицию, посвященную повстанцам 1863 года, получил ученую степени кандидата искусствоведения. Членом Союза художников он стал чуть ли не со студенческой скамьи. В ближайшем времени ему предстояло взлететь по всем ступеням – получить звание доцента, потом профессора, на какое-то время стать Проректором Художественного Института, депутатом Верховного Совета Литовской ССР, Секретарем Союза художников СССР, членом-корреспондентом Академии художеств СССР и, главное, многократно переизбираемом на очередных съездах Председателем Союза художников Литовской ССР, то есть главой и лидером всего коллектива литовских художников. Конечно, можно сказать, что вся эта блестящая карьера рухнула вместе с крушением СССР, но Константинас отнюдь не разбился при падении со всех достигнутых им высот. По сути «Саюдис» был отнюдь не враждебной, не чужой ему организацией, и когда все это началось (движение к исчезновению советской Литвы, к возрождению независимости), ему даже в голову не пришло этому победоносному движению (Саюдису) сопротивляться. Он не вступил в «ночную» Коммунистическую партию Литвы, связавшую свои надежды с антигорбачевским путчем, и единственно, о чем он жалел, – это о том, что к марту 1990 года он уже не был депутатом Верховного Совета СССР и его подписи нет среди «сигнатурантов», принявших историческую декларацию от 11 марта о восстановлении государственности Литвы. В новой Литве он легко нашел себя, основав и возглавив Союз литовских дворян (в советское время о своем дворянском происхождении он не распространялся, но я знала его отца и могу от всей души засвидетельствовать: настоящий, истинный дворянин, человек великокняжеской культуры).

В Ригу Константинас прилетел прямо из Пекина. Тогда индивидуальные творческие командировки художников за границу были редкостью, вообще, никакая заграница нам не снилась (шел всего второй год после XX съезда КПССС и разоблачения культа Сталина). На рижской конференции Богданас должен был выступить с

докладом о литовской скульптуре. Его самолет (последний в цепочке самолетов, на которых он пролетел над половиной Земного шара) опаздывал, его ждали. На трибуну он поднялся буквально как входят с корабля на бал. Ему подали отпечатанный на машинке текст доклада, он начал читать.

Было какое-то особенное великолепие в том, как он принимал – весело, элегантно, с выражением вежливой благодарности и как нечто совершенно естественное и непреложное – все, что буквально тогда плыло в его руки: этот текст доклада, кем-то, возможно, не только отпечатанный, но и написанный; скульптурный бюст Ленина, который по договору с Министерством культуры он должен был представить на рижскую выставку, но тут этот Пекин, голова совсем закружилась, о Ленине забыл, и его друг («братишка») Витаутас Мачюнка вылепил, отформовал его за одну ночь и примчал на такси к утру открытия выставки из Вильнюса в Ригу – так и хочется сказать, примчал «загнав коней», потому что по всем законам великокняжеского этикета здесь должны мчаться кони, а не скучное такси с умопомрачительной суммой на счетчике, которая, впрочем, самим веселым участникам этой «погони» казалась не стоящей внимания. Я еще вернусь к этому эпизоду, столь характерному для своенравной, ни на что не похожей Литвы, в которой многое можно было себе позволить.

Вечером все участники конференции собрались в ресторане отеля «Рига». В те времена люди ходили в рестораны не столько для того, чтобы выпить и поесть, сколько для того, чтобы танцевать (никаких дискотек и ночных клубов тогда и в помине не было), общаться друг с другом, говорить и произносить длинные, многозначительные по смыслу и изысканные по литературному стилю тосты.

В тот вечер и с танцами, и с тостами дело обстояло просто великолепно.

Сначала я танцевала с другом Константинасом (они вместе учились в ленинградской аспирантуре) эстонским скульптором Яном Варесом. Ах, как мы танцевали! Оркестр не имел права играть рок-н-рол, так мы из обычной полочки сотворили такое чудо хореографической «летающей» акробатики, что весь зал нам аплодировал. Потом Константинас пригласил меня на танго, и во время этого танца, начавшегося в молчании, я сказала ему что-то по-литовски

(первое лето 1958 года в Паланге было уже временем моего приобщения к литовскому языку). Он даже остановился на мгновение воскликнув потрясенно «Вы! Вы говорите по-литовски! О мой Бог!» (таких чиновников из Москвы он еще не встречал, а я была именно чиновница из Министерства культуры СССР, прилетевшая в Ригу для того, чтобы отобрать с выставки произведения скульптуры для закупки).

Свой знаменитый тост (долго мы его помнили) он произнес уже почти в полночь, когда все столы (литовский, латышский, эстонский) были составлены вместе и рижская конференция превратилась в не управляемое никаким Президиумом радостное торжество духовного братания.

Собственно, тост был не слишком замысловатым. Константинас предложил выпить «за наш попутный балтийский ветер». Полагаю, что меньше всего он имел в виду при этом что-то «антисоветское». Антисоветские мысли не кружились в его голове, которая сама кружилась от чисто советского успеха (свой выбор он сделал давно, не ушел в 1944 году в эмиграцию, не ушел в лесное подполье, широко распахнул украшенную серпом и молотом дверь, за которой оказалась та самая чудесная лестница, ведущая вверх и только вверх). Но упал этот тост на такую благодатную почву долгих ожиданий, давней тоски, магнетического очарования «этого сладкого слова свобода» и всего, что накопилось к 1958 году в сердцах литовских, латышских и эстонских художников, что получился настоящий взрыв. Взрыв какого-то радостного предчувствия, будто на самом деле балтийский ветер уже мог надуть паруса дерзких бригаantin (а до этого было еще так далеко!). Взрыв не остался без ответа. Строгого Президиума над нами не было, но ресторан был пространством открытым и для тайных осведомителей, и для совсем не скрывающих своей принадлежности к силовым структурам оккупационного режима мастодонтов. Один из таких мастодонтов, уж не помню в каком генеральском или полковничьем чине, поднялся из-за своего стола и грозно закричал над притихшим залом: «Никогда! Не дождетесь! Не будет вам никакого попутного ветра!». Кажется, он еще что-то добавил, достаточно доходчиво разъясняя, что именно будет и что нас ждет вместо попутного ветра. Намерения у него были самые серьезные (кого-то вызвать, кому-то что-то немедленно сообщить, всех присутствующих переписать по именам

и фамилиям), и все мы, еще не разучившиеся бояться, замерли, перебирая в уме тревожные варианты того, что именно с каждым из нас теперь будет.

Всех выручил Константинас, проявив тот дипломатический дар, который, может быть, только тогда у него впервые открылся и который потом так помогал ему всю жизнь. Каким-то образом ему удалось успокоить взбесившегося зверя, погасить его ярость, убедить его в том, что все мы – честные советские люди, а свежий, попутный балтийский ветер – это как раз ветер той самой великой Победы, какую принесли в Прибалтику Вооруженные Силы, в которых этот мастодонт служил. Константинас был великолепным дипломатом, артистом, фокусником, факиром, умевшим внушить потрясенному собеседнику, что черное – это белое. Может быть, это тоже особенность великокняжеского характера, во всяком случае редкие способности такого рода, наверно, потом еще не раз были востребованы.

Витас. Легенда с известными и неизвестными составляющими

Если бы мне предложили, как на суде под присягой, рассказать о Витасе «правду и только правду», я при всем желании не смогла бы отделить эту правду от тысячи легенд, которые не просто постоянно сопутствовали ему при жизни и сопутствуют после смерти (он умер в 1999 году, немного не дожив до начала нового века), но, можно сказать, формировали его личность. Эти легенды, придуманные им самим, его родными в далекой Америке, имевшими смутное представление о жизни по нашу сторону «железного занавеса», его друзьями и недругами со всех сторон, влюбленными в него женщинами и женщинами, на него разгневанными, людьми, причастными к литовской политике, истории, культуре, и людьми, далекими от всего этого, настолько впитались в его плоть и кровь, что вырвать их просто невозможно. Да и не надо вырывать, поскольку самые невероятные, фантастические легенды оборачивались суровой жизненной реальностью, были настоящей жизнью.

Он родился в Каунасе 30 декабря 1930 года, и был, наверно, последним Витасом в том сумасшедшем юбилейном году, когда вся Литва отмечала 500-летие со дня гибели Великого Литовского

князя Витаутаса (будто это был какой-то исторический праздник) и всех мальчиков, родившихся в этот год, называли этим именем.

Его отец полковник Антанас Мачюйка, ученый, занимавшийся теорией воздухоплавания, и офицер литовской армии, считался основоположником литовской военной авиации. Я не знаю точно, какой пост занимал он в отнюдь не стабильных, а менявшихся армейских структурах, занимавшихся развитием этой авиации, но это был, несомненно, достаточно высокий пост, чтобы обеспечить не только безбедное, но богатое состояние всей семьи и счастливое детство Витаса. Он рос красивым и способным мальчиком, занимался спортом, успешно учился в гимназии (кличка «Гимназист» осталась за ним и в послевоенном подполье) и мог полной чашей черпать радость из многих источников, к которым относились и слава отца, и семейная культура (богатая библиотека, разносторонние интересы, аристократические традиции), и ощущение внутренней свободы в независимом литовском государстве, и материальное богатство (роскошный дом в Каунасе, вилла в Паланге, с момента возвращения Вильнюса Литве в октябре 1939 года квартира в новой столице; машина отца, редкая в ту пору в повседневном быту, да собственно и весь национальный аэродром с его самолетами и вертолетами в полной доступности для мальчишки).

Отец не дожил до тех потрясений, в которые была ввергнута Литва с июня 1940 года – не дожил ни до советской, ни до немецкой оккупации, умер «своей смертью» в начале 1940 года. Витас и смерть отца, и обе оккупации пережил отнюдь не равнодушно (ломался и исчезал, погружаясь в бездну, весь его прежний, привычный, счастливый мир), и кажется, уже в последние годы немецкой оккупации был как-то связан с литовским вооруженным подпольем, которое, вопреки советским мифам о «буржуазном национализме», не было коллаборационистским, а вело героическую борьбу с фашистскими оккупантами.

Главный перелом в его жизни наступает (и одновременно главная легенда его жизни формируется) летом 1944 года. Фронт и Красная Армия стремительно приближаются к Литве, и перед тысячами литовских семей встает трагическая дилемма: «уйти» (в эмиграцию) или «остаться». Для вдовы полковника Мачюйки Антонины Мачюйкене такого вопроса не существует, «уходить» надо непременно, старший сын Витянис полностью ее в этом поддерживает, но Витас... Витасу всего 14 лет, но он оказывается достаточно взрослым, достаточно упрямым и непреклонным человеком, чтобы

принять самостоятельное решение, записанное в легендах о его жизни гордыми и красивыми словами «Здесь – Литва, здесь могила моего отца, здесь моя Родина». Оставить Литву в беде, бежать из Литвы для него невозможно. За свободу Литвы надо сражаться и отдать жизнь.

Не знаю, как на самом деле семья Мачюйки «уходила» на Запад. Большинство литовцев уходили пешком, запрягали лошадей, если были лошади, уезжали на последних пассажирских поездах, отходивших с каунасского и вильнюсского вокзалов в Берлин. Сохранилась легенда, что в аэропорту дежурил самолет, предназначенный для вдовы и детей полковника Мачюйки, что взлетел он в последнюю минуту перед тем, как воздушное пространство наступающая Красная Армия взяла под контроль, что до самой этой последней минуты мать, кажется, на коленях умоляла младшего сына улетать. Самолет взлетел без Витаса.

Витас остался один в опустевшем доме. Он, конечно, не был одинок, и в его позднем автобиографическом романе *Свои и чужие*⁷⁹, в котором и мне отведена скромная роль под моим настоящим именем «Светлана», довольно подробно описана его жизнь в «освобожденной» Литве в конце 1944 – начале 1945 года. Видную роль в этой жизни играли бывшие сослуживцы отца, был лейтенант, в подчинении которого он находился в уже хорошо организованном лесном и городском подполье, была сестра милосердия Алдона (думаю, не придуманная, а вполне реальная, и вероятно, прекрасная в свои 18 лет и ставшая для Витаса и его первой женщиной, первой любовью, и более сильным, чем абстрактная Литва, стимулом его пребывания здесь и отказа «уходить» на Запад). Не знаю, что успел он совершить в эти первые месяцы своего (видимо, отнюдь не пассивного) пребывания в подполье. Легенда советского времени гласила о том, что почти ничего не успел совершить, расклеивал какие-то плакаты, распространял листовки, ничьей кровью руки свои не обагрил. Легенда постсоветского времени (когда был написан роман *Свои и чужие*) делает его бесстрашным партизаном, юным героем вооруженного сопротивления советской диктатуре.

⁷⁹ Vytautas Mačiūka, *Savi ir svetimi*, Politinis romanas. – Kaunas: Spindulys, 1994.

В первый раз его арестовали в 1945 году (ему еще не исполнилось пятнадцати лет), и с этого ареста начинается целая серия новых головокружительных легенд – история его побегов из застенков КГБ–НКВД. Когда я впервые услышала об этих невероятных побегах (сначала от Константина Богдана, который первым рассказал мне историю жизни Витаса; было это в ноябре 1958 года, мы долго сидели за завтраком в кафе главного отеля латвийской столицы «Рига», и Константина не мог оторваться от этого рассказа, проверяя каждым словом, каждым вопросом, каждой паузой, может быть, не столько Витаса, сколько самого себя, пытаясь понять, как надо было жить в 1945 году; потом от самого Витаса), я верила всему без тени сомнений. Теперь мне кажется достоверным только первый побег: в 1945 году в том ведомстве еще не было железного порядка, и какой-нибудь рассеянный следователь, не придававший значения задержанному «малолетке», мог, действительно, на минуту оставить его одного в комнате с раскрытым окном, явно недооценив ни спортивных возможностей Витаса, которому выскочить или как-то иначе выбраться из окна даже на высоком этаже не то чтобы ничего не стоило, но было легче, чем «нормальным» заключенным, ни его решимости (позднее в своей жизни он еще не раз – в разных обстоятельствах – буквально выскакивал из окна, принимая внезапные и нестандартные решения). Мог ли он бежать из второго заключения, кажется, из вильнюсской тюрьмы Лукишки, с этапа, а тем более из той сибирской дали, где он находился в лагере после третьего ареста, не знаю... То есть «знать» или «не знать» здесь нечего, он, действительно, трижды бежал из заключения, последний раз добрался из Сибири до Литвы, это точно известно и зафиксировано в его биографии показаниями многих свидетелей, но сам ли? Сегодня многие, рассуждая об этом, говорят с иронической усмешкой: «Оттуда так просто не бегут». Использовали его «втемную», создавая условия для побега и следуя за каждым его шагом (искренне на это надеюсь), или сломали его настолько, что он добровольно выполнял «задания» и каждым своим побегом и контактами с бывшими соратниками, ставил их под удар (очень не хочется этому верить), не знаю. Вероятно, действительно, «оттуда так просто не бегут», но может быть, это относится только к обычным людям, а выдающиеся способности, отвагу, решимость Витаса люди с ограниченным мышлением просто не в силах оценить. Важно, что никаких документов, никаких следов, «разоблачавших» его возможное сотрудничество с «органами»

никому никогда не удалось найти (а после 1990 года в Литве, когда многие архивы оказались открыты и доступны, это можно было сделать, если бы нечто такое имело место), и Витасу удалось полностью реабилитировать себя в литовском общественном мнении. Дружба с Президентом Литвы Владасом Адамкусом, который знал мать и брата Витаса еще по американской эмиграции, после своего возвращения в Литву бывал в мастерской, на выставках Витаса, участвовал в траурной церемонии прощания с ним (похорон не было, по завещанию Витаса его прах был развеян над морем в Паланге), сама по себе о многом говорит.

О жизни Витаса в тюрьме и лагере Константинас почти ничего не знал, а сам Витас рассказывал мало и скупно. В стихах, которые он посылал на волю (а возможно, придумывал позднее как весточки, посланные на волю), он писал:

«Я жив, здоров. Кругом – тайга.
Об остальном – неважно.
Со мною не стряслась беда,
Порукой служит, как всегда,
Простой листок бумажный».

С его героическим ореолом была как-то несовместима роль несчастного юноши (вероятно, действительно выпавшая на годы его молодости), над которым можно издеваться, которого можно бить и пытаться. И вроде бы ничего такого никогда не было. Во всяком случае ни слова об этом во всех легендах. В советское время это было вполне объяснимо (всей правды о лагерях – правды «шаламовской» – люди, не побывавшие там, не знали; подписку о «неразглашении» обстоятельств пребывания в лагере никто не отменял), а после 1990 года, когда обо всех ужасах уже можно было открыто говорить, Витас говорить не хотел. Только однажды, нарушив правила презрительного умолчания обо всем, что там происходило («об остальном – неважно»), Витас рассказал мне, как карали заключенных, настилая над ними доски и устраивая на этих досках прыжки. Наверно, сам пожалел об этом рассказе. Его лагерная легенда исключала страдальческую составляющую, но думаю, что на самом деле пришлось ему и пережить, и насмотреться на такие кошмары, для описания которых нет слов. Вся прежняя, счастливая и достойная жизнь перевернулась, рухнула в черную бездну.

Зато его лагерная легенда имеет иную, совершенно неожиданную составляющую – историю превращения боевика из антисоветского подполья в убежденного и последовательного коммуниста.

Согласно легенде, там, в лагере, среди погибающих (и не погибающих, а умеющих выжить) эзков он встретил таких, «настоящих» коммунистов, преданных делу Ленина и идеалам революции. Эти люди, с риском для собственной жизни защищавшие его от лагерного беспредела, научили его основам ленинского учения, заразили его своей верой в коммунистические идеалы. Все это представляется сегодня чем-то на грани фолы, и я не знаю, кто и как Витаса этому коммунизму учил. Но он, действительно, вернулся в Литву убежденным (о Боже, в чём?!) коммунистом.

Константинас, который только вставал тогда, после окончания ленинградской аспирантуры, на трудный путь компромиссов и сотрудничества с советским режимом, с изумлением говорил о Витасе (в 1958 году он называл его нежно «братишка»): «Он больше советский человек, чем я; он больше коммунист, чем я». Нечто подобное чувствовала и я. Меня советская власть не превращала в лагерную пыль, я без всяких угрызений совести была членом комсомола, потом членом партии, я не ощущала конфликта и несовместимости с правящим режимом, но такой светлой веры в коммунистические идеалы у меня никогда не было. Если бы Витас, который на определенном отрезке моей жизни имел на меня очень сильное влияние, позвал бы меня за собой, условно говоря, «на баррикады» правозащитного движения, в диссидентское антисоветское подполье, я, наверно, послушно бы за ним пошла, и кто знает, как бы тогда сложилась моя жизнь. Но Витас не был ни диссидентом, ни человеком, разделявшим идеи подполья (в Литве и в 50-х, и в 60-х годах XX века довольно сильного). В своей скульптуре он создавал образы Маркса (великолепный портрет из черного гранита), Ленина (первый бюст, который он, кажется, в одну ночь вылепил и отформовал в гипсе, и схватив такси, привез из Вильнюса в Ригу к открытию выставки прибалтийских республик в сентябре 1958 года, причем щедро подарив авторство Константинасу, который по договору с Министерством культуры должен был этот бюст создать и представить на выставку, но не успел, уехал в командировку в Китай, закрутился в счастливом хороводе событий той осени 1958 года и получил в Риге от Витаса такой неожиданный

подарок), Путны и других героев октябрьской революции и большевистской гражданской войны. Он писал стихи, в которых, конечно, при большом желании можно было услышать прозрачные аллюзии («Не те времена, генерал...» – это, кажется, не только об американской военщине), но которые все-таки из русла коммунистической идеологии не вырывались. Его можно было бы считать, вообще, идеальным советским художником, только и в этой легенде всегда было нечто недостоверное, какое-то второе дно, какой-то внутренний слом безупречно правильной модели, неслучайно советская власть в полной мере никогда не доверяла ему. Даже за границу, на далекий Запад, его ни разу не выпустили. Мать потом приезжала к нему в Литву, он в Америку – никогда.

Его освободили из лагеря в 1955 году, причем он попал под статью (не знаю точно, существовала ли такая статья в советском законодательстве хрущевской поры, скорее это была инструкция для служебного пользования), предусматривающую, что все «дети» (несовершеннолетние), арестованные при Сталине по 58-й (политической) статье, возвращались к местам своего прежнего проживания и получали все конфискованное у них при аресте имущество, если такая конфискация имела место. Эта гуманная и либеральная установка была рассчитана на совсем других «детей»: их, вообще, было сравнительно немного, тем более немного уцелевших и выживших к 1955 году, и никакими большими расходами советской казне эта статья не грозила, речь шла о каких-то ничтожных квадратных метрах жилой площади, где эти выпущенные из лагерей люди могли начать жизнь заново, о мизерных суммах на сберкнижках, если такие суммы лежали на сберкнижках до ареста, или вообще ни о чем, если нельзя было доказать, что эти несчастные дети до ареста какими-либо ценностями располагали. Но Витас... На него сразу, кажется, буквально в один день, свалилось все прежнее богатство его семьи. Разумеется, не без помощи высоко поставленных, обладающих властью и благорасположенных к нему чиновников (а такие в Литве были на всех этажах власти от какого-нибудь паспортного отдела милиции до высоких кабинетов ЦК Компартии Литвы и, может быть, того же самого КГБ, которое его жизнью играло), он получил все – и дом в Каунасе, и дачу в Паланге, и квартиру в Вильнюсе, и многое другое. Его брат к тому времени занимал видное положение профессора американского университета, и помощь от брата и матери также потекла широким потоком.

Для него началась (еще раз после крутого перелома) совершенно новая, фантастическая жизнь. Пожалуй, никто в Литве в те годы не жил так, как он, не мог себе так много позволить. Помню, как однажды в Вильнюсе во время наших ночных сумасшедших скитаний по городу (об этом чуть позже) мы решили зачем-то заехать к нему домой, кажется, посмотреть какой-то эскиз. Он остановил в Вильнюсе такси. Он сказал водителю: «Привет! Давай ко мне домой!», и это не был случайный знакомый водитель. Его знали все водители городских такси, и ему не нужно было называть свой адрес. Наш водитель только спросил: «К тебе домой в Вильнюс или в Каунас?», и это был логичный вопрос, потому что по любому поводу и капризу он мог погнать машину из Вильнюса в Каунас, в Палангу, куда угодно, денежные лимиты для него просто не существовали, он денег не замечал, не считал.

Но он вовсе не «купался в роскоши», как, наверно, стремился бы жить «нормальный человек», на которого после десяти лет заключения (нищеты, голода) свалилось бы нечаянное богатство. Он вел даже, можно сказать, аскетический образ жизни, шкафы в его квартирах были почти пусты, ничего он не собирал, не копил. Ему вполне было достаточно той одежды, которая на нем, и я даже не знаю, были ли у него какие-то вещи на смену. Другое дело – высочайшее (американское) качество всего, что он носил, чем он обладал, ничего от советского «ширпотреба». По-настоящему нужен ему был только его мотоцикл, с мотоциклом он, как античный кентавр, составлял единое целое. Он пил мало, пил только шампанское, и никогда не пил, когда был за рулем. Его не интересовали жратва, рестораны, ему было все равно: роскошный ресторан, где за один вечер, заплатив за весь стол, заполненный знакомыми и мало знакомыми людьми, он мог отдать столько денег, сколько «нормальный человек» зарабатывал в месяц, – пожалуйста, никаких проблем; какой-нибудь затерянный хутор на пути мотоциклетного пробега, где нас, по дороге, за ничтожные деньги или, кажется, даже без всяких денег поили молоком, кормили картошкой и черным хлебом, – еще лучше, он был не привередливым человеком. Когда мать купила ему в Ватикане у Римского папы за тысячу долларов индульгенцию от грехов, он сказал, пожав плечами: «Лучше бы она купила мне на эту тысячу долларов жевательной резинки». Задолго до формирования на Западе протестного движения богатой молодежи, которая стала называть себя «хиппи», у

него была философия «хиппи», он не хотел никакой роскоши, на любое богатство ему было просто плевать, вероятно, потому, что он уже хорошо знал, как легко его потерять, как мало оно чем-либо застраховано. И в его внешнем облике, и в манере поведения ощущалось демонстративное отрицание «мещанской красоты». Во времена элегантных мужских костюмов и модных галстуков (как великолепен был, к примеру Константинас, в совершенстве освоивший моду конца 1950-х годов) Витас ходил всегда в черной спортивной куртке (из кожи тончайшей, мягкой выделки) и брил наголо голову, не вернув себе светлые локоны гимназической, до-лагерной поры.

Однако, в отличие от «хиппи», которые были детьми лени и праздности (хорошо помню, как звенели колокольчики этого ленивого стада, возлежавшего в Лондоне на Пиккадили стрит летом 1967 года), Витас был полон энергии и был человеком дела. В первый же год после освобождения он – без всяких проблем на вступительных экзаменах – поступил в Художественный институт Литовской ССР и вскоре стал не только лучшим, не только любимым учеником профессора Микенаса, но каким-то совершенно исключительным в педагогической практике Микенаса явлением. Я помню бесконечное множество рассказов Микенаса, которые он начинал словами «Один мой студент...», не называя Витаса по имени и фамилии, и которые заключали в себе безмерное изумление-восхищение по поводу того, что Витас вытворял. История с бюстом Ленина, который он пригнал на такси к открытию рижской выставки, исполнив эту работу за Константинаса (и исполнив безупречно в профессиональном плане, хотя был тогда всего лишь студентом второго курса), – только одна из многих. Господи, сколько же ярких, неожиданных, смелых проектов рождалось в его голове, как он умел увлечь своих однокурсников, какие фантазии вдохновляли его! Чего стоит одна только история с памятником Дарюсу и Гиренасу!.. Кстати, уж если вести речь о легендах его жизни, то и в этой истории, наверно, надо развести в разные стороны легендарное, романтическое, и реальное, прозаическое начало и уже не воскликнуть, а очень серьезно спросить (не знаю только – кого), чего на самом деле стоит эта история. Сами имена литовских летчиков Дарюса и Гиренаса, совершивших в 1933 году на самолете «Литуаника» первый беспосадочный перелет из Америки в Европу и погибших в конце этого перелета при загадочных

обстоятельствах в Солденском лесу, были чем-то вроде бельма в глазу сначала для нацистских оккупантов Литвы (немцев подозревали в умышленном расстреле «Литуаники»), затем для советской власти, которая никаких литовских национальных героев, кроме коммунистов-партизан, не признавала. Понятно, какое огромное, магнетическое значение имели эти имена для Витаса, влюбленного в авиацию и в Литву. В независимой Литве летчикам Дарюсу и Гиренасу предлагалось соорудить мавзолей, захоронив в нем мумии героев. В годы нацистской оккупации мумии исчезли, и Витасу лишь спустя почти 15 лет после войны удалось проделать немыслимую работу, найдя – по сложнейшей цепочке связей – то место и тех людей, которые эти мумии от оккупантов скрывали. Витас жил мечтой создания памятника Дарюсу и Гиренасу, и почти фантастическим образом ему удалось воплотить эту мечту в жизнь, и его дипломная работа стала каменным изваянием с портретами Дарюса и Гиренаса, установленным на Военном кладбище в Каунасе. Но для воздвижения этого монумента надо было Дарюса и Гиренаса захоронить, то есть уничтожить чудом уцелевшие мумии национальных героев: в Советском Союзе могла существовать только одна мумия и только один мавзолей в Москве на Красной площади, и Витас с этим тогда соглашался. Кому это в конечном итоге было более всего выгодно – вопрос сложный, и не использовали ли и в этот раз Витаса в своих целях люди, сидевшие в разного рода серых кабинетах, – те *чужие*, которым без помощи *своих* ни за что и никогда не удалось бы выйти к национальным литовским святыням, теперь уже трудно сказать. Но памятник Дарюсу и Гиренасу стоит в Каунасе, а до тех пор еще ни одна дипломная работа выпускника Художественного института не становилась городским монументом.

У Витаса после его возвращения в Литву было много любовных приключений и романов. Такая яркая личность привлекала к себе многих женщин. Он сам в этих связях ценил, говоря словами Гёте, «роскошь человеческого общения», ценил возможность обмена какими-то духовными сокровищами с людьми своей и чужой культуры, ценил то, что за именем той или иной женщины стояло, например, успех на сцене, творческий опыт, признание в собственном отечестве или за рубежом, романтика иностранного гражданства или экзотического национального происхождения (Ася – референт Союза художников СССР «по Прибалтике» Анна Георгиевна Зуйкова – выдавала себя за цыганку, и это неплохо звучало в

те годы: цыганка!). В самую последнюю очередь его интересовал секс. Если он встречался и проводил всю ночь с девушкой, то не для того, чтобы совершать физические упражнения, вряд ли доставлявшие ему большое удовольствие, в постели. Ему надо было говорить с женщиной. О чем-то рассказывать, о чем-то расспрашивать, куда-то далеко увезти, умчать ее на своем мотоцикле, подарить ей звезды, дюны, сосны, морские волны, стихи. Разве что под самый конец сверкающей тысячами огней ночи, когда уже все темы были исчерпаны и уже поднималась холодная утренняя заря, он становился обычным мужчиной.

У него был хороший вкус, и думаю, что он никогда не опускался до повторения слов, приемов, способов «обольщения». У него была богатая фантазия, и каждый его роман был неповторимым плодом этой фантазии, которому он сам задавал особенные формы, краски, алгоритмы, динамику.

Мы с ним познакомились (узнали друг о друге) прежде, чем встретились. Ему что-то рассказывали его друзья в Паланге о девчонке, которая не боится прыгать с мчащегося на полной скорости катера в море, и как он мне говорил потом, он тогда подумал: «Если на самом деле есть такая девчонка, она от меня не уйдет». Я уже выслушала долгий рассказ Константинаса о своем «братишке», не пропустив из него ни единого слова и привыкла к рассказам Микенаса, произносимым с интонацией искреннего изумления и всегда начинавшимися словами «Один мой студент...». Я знала о том, что Ася (Анна Георгиевна Зуйкова – злой дух всей моей начинающейся после окончания университета жизни) ждет от него ребенка уже без малейшей надежды женить его на себе (я уважала такую самоотверженную любовь, помня о том, что Ася на 10 лет старше меня, на 4 года старше Витаса, и в ее женской жизни это последний шанс). Много о чем я знала, но не думала, совершенно не думала о Витасе серым сентябрьским днем, вернувшись в дождливую Москву 1959 года из солнечной Паланги, когда достала из почтового ящика зеленый литовский конверт, в котором находилась открытка с изображением Паланги, с видом на берег с моего любимого пирса, с волнами, бьющимися о песчаный берег. На открытке размашистым почерком было написано:

«То ли светлый, то ли яркий,
То ли мрачный, жуткий свет –
Нипочем.
Сквозь бураны, насквозь солнца,

Бросив космосу перчатку,
Кто-то прет гигантским шагом
Напролом.
Когда к Тебе приехать?
Твой Рыбак»

И ниже каунаский адрес неизвестного адресата (не его, а чей-то чужой) на который можно было ответить.

Я ответила: «Кто же Ты есть, «мой Рыбак»?

Извини, что я Тебя не узнала, но в Паланге было так много веселых рыбаков, а поэта я, право, не знала ни одного [...] И как Ты, Рыбак, попал в Каунас?

Но кто бы Ты ни был, я благодарна Тебе за открытку, которая напомнила мне о нашей Паланге, и о людях, которые умеют идти «насквозь солнца», «бросив космосу перчатку». И дерзость Твоя мне нравится [...]

Светлана «nuo jūros tiltos» [с морского моста].

P.S. Если Ты тот, о ком я думаю, напиши мне слова песни о том, что «хоть кожа черная у нас, мы тоже люди...».

Почему-то в мыслях моих промелькнул образ летчика Ромаса, который так прекрасно пел эту песню в чудесным праздник Святого Роха 15 августа.

Второе письмо из Литвы с обратным вильнюсским адресом неизвестного отправителя пришло очень скоро. Оно было кратким и содержало только одно четверостишие:

«Бродяга ветер синею тучей
Закатному солнцу накрасил нос...
Бродяга-ветер рукой могучей
Волны схватил и к солнцу понёс
Рыбак»⁸⁰

Я ответила:

«Здравствуй, Рыбак! Ты опять прислал мне немного солнца и моря. Спасибо. Ты упрямый. Ведь я так и не знаю, кто Ты, «Бродяга-ветер». Разве так лучше? Тебе виднее.

В Москве серое небо, серый дождь, серый асфальт, и я уже совсем не похожа на загорелую девчонку с морского моста. Но та девчонка когда-нибудь обязательно вернется в Палангу!

Iki Pasimatimo. Gerai? [До свиданья. Согласен?]

Светлана».

⁸⁰ Все оригиналы стихотворений В. Мачюйки, написанных его рукой на открытках и письмах осени 1959 года, хранятся в Фонде 22 в Бременском архиве (Szellung Osteuropa, Bremener Universität, F. 22).

Третье письмо было снова из Каунаса, но на зеленом конверте был написан вильнюсский адрес с новой неизвестной фамилией человека, который должен был получить мое письмо «до востребования» на почте и отдать его Рыбаку.

«Пьяное небо пялит глаза,
Часто, часто моргая,
Я наливаю чарку Луне:
– Пей до дна, дорогая!
Душу окутал хмельной угар.
Всё как есть – в моей воле
Вертится, шатаясь, Земной шар.
Гнать его в шею, что ли?
Не злись, старина,
Я пошутил,
Вечность за хвост хватая.
Пьяное небо пялит глаза,
Часто, часто моргая.
Рыбак
P.S. Мадагаскар – страна родная,
И здесь, как всюду, цветет весна,
Мы тоже люди,
Мы тоже любим,
Хоть кожа черная у нас –
Но кровь красна.

Я не тот, о ком Ты думаешь. Я не Ромас. Он шлет Тебе привет».

Вот уж для меня загадка, как мог он, проникнув в мои рассеянные мысли, в которых мелькало много воспоминаний, вычислить именно Ромаса. Впрочем, загадок было больше, я не знала, кто мне пишет, не очень вникала в аллегории и даже не поняла непосредственного предупреждения, содержащегося в следующей телеграмме, которую я получила вместо письма:

«Салют Москве под лай собак ладью к Тебе рулит Рыбак».

«Под лай собак»? Вот уж, действительно, точнее не определишь весь этот шепоток, не стихавший в те сентябрьские дни в Союзе художников СССР «Ася... Витас...». До рождения Тани оставалось несколько дней. Но я об этом не думала и прямого значения этой телеграмме не придавала.

На следующий день мама позвонила мне на работу (короткий период моей работы во Дворце культуры ЗИЛ) и сказала: «В почтовый ящик бросили Тебе открытку и билет на сегодня в театр оперетты на *Веселую вдову*».

На открытке, которую я прочитала уже дома, знакомым размашистым почерком было написано: «Если устраивает, прошу. Будем сидеть рядом. Рыбак».

Я взяла такси и приехала в театр ко второму действию. Это было 24 сентября. Так мы впервые с ним встретились.

Первый раз мы увидели друг друга или знали всю жизнь?

Мы молча пожали друг другу руки, а потом как-то неожиданно легко стали говорить обо всем на свете, насколько, конечно, позволял говорить обо всем на свете мой далеко не совершенный литовский язык (ни одного русского слова не было сказано). Я что-то говорила, и вдруг, прервав себя и даже задохнувшись от своей догадки, спросила по-русски:

– Тебя зовут Витька?

Он ответил:

– Нет.

Не знаю, не принял ли он русского фамильярного обращения или так и хотел остаться в моей жизни Рыбаком без имени. Не получилось, хотя первый его сценарий был, кажется, очень коротким. В нем было всего три вечера, одна ночь в Троице-Сергиевской Лавре и утро на Шереметьевском аэродроме.

Над Лаврой слабо мерцали звезды. Старушки в черном часто крестились. Люди спали у входа в церковь на каменном полу трапезной, ожидая утренней службы. В монастырской стене горело одно единственное окошко теплым красным светом. Какая Россия!

И единственный на всю Россию отель, где у туристов не спрашивают паспортов или во всяком случае не интересуются отметками о заключении брака. Он этого не знал. Замешкавшись у окна администратора, спросил:

– O tu kaip? [А Ты как?]

– Aš su tevīm [Я с Тобой].

«Aš su tevīm» – и это на всю жизнь?

Нет, «на всю жизнь» – так мы не могли, не хотели.

Прощаясь перед трапом самолета в Шереметьево, он поцеловал меня в щеку, нежно, как сестру.

Из Вильнюса пришло письмо:

«Стальное крыло перерезало нить –
Мое сердце к солнцу мчится.
Свободой дышать, свободой жить –
Удел перелетной птицы.
Пусть судьба метеором сгорит,
Летя тропой Икара.
Одна только смерть уймёт мою прыть –
Девиз мой с детства недаром».

До его смерти оставалось ещё 40 лет, и ничего, ничего в том сентябре не было кончено.

Я написала ему:

«Человек говорит о свободе, когда он теряет ее. Когда он дышит ею, как воздухом, он ее не замечает.

Ты должен был написать о счастье перелетных птиц. Я ждала, только не знала, что получится так красиво.

А я хорошо помню, как улетала эта большая, серая птица, как, приняв Тебя в свое сердце, она как-то слишком поспешно и слишком сердито заворчала глухими моторами, зашевелилась, пробуя силу своих крыльев, как она двинулась, перерезая шахматное поле аэродрома и стараясь тупым росчерком резины стереть с него следы дерзких ног; помню, как она остановилась на минуту, задохнувшись; как, собрав все силы, рванулась вперед и, наконец, со смешным торжеством поднялась в воздух, покачиваясь своим толстым телом, злорадно поблескивая серебряным оскалом окон.

Я с улыбкой провожала ее глазами. В бескрайнем мире ей нигде не уйти, потому что этот бескрайний мир – тоже мой...».

Он еще не понимал этого. Писал:

«В огромном мире нет постоянства,
И зря на дали взираешь Ты...
В пустыне времени, в глуши пространства
Былое стерло мои следы...»

Не стёрло.

В Вильнюсе мы встретились следующим летом почти случайно. Как-то он узнал, что я в городе (это было лето сумасшедшей работы в архивах, музеях, где я собирала материал для будущей диссертации; ни минуты отдыха). В отеле, где я жила, мне передали короткую записку: «Был в 21.00. Зайду в 24.00». Это был последний день

моего пребывания в Вильнюсе, как раз 15 августа, божественная ночь Святого Роха. Я написала записку, попросила администратора передать ее ночному гостю: «Мой поезд отходит в 0 часов 15 минут. Вагон 9... Я буду ждать Тебя всю свою жизнь». Он пришел ровно в полночь. Встретил изумленные голубые глаза девушки-администратора, увидел пустую открытую комнату, прочел записку. На его часах было 0.02. Он медленно сказал: «Может быть, я еще успею». Никто в мире не смог бы успеть за 12 минут доехать из центра города до вокзала. Он успел, потому что жизнь и для него в то время означала только 12 минут ночи Святого Роха, вмещалась в стремительный полет машины, разрезающий тревожную, чуткую тишину ночного Вильнюса, в крошечный освещенный кусочек перрона, в слова, звучавшие из репродуктора: «До отхода поезда осталось...», во вспыхнувший зеленой искрой огонь светофора. Я ждала у 9-го вагона, и для меня никакого значения не имели в ту минуту купленный билет, какие-то серьезные московские дела и планы, какие-то расчеты (даже денег, кажется, на новый билет не было). Имели значение только минуты, секунды. Он успел. Остановил своей рукой поезд, время, сердце.

С тех пор мы условились с ним встречаться раз в году, непременно 15 августа в день Святого Роха, каждый раз в разных точках Земного шара, который, действительно, шатался у нас под ногами, и на протяжении всего года ни разу, ни словом, ни письмом, ни телефонным звонком не напоминать друг другу о приближении назначенной встречи. Молча, без единого напоминания, каждый раз в новом месте, раз в год.

Почему-то мне очень хотелось, чтобы это продолжалось 40 раз – такой странный срок вечности я себе наметила. Когда я ему об этом сказала, он засмеялся: «Ты что! 40 лет? У меня нет в запасе такого времени». Оказалось, было. Только оказалось, что нам самим эти 40 лет не нужны.

Помню, как на следующий год мы встретились с ним в Паланге. Он ждал на мосту. Я приехала на велосипеде из спортивного летного клуба и предложила ему вместе со мной вернуться туда. Я рада, что могла его чем-нибудь удивить. Планер еще не был ему знаком, и его первый полет (за моей спиной, пассажиром) – это подарок, от которого не отказываются и который не забывают.

Ни инструктору, ни товарищам по клубу я не хотела рассказывать, кто такой Витас; придумала какую-то глупую легенду чуть ли не о том, что он мой двоюродный брат (мифология «братишек» и «сестричек» была в те годы удивительно популярной). Мальчишки потом смеялись и говорили мне: «Ты что же, воображала, что мы не знаем сына полковника Мачюйки!...». Оказывается, и ему было чем меня удивить, я не знала истинных границ его известности.

Потом было еще много чудесных вещей, например, эта сумасшедшая поездка на мотоцикле через всю Литву, Латвию, Псковскую землю и Эстонию в Йыгеву, к мраморным скульптурам Антона Старкопфа в саду инженера Р. Тамма летом 1964 года и возвращение через Латгалию, и купание в латгальских озерах с белыми лилиями и желтыми кувшинками, которые он собирал для меня в букеты. Мы ночевали на сеновалах на крестьянских хуторах (не прикасаясь друг к другу). Я так устала, что буквально засыпала на заднем сидении мотоцикла, и не понимаю, каким чудом не «выпала из седла», и не разбилась, и мы благополучно вернулись в Вильнюс, и праздновали наше возвращение в старом доме в переулке Пилес в какой-то многоликой компании, и он всю ночь гонял такси за новыми ящиками шампанского.

Были его стихи, обращенные к Литве (К матери? К любимой женщине?):

Tai tu... Matai, grįžiau,
 Grįžau, ir atsiklaupęs,
 Glaudžiu rasotą veidą prie tavės...
 Tai tu?
 Taip, tu.
 Ir štai mes susitikom.
 Paprastai, bez žodžių –
 Nuo ju nei tau, nei mau nebūt lengviau...

(Это Ты? Ну, видишь, я вернулся. Вернулся, и преклонив колени, склонил к тебе усталую голову... Это Ты? Да, Ты. И так мы встретились. Просто, без слов. От слов ведь ни Тебе, ни мне станет легче...).

И были стихи об утренней заре безмолвного расставания: «Iki pasymatymo! Rytas nuraodo... Iki pasymatymo! – dangus ugni... (Что ж, до свиданья! Утро краснеет, небо – в огне...)»

Удивительным образом нас с Витасом еще не раз сводила и разводила судьба.

В конце 1960-х годов он сблизился с Нийоле Гайгалайте. Прекрасный скульптор, сильная, мужественная гордая женщина, – я думаю, эти ее качества Витас высоко ценил. Но она не хотела творческой дружбы. Она хотела ребенка и семьи. Кончилось дело трагическим фарсом. В дом пришли ее родственники, стали «давить» на Витаса, требовать от него узаконить брак, Нийоле уже была беременна. Витас, оставшись на минуту в какой-то комнате один, выскочил в открытое окно (кажется, в последний раз пригодился ему этот опыт прыжков через окно с высоких этажей) и исчез из жизни Нийоле навсегда. Вита родилась и росла без отца.

Мы встретились с Витой в Гурзуфе, когда ей было 16 лет. Мы далеко заплывали в море на катамаране, я учила ее вставать на водные лыжи. Случилось так, что именно я в Вильнюсе в 1987 году познакомила Витаса с его дочерью, которую он до этой минуты никогда не видел в глаза. Он признал Виту своей дочерью, и в последние годы его жизни она много помогала ему в приведении в порядок его богатого литературного архива.

У меня нет финала к этой главе.

Витас – это Литва, часть Литвы, которая ушла на дно, как легендарная Атлантида. Наверно, она уходила на дно много раз: в 1940-м, в 1945-м, в 1990-м. Всплывала снова, манила своей романтикой.

«De mortuis aut bene, aut nihil (О мертвых или говорят хорошо, или не говорят ничего)». Я говорю хорошо.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. В ТРЕСНУВШЕМ ЗЕРКАЛЕ ПОЗДНЕЙ ПЕРЕПИСКИ

Нам с подругой моей юности Дайвой Антините еще предстояла долгая жизнь и встреча в Каунасе, после многолетнего перерыва, осенью 2012 года, и последняя встреча в Вильнюсе в июне 2018 года.

Теперь мы изредка обмениваемся письмами (не краткими, деловыми сообщениями по электронной почте, а настоящими, старомодными письмами), и слова в этих письмах льются так же тихо и плавно, как в наших беседах летом 1958 года. Правда, теперь я охотно и бесстрашно рассуждаю о политике, ворошу острые камушки, которые когда-то лежали неприкосновенными на дне под прозрачной водой чистого ручейка нашей дружбы. Дайва и сегодня болезненные вопросы чаще всего деликатно обходит молчанием. Пожалуй, я воспроизведу пару таких писем в качестве иллюстраций редкого в наши дни феномена русско-польско-литовской дружбы. По этим письмам можно представить, как живу, что думаю и что чувствую я сейчас – спустя более полувека после нашей первой встречи с Дайвой. К тому же эти письма кое-что проясняют из истории семьи Дайвы – ее отца, брата, который стал известным скульптором, из моей личной жизни, а также из жизни наших общих литовских друзей – Витаутаса Мачюйки, Нийоле Гайгалайте, их дочери Виты.

Итак, письма (с небольшими купюрами):

От 20 июня 2014 года:

«Моя дорогая Дайва!

Пишу Тебе буквально в последнюю минуту перед отъездом из Польши. Предстоят мне длинные дороги в разные стороны света – сначала в Москву, потом в Карелию, в Петербург, оттуда в Италию, затем в Германию и, наконец, в Турцию, в Анкару, так что голову можно потерять на этих дорогах. Вернусь в середине августа и буду очень рада получить к тому времени письмо от Тебя.

[...] Я очень рада за Робертаса. Вот если бы Ваш папа мог видеть его в Лондоне, как бы он был счастлив. Все его надежды были связаны с Робертасом, и как хорошо, что все это оправдалось.

Правда, трудно было предвидеть, по какому пути пойдет развитие искусства, но думаю, что Ваш отец легко бы понял современное искусство, он был человеком очень широких взглядов. Мне все время кажется, что его в Литве недостаточно высоко ценили, да и в Латвии по-настоящему не поняли. В этом смысле его судьба похожа на судьбу Повиласа Пузунаса, посмотри в моей книжке об эмигрантах, как трудно быть латышом в Литве, литовцем в Латвии. Мне кажется, даже мадонны Пузунаса на тебя похожи: отец из Тебя сделал на веки вечные прекрасную королеву ужей, а Пузунас (может быть, тоже глядя на свою дочь или молодую жену) создал такую же Дайву-Эгле-Мадонну, больше лютеранскую, чем католическую, но больше литовскую, чем латышскую.

Ну, все, бегу собираться в дорогу. Обнимаю тебя! Очень надеюсь на встречу осенью!

Твоя Светлана».

От 17 февраля 2017 года:

«Дорогая Дайва!

Я тоже много говорю с Тобой мысленно, прежде чем написать письмо.

Решила послать Тебе копии выступлений еще оставшихся в России честных людей по радио «Эхо Москвы». Почитай внимательно. Я постаралась отпечатать крупно; только для того, чтобы письмо не получилось слишком толстое, на двух страницах, как книжка. Эти люди (и Виктор Шендерович, и Гозман, и автор стихов Дмитрий Быков) лучше, чем я смогу написать, говорят о том, что творится в России. Слава Богу, пока еще могут говорить, но голос их едва пробивается сквозь громкий хор придворных подлецов, таких, как Владимир Соловьев или Дмитрий Киселев.

У меня все по-прежнему [...]

Немного езжу по свету, осенью мы с Дмитрием участвовали в таком «шахматном поезде»: он собирает всех европейских шахматистов, отправляется из Праги и едет через всю Европу. До обеда играем в шахматы, в поезде обед, потом поезд прибывает в новый город, там экскурсия, ночь в отеле, а утром снова отъезд в другой город, в другую страну. Так объехали всю Германию, Австрию, Чехию, Словакию. На следующую осень, если Бог даст, снова собираемся. Дмитрий играет очень хорошо, я слабее, но для женщины прилично.

В Торунь тоже ходим в шахматный клуб и играем.

У меня вышла из печати новая книга (большая, даже лучше изданная, чем «Литовская эмиграция») – «Современная мечеть». Это исследование по архитектуре всего мира – на четырех континентах. В том числе и каунасская мечеть там воспроизведена (мне удалось ее красиво сфотографировать), а также мечети в Рейжяй и в Кяторюдяшмт Тоторю (селе «Сорок татар» под Вильнюсом). Если выберусь в Каунас, привезу ее [...]

Привет Робертасу

Светлана».

8 августа 2017 года:

«Дорогая Дайва!

Ты даже не представляешь себе, как меня обрадовало Твое письмо. Ты так угадала (начинала писать весной, а кончила в начале июня), что письмо пришло в Торунь в день моего рождения 7 июня. Но я его получила только вчера 7 августа. Оно так долго лежало в университете, в июне я не смотрела почту, было страшно много дел в конце семестра, экзамены, две конференции (в других помещениях, чем наша кафедра и мой почтовый ящик). В июне я уехала: сначала к Балтийскому морю, в страну кашубов, где проходил научный конгресс и большой кашубский народный праздник с разжиганием костра в ночь святого Яна (22 июня), рыбалкой и прочей экзотикой, а оттуда (из местечка Вейхерово) через Гдыню и Берлин, не возвращаясь домой, поехала прямо в Италию, где весь июль (наверно, уже последний раз в жизни) блаженствовала на берегу Неаполитанского залива на острове Искья...

Каждое Твое слово в письме – как целебный бальзам на мое сердце.

Да, мы с Тобой так давно знаем друг друга... в следующем, 2018 году исполнится 60 лет со дня нашей первой встречи. Твой папа работал над «Эглей – королевой ужей» и мучил Тебя, заставляя позировать. Но эти мучения не пропали даром, Ты осталась навеки в «Эгле-королеве» той самой безупречной красавицей, какой ты была в 1958 году. Я в то лето только что кончила московский университет, а Тебе, кажется, еще предстоял последний год учебы в Художественном институте для защиты диплома. Ты дала мне адрес своей подруги (будущей театральной художницы), и я, уехав из Паланги в Вильнюс, остановилась у нее в общежитии

Художественного института. И в Паланге, и в Вильнюсе, и вообще, в Литве я была в то лето первый раз в своей жизни, и вот полюбила Литву навсегда, во многом через Тебя, из-за Тебя, благодаря Тебе. Если бы не встретила Тебя, то и Литва казалась бы мне другой, не такой прекрасной, как на самом деле (ведь ни Латвию, ни Эстонию я так сильно не полюбила, потому что страна – это люди, а Литва – это Ты). Мне кажется, мы с Тобой тогда почти без слов так хорошо, так полно понимали друг друга. Совсем мало болтали, не делились заветными секретами, почти ничего не рассказывали друг другу о себе, и при такой сдержанности и строгости гармония взаимного понимания была абсолютной. Наверно, и Ты меня, и я Тебя немного идеализировали, но я никогда об этом не пожалела, не испытала разочарования, и светлое совершенство Твоего образа, может быть, отчасти созданное моим воображением, осталось в моей памяти, в моем отношении к Тебе навсегда. Рядом с Тобой я как-то распрямлялась, ощущала свое достоинство, словно получала право войти в то прозрачное, чистое, прохладное озеро, свет которого отражали Твои серые глаза. Роберт и Эгле («дети») были тогда еще совсем маленькие (но очень любопытные, с удовольствием ходили за нами на танцплощадку), а Твои мама и папа, если посчитать сколько им тогда было лет, были ведь еще очень молодыми. Папе еще предстояли и слава, которую принесла ему «Эгле – королева ужей», и все драматические перипетии, связанные с его участием в Саласпилском конкурсе, с неверностью и эгоизмом его латышских коллег, и расцвет самой большой его любви и надежды – любви к сыну и надежды на то, что Антинис Младший станет великим скульптором и займет в культуре Литвы то место, которое у Антиниса Старшего ревнивые конкуренты все время старались отнять (так оно, в общем-то, и случилось, только не все отец успел увидеть при жизни). А маме твоей, наверно, было совсем нелегко: и болезнь отца, и заботы о детях, и все хозяйство, дом (а порою, наверно, и нужда, безденежье) – все лежало на ее совсем не богатырских плечах; но какой же она была при этом очаровательной женщиной, не подававшей вида, как ей трудно, доброжелательной, милой, готовой всем дарить только радость, только добро и тепло.

Но я очень увлеклась воспоминаниями [...]

Реальность сегодняшнего дня совсем не романтична: тысячи непрошенных и неожиданных «болит», нарастающее бессилие. В Италии в этом году я как-то особенно остро ощущала, как жизнь уходит, силы кончаются. То, что еще недавно могла сделать так легко (взлететь по ступенькам лестницы, переплыть полморя, обежать пол-острова), теперь дается с огромным трудом и, что самое печальное, не приносит прежнего удовольствия. Солнце катится к закату, не остановить [...]

Я очень рада, что у Тебя проходят выставки, пусть небольшие, скромные, наверно, почти не приносящие денег, но художнику нельзя жить без выставок, и это замечательно, что они есть.

Вспомнила о выставках, и хочу еще немного рассказать Тебе о Вите Гайгалайте. У нее в мастерской матери остались рисунки отца (Витаса Мачюйки). Продать их ей никак не удавалось, и она прислала их мне, а я передала в архив «Восточная Европа» в германском городе Бремене (в этом архиве у меня есть мой личный фонд номер 22, в котором хранятся многие литовские материалы, в том числе рукописи Витаса, его стихи и письма, я не хотела, чтобы они пропали после моей смерти). Вот какой ответ я получила от директора этого архива, процитирую Тебе все письмо целиком:

«Дорогая Светлана!

Сегодня мне были переданы четыре бандероли с акварелями, угольными (?) набросками и рисунками, которые Вы получили от Виты Гайгалайте и которые Вы передаете в Ваш фонд. Всё дошло в полной сохранности; осторожно развернула рулоны и разложила по папкам (бескислотным и с листами-прокладинами). Спасибо огромное! Какие замечательные работы и эскизы, вот бы времени и спонсора – какую выставку можно было бы организовать.

И дочери художника и Вам благодарность и поклон от нашего архива. Всего Вам наилучшего,

Башиа Мария (Maria Klassen, Archivarin Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Klagenfurter Straße 8, 28359 Bremen)».

Я Вите тоже послала копию этого письма. Виту мне очень жалко. Она – умный, тонкий, интеллигентный человек, но совершенно неопытный, не приспособленный для жизни в жестоком мире. И осталась она абсолютно одна, родственники матери о ней не заботятся, доходов и средств к жизни нет никаких. Работу в

Институте, где она защитила прекрасную диссертацию о литовском периоде жизни и творчества Адама Мицкевича, она давно потеряла, творческий труд никакого заработка не приносит. Теперь собирается продать квартиру и переехать куда-то в деревню. Не знаю, как она со всем этим справится, что ее в этой деревне ждет. Слава Богу, мы с Тобой хоть смогли наших детей прочно поставить на ноги, а вот Нийоле не успела, рано ушла...

Твоя Светлана».

6 марта 2018 года:

«Дорогая Дайва!

Ну, вот приближаются хорошие праздники – и женский день (я его, правда, обычно не отмечаю, слишком там много замешано идеологии), и светлая Пасха. Заранее поздравляю Тебя и желаю всего самого доброго! [...]

Большое спасибо Тебе за газету, в которой так много добрых и справедливых слов сказано о Твоей выставке и о Твоей графике. Представляешь себе, весь литовский текст я поняла, даже не открывая словарь, всё до единого слова! Меня это очень обрадовало, значит, хранит душа литовский язык. Еще больше меня обрадовало духовное родство с Тобой через причастность к Реформации. Может быть, Ты не знаешь: в Университете я писала дипломную работу «Гравюры Альбрехта Дюрера в системе немецкой Реформации», и с той поры навсегда остался интерес к великому слову Мартина Лютера, которое преобразило мир. На смену католическому «Верю, потому что невозможно» пришло лютеранское «Верю, потому что понимаю», и это заложило фундамент всей гуманистической культуре Нового времени. Я нахожу отклик этого сложного гуманизма в творчестве многих художников Северной Европы, даже если они специально к религиозным сюжетам не обращаются. Все лучшее в латышской и в эстонской живописи XX века – это, конечно, Реформация, ее эхо. Вот теперь и Твоя графика, которую я прежде не знала, ложится в это прекрасное русло.

Прекрасно говорил с журналистами Твой брат – с таким тактом, с таким достоинством, с таким гордым чувством семьи.

Я очень хочу и еще надеюсь и Тебя, и Робертаса увидеть, приехать в Каунас по какому-нибудь поводу или без повода. Со здоровьем кое-как борюсь, во всяком случае собираюсь на несколько дней

(13–18 марта) в Москву, а уж если до Москвы смогу долететь, то до Каунаса доехать легче. В Москве обязательно проголосую [...], очень мне нравится замечательная смелая женщина Ксения Собчак.

*Обнимаю Тебя, желаю здоровья, мужества, успеха, радости!
Твоя Светлана».*

15 июня 2018 года:

«Дорогая Дайва!

Ты даже не представляешь себе, как я Тебе благодарна за Твое милое, теплое, доброе письмо. Я думаю, что у меня нет теперь на свете более близкого человека, чем Ты. Наша встреча с Тобой в Вильнюсе – большое событие в моей жизни. Теперь так мало осталось радостей, а это была большая радость. Я очень ценю, что Ты смогла приехать в Вильнюс! Честно говоря, я сама ехала в Вильнюс с мыслью попрощаться с Литвой. Но после нашей встречи проснулась надежда, что можно будет еще хотя бы раз снова вернуться на эту любимую землю, увидеть Тебя, Робертаса, еще что-нибудь сказать друг другу. Я рада, что познакомила Тебя с Дмитрием. Правда, Ты его (как и меня тоже!) сильно идеализируешь. Вот сейчас он уже сидит в Москве и смотрит с утра до ночи свой футбол, какой уж там интеллект, просто безумие. Но так приятно, что есть человек (Ты!), которому он нравится, которому я (со всеми моими жуткими недостатками, которых Ты великодушно не замечаешь) тоже нравлюсь. Если такого человека нет, то и жить не хочется, а Ты возвращаешь меня к жизни.

Рельеф Твоего папы теперь висит в моей комнате прямо против кровати, и каждое утро, просыпаясь, я вижу его, вспоминаю Твоего отца, думаю о Тебе. Если Твой отец видит нас с той высоты и из той дали, где находится его душа, он, возможно, хочет сказать, что одобряет Твой подарок, потому что нет сегодня, наверно, более благодарного зрителя, который так любит его скульптуру, как я ее люблю. Восхищаюсь изяществом этой вещи, напоминающей о чудесных древнегреческих изваяниях (статуэтках «танагра»), ощущаю ее поистине запредельную (begailinis) экспрессию, которая всегда наполняла его творчество, а главное, вижу в этой «Эгле» Твою душу и Твое прекрасное тело, которое помню и боготворю так, как, может быть, ни один влюбленный в Тебя мужчина не помнит и не умеет боготворить (dievinti).

[...] решила послать [Тебе] несколько старых, скромных фотокарточек. На первой я (такая серьезная и печальная), наверно, была студенткой 4-го курса; на второй (уже улыбающаяся) – изображена на фоне Киева, где мы проходили последнюю студенческую практику в 1957 году, и мой муж (которого я, рассердившись на него, потом из фотографии вырезала) обнимает меня за плечи; а на третьей я представлена уже примерно в начале 1960-х годов, когда была такая мода сбивать волосы в высокий «кок» над головой. Кстати, к вопросу о том, как одеваться. Ты только посмотри, как же бедно я была одета в молодости. В Литве в то время, может быть, хоть что-либо можно было купить в комиссионных магазинах, а в Москве ничего, совершенно ничего не было. Единственное, одно и то же платье я носила многие годы. Ты даже можешь заметить, что в Киеве на студенческой практике я была одета точно так, как через год одевалась в Паланге, отправляясь на танцплощадку: та же блузка и жакетка, ничего другого не было. А вот уж когда появилась возможность ездить за рубеж (да и «дома» – и в России, и в Польше – всё изменилось), я с такой жадностью набросилась на всякие «тряпки» и «чухи», что стыдно даже признаться; стала настоящей «тряпичницей» (наверно, такого позорного слова в литовском языке нет, может быть, «skudurininkė», только не skudurė, а наоборот – с претензией на богатый шик), так что не удивительно, что из своих переполненных и забытых до предела шкафов и ящиков иногда что-нибудь приличное извлекаю. Только зачем все это теперь к такому старому лицу и старому телу? Но может быть, в этом есть своя справедливость: была чудесная молодость и страшная бедность, наступила страшная старость и пришло какое-то богатство, пусть будет так.

Дайва, я еще так много хотела бы сказать Тебе, но надо все-таки кончить и сегодня отослать письмо. На следующей неделе уезжаю в Италию. Каждый год говорю себе: всё, это последний раз, больше не поеду (дорого, далеко, трудная дорога, да и горячее солнце не прибавляет здоровья), но там так чудесно, так красиво, так легко дышится, что с каждым новым началом лета забываю все разумные доводы и снова устремляюсь на остров Иския в Неаполитанском заливе. Ну, уж все-таки в этом году это, вероятно, будет действительно в последний раз...

Твоя Светлана».

22 января 2019 г.

«Дорогая Дайва!

Получила от Тебя новогоднюю весточку. Спасибо. Буду весь год жить под Твоей зеленой елочкой.

Последнее время долго не было писем. Возможно, какое-то одно письмо пропало по дороге или из Литвы в Польшу, или из Польши в Литву. Я уже стала волноваться, думать, что с Тобой могло случиться. Дозвониться Тебе по мобильному телефону не получилось, а до Роберта удалось дозвониться, и я была так рада услышать от него, что с Тобой все в порядке.

Продажа квартиры – очень трудное дело. Так страшно, что покупатели обманут. Но даже если Твой сын обо всем позаботится и все финансовые и юридические проблемы будут благополучно решены, все равно – собирать вещи, переезжать, расставаться со всем, к чему привыкла, – это очень непросто. Конечно, я думаю, что в новом доме, вместе с сыном и любимыми внуками Тебе будет легче жить, чем одной. Наверно, Вы переедете в Вильнюс?

А с Каунасом тоже жаль расставаться. В Вильнюсе нет такой свободы, ясности и тишины. Там и темп жизни, и память людей, и даже, по-моему, язык – все другое.

Мне жаль, что я ни разу не была в Твоей квартире, не посмотрела из Твоего окна на Неман и Старый город. Я теперь задумалась: как странно Каунас построен. Вроде бы находится на берегу Немана, могла бы быть прекрасная набережная, площадки с видами на водный простор, а ничего этого нет, новый город находится в стороне и к Неману никак не привязан. Но и при такой планировке он прекрасен.

О Каунасе, – Ты, наверно, не знаешь, – мне довелось написать статью для Всемирного Лексикона искусств, который издавался в Лондоне в 1990-х годах. Это огромное многотомное издание, там у меня есть и другие публикации, но статьей о Каунасе я особенно дорожу. Как в стихах Маяковского («Мы говорим «Ленин» – подразумеваем «партия»), так и я всегда: «Говорю «Каунас» – подразумеваю «Дайва».

Очень надеюсь еще раз приехать в Литву. Мне заказали статью для большого научного сборника, который готовится здесь, в Польше, – статью по истории вильнюсской Академии художеств в годы Второй мировой войны. Там была драматическая история:

литовские власти закрыли Университет Стефана Батория, но польские профессора и студенты отделения (Института) изобразительных искусств этому долго и упорно сопротивлялись. В годы войны там продолжались нелегальные занятия, и литовские преподаватели, которых направляли из Каунаса в Вильнюс для организации новой Академии, сталкивались с непростой ситуацией. Мне кое-что рассказывал об этом Юозас Микенас, когда я работала над монографией о его творчестве.

У нас в архиве Университета Николая Коперника сохранились некоторые персональные дела польских художников, которые учились и преподавали в Университете Стефана Батория и переехали после войны из Вильнюса в Торунь. Но этого мало. Главные материалы по истории Академии художеств остались в литовских архивах. Я очень надеюсь получить к ним доступ, но это сложно: нужны командировка, ходатайства о праве работать в архивах, и неизвестно, как в Литве на все это посмотрят. Может быть, сын Константинаса Богданаса мне в этом поможет. Если все-таки удастся поехать, непременно встретимся с Тобой. Только не забудь сразу же написать мне свой новый адрес, как только передедешь в новый дом, а также номер телефона (если изменится номер мобильного и если появится стационарный телефон!).

Очень надеюсь на встречу в этом году [...]

Твоя Светлана.

Торунь, 22 января 2019 г.

P.S. Позавчера, 20 января, исполнилось 102 года со дня рождения Антанаса Баркаускаса. Наверно, в нынешней Литве его мало кто помнит. Я даже не знаю, как и когда он умер, некрологов не было. Не знаю, как сложилась судьба его сына, который хотел стать журналистом. Вероятно, в журналистике новой Литвы для сына бывшего Секретаря ЦК Компартии Литвы и Председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР не нашлось места. А я помню об Антанасе только хорошее. Он любил Литву больше, чем заботился о своей карьере. Хотя, конечно, карьера была блестящая и власть потрясающая, и это кружило голову. Но там всегда все было непросто. Со Снечкусом он еще мог сотрудничать, а когда Первым Секретарем ЦК стал Гришкявичюс, то не только карьера, но и сама жизнь Баркаускаса висела на волоске, как впрочем и других представителей литовской интеллигенции,

оказавшихся в партийном аппарате, например, Шепетиса, в которого, как известно, Гришкявичюс даже выстрелил на охоте; чудом не убил, оставил без глаза. Опасных моментов всегда было много. Баркаускас рассказывал мне, как он спасся в июне 1941 года, когда началась война и немцы стремительно приближались к Каунасу. Антанас тогда был комсомольцем, и если бы оказался в оккупации, вряд ли бы ее пережил. 22 июня он находился где-то на хуторе у своих родителей. Узнав о начале войны, схватил в сарае велосипед и помчался прямо через поле и через лес к железнодорожной станции. Успел на последний эшелон, отходивший на восток. Так и появился он где-то в советском тылу – без чемоданчика, без рюкзака, без вещей, без куска хлеба, с одним комсомольским билетом в кармане. Вернулся он в 1944 году в Литву уже совсем иначе, стал кем-то вроде «великого князя», и оставался, – не знаю уж, как лучше сказать, «в этом кресле», «на этом троне» или «в седле» (верхом на боевом коне) все последующие годы, передвигаясь понемногу все выше и выше, пока всё для него не рухнуло. Я видела его в последний раз, кажется, в 1990 году, когда его уже «задвинули» на мизерную по его меркам должность – Председателя республиканского общества «Знание». Не знаю, как он пережил последующие события, но насколько мне известно, его не судили, не арестовали, не изгнали из новой Литвы. Ведь он не примкнул к «ночной» Компартии Литвы, не поддержал московский путч в августе 1991 года, да и среди активистов «Саюдиса» было немало людей, которым он (и его друг Шепетис на посту Министра культуры Литвы, а затем Секретаря ЦК) помогли в начале их творческой, научной и политической карьеры. А знаешь, как я его называла (конечно, не в глаза)? «Барин». Так всегда и думала, так и в своем дневнике писала: «Приближается съезд КПСС – скоро Барин приедет в Москву», «Барин сказал», «Барин велел». Не знаю, поймешь ли Ты все оттенки этого полудироничного, полупечального, архаичного русского термина «Барин», за которым – и память о крепостном праве, и поэтические строфы: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Ну, барский гнев я на себя никогда не вызывала (кажется, только один раз – чего-то не послушалась, куда-то опоздала), а о его барской любви не пожалела никогда. Между прочим, началась эта любовь именно в Каунасе на каком-то банкете в честь российско-литовской дружбы. Шел март 1968

года, в Литве проходила «декада» русской литературы и искусства; я работала тогда на довольно ответственной должности главного художника-эксперта Министерства культуры РСФСР и находилась в составе официальной российской делегации. Кстати, Твой отец тоже был на этом банкете и пытался произнести свой знаменитый тост за российско-литовскую дружбу, но ему не хватило русских слов, и он, надеясь на помощь в переводе, громко закричал: «Помогите!». Только Ты не думай, что мой будущий Барин куда-то пригласил и увел меня с этого банкета. Нет, он уехал, как и когда ему было положено, один, вернее, в окружении телохранителей и своей партийной свиты. Банкет продолжался. Наверно, через полчаса ко мне подошел главный архитектор города Каунаса и попросил меня спуститься вниз для уточнения каких-то протокольных вопросов «декады». Внизу нас ждала великолепная по тем временам машина, и как только за мной захлопнулась дверца, она на бешеной скорости рванула куда-то в сторону Немана. Я только успела спросить своего спутника: «А Вы – кто?», он ответил по-литовски с вежливой улыбкой: «Я – гангстер, и это похищение». Чистый белый снег лежал в саду чудесного особняка, служившего негласным отелем для гостей высокого ранга, на окраине Каунаса. Свечи горели в этом особняке, и играла тихая музыка.

Надо было бы как-то оставить эти мемуары для литовской истории».

У меня еще есть время привести эти «мемуары» в порядок, что-то дополнить, поставить на свои места. Не буду, ничего не буду дополнять, поправлять. Пусть все останется так, как запомнилось. Калейдоскоп драгоценных камешков и ярких картинок на смутном политическом фоне целой эпохи. Светотени минувшего века...

ПРИЛОЖЕНИЯ

262 избранные работы из 800 публикаций С.М. Червонной (книг, альбомов, каталогов, брошюр, буклетов, журнальных и газетных статей, разделов в коллективных трудах и сборниках, рецензий, переводов с немецкого, английского, польского языков и других изданий, появившихся на протяжении 1958–2020 годов на русском, английском, белорусском, венгерском, испанском, латышском, литовском, немецком, польском, татарском, турецком, украинском, французском, чешском, эстонском языках)

С.М. Червонная, *Работы художников Прибалтики*, «Искусство» 1959, № 1, с. 8–17.

С.М. Червонная, *Творчество прибалтийских скульпторов*, «Искусство» 1961, с. 14–24.

С.М. Червонная, *Советское монументальное искусство*, Москва: Издательство «Советский художник», 1962, 74 с. + 25 илл.

С.М. Червонная, *У скульпторов города Тарту*, «Творчество» 1962, № 4, с. 8–10.

С. Червонная, *Микенас*, Москва-Ленинград: Издательство «Искусство», 1963, 66 с. + илл.

С.М. Червонная, *Монументальная скульптура Советской Прибалтики*, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, научный руководитель М.Г. Манизер, Москва: Академия художеств СССР, 1963, 36 с.

С.М. Червонная, *Земдега*, Москва-Ленинград: Издательство «Искусство», 1964, 112 с. + 32 илл.

Светлана Червонная, *Скульптура в садах Эстонии*, «Декоративное искусство СССР» 1964, № 1, с. 34–36.

С. Червонная, *Под красным небом – белые города* [О живописи Йонаса Шважаса], «Советская Литва» 1965, 18 апреля.

С.М. Червонная, *Искусство Советской Прибалтики. Живопись, скульптура, графика*, Москва: Издательство «Знание», 1965, 40 с. + илл.

Svetlana Červonaja, *Vienota saime*, «Maksa» (Rīga) 1965, № 2, с. 3–11.

Svetlana Červonaja, *Tiesu kielī nēra*, «Literatūra ir menas» 1985, № 36 (4 сентября).

Svetlana Červonaja, *Ühised unistused, ühed kangelased (Nõukigude Baltikumi noortest kunstnikest)*, «Noorus» (Tallinn) 1965, № 8, с. 62–65.

Swetlana Tschervonnaja, *Skulpturen, Fresken, Mozaiken*, «Bildende Kunst» (Berlin) 1966, № 1, с. 52–53.

Svetlana Červonaja, *Moje Rusko, Výtvarní umělci RSFSR k 50. výročí VRSR*, Praha 1967, 12 с.

С. Червонная, *Антон Старкопф*, Москва: Издательство «Советский художник», 1967, 124 с. с илл.

С.М. Червонная (автор-составитель альбома), *50 лет советского искусства. Живопись*, Москва: Издательство «Советский художник», 1967.

С. Червонная, *Картина и время. Русская советская тематическая картина. 1917–1967*, Ленинград: Издательство «Художник РСФСР», 1968, 88 с. + илл.

С.М. Червонная, *Литва // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли*, Том 4, 2-й полутом, Москва: Издательство «Искусство», 1968, с. 138–155.

С.М. Червонная, *Литва // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли*, Том 5, Москва: Издательство «Искусство», 1970, с. 557–561.

С. Червонная, *Земля зеленая и пламенная (Персональная выставка произведений А. Гудайтиса)*, «Советская Литва» 1969, 22 марта.

Светлана Червонная, *Чонар-даш – камень, который мы режем, «Дружба народов»* 1969, № 6, с. 201–207.

С. Червонная (составитель альбома и автор вступительной статьи), *Оживший камень (Фотоальбом тувинской народной резьбы по камню)*, Кызыл: Тувинское книжное издательство, 1969, 78 с. с илл.

Светлана Червонная, *В центре Азии – в центре России (Художники с берегов Улуг-Хема [Искусство Тувы], «Дружба народов»* 1971, № 10, с. 59–64.

С. Червонная, К. Богданас, *Искусство Литвы*, Ленинград: Издательство «Искусство», 1972, 352 с. с илл.

N. Malachow, S. Tscherwonnaja, *Die große Kunst der kleinen Völker, «Bildende Kunst»* (Berlin) 1972, № 12, с. 580–584.

Swietłana Czerwonnaja, *Pierwszy polski pomnik W.I. Lenina, «Czerwony Sztandar»* (Wilno) 1973, 24 lipca [Первая публикация в польской печати].

С.М. Червонная, *Искусство народов Прибалтики // История искусства народов СССР*, Том 2 [Искусство IX–XIII] веков, Москва: Издательство «Изобразительное искусство», 1973, с. 403–413.

Svetlana Červonnaja, *Mūsų bičiūlistė, «Literatūra ir menas»* 1974, № 31 (3 августа), с. 3.

С.М. Червонная, *Из истории советской художественной критики 1926–1932 годов*, «Искусство» 1974, № 9, с. 36–40.

С.М. Червонная, *Индулис Заринь*, Москва: Издательство «Изобразительное искусство», 1974, 166 с. с илл.

Р.К. Бем, Ю.У. Скулме, С.М. Червонная, *Искусство Латвии (второй половины XVI – первой половины XVII в.) // История искусства народов СССР*, Том 3, Москва: Издательство «Изобразительное искусство», 1974, с. 209–232.

Svetlana Czervonaja, *A népművészet vonzasaban*, «Szovjet Irodalom» (Budapest) 1975, № 6, с. 178–182.

С.М. Червонная, *Художники Советской Татарии (Биографический справочник)*, Казань, Татарское книжное издательство, 1975, 214 с.

Светлана Червонная, Без Казандан, Иделдэн, «Казан утдары» 1975, № 6, с. 160–163.

Svetlana Červonaja, *Išsaugojautys žmogaus šilumą* (О скульптуре К. Богданаса), «Literatūra ir menas» 1976, № 23 (5 июня), с. 11.

Р.К. Бем, Ю.У. Скулме, С.М. Червонная, *Искусство Латвии // История искусства народов СССР*, Том 4, *Искусство конца XVII – XVIII веков*, Москва: Издательство «Изобразительное искусство», 1976, с. 289–327.

Svetlana Chervonnaya, *Fine Arts // Soviet Union. Political and Economic Reference Book*, Moscow: «Progress», 1977, с. 407–417.

Svetlana Chervonnaya, *Artees plasticas // Union Sovietica, Guia politico-economica*, Moscu: Editorial Progreso, 1977, с. 448–460.

Svetlana Červonaja, *Lietuvių dailės ryšiai*, Vilnius: «Vaga», 1977, 235 с.

С.М. Червонная, *Искусство Литовской ССР // История искусства народов СССР*, Том 8, *Искусство народов СССР в период Великой Отечественной войны и до конца 1950-х годов*, Москва: Издательство «Изобразительное искусство», 1977, с. 235–260.

Х. Якупов, С. Червонная, *Октябрь һәм татар совет сынлы сэнгаме*, «Татарстан коммунисты» 1977, № 10, с. 71–78.

С.М. Червонная, *Проблемы национальных культур народов СССР в художественной критике // Из истории советского искусствоведения и эстетической мысли 1930-х годов*, Под ред. В.В. Ванслова и Л.Ф. Денисовой, Москва: Издательство «Искусство», 1977, с. 250–317.

С.М. Червонная, *Изобразительное искусство Марийской АССР // Б.Ф. Товаров-Кошкин, С.М. Червонная, Художники Марийской АССР, Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство*, 1978, с. 3–61.

С.М. Червонная, *Живопись автономных республик РСФСР (1917–1977)*, Москва: Издательство «Искусство», 1978, 208 с. + 141 илл.

С.М. Червонная, *Искусство Советской Татарии. Живопись. Скульптура. Графика*, Москва: Издательство «Изобразительное искусство», 1978, 295 с. с илл.

С.М. Червонная, *Владимир Васькин // Художники Калмыкии*, Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1979. 16 с. с илл.

С.М. Червонная, *Очир Кикеев // Художники Калмыкии*, Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1979. 16 с. с илл.

С.М. Червонная, *Иван Ковалев // Художники Калмыкии*, Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1979. 16 с. с илл.

С.М. Червонная, *Ким Ольдаев // Художники Калмыкии*, Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1979. 32 с. с илл.

С.М. Червонная, *Дмитрий Сычев* // *Художники Калмыкии*, Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1979. 32 с. с илл.

Š. Červonaja, *Amžinai gyvi* // *Stasys Krassauskas*, Vilnius: «Vaga», 1980, с. 187–190.

С. Червонная, *Керамический рельеф «Сабантуй»*, «Декоративное искусство СССР» 1981, № 6, с. 18–19.

Светлана Червонная, *Перед приходом весны* [Живопись Чечено-Ингушетии], «Дружба народов» 1982, № 3, с. 193–195 + илл.

А.В. Парамонов, С.М. Червонная, *Советская живопись. Книга для учителя*, Москва: Издательство «Просвещение», 1981, 272 с. + илл.

С.М. Червонная, *Взаимодействие художественных культур народов СССР*, Москва: Издательство «Изобразительное искусство», 1982, 224 с. + 94 илл.

С.М. Червонная, *Искусство автономных республик, автономных областей и округов РСФСР* // *История искусства народов СССР*, Том 9, книга 1, Москва: Издательство «Изобразительное искусство», 1982, с. 179–220.

С.М. Червонная, *Искусство Литовской ССР (живопись, театрально-декоративное искусство, графика, скульптура)* // *История искусства народов СССР*, Том 9, книга 1, *Искусство народов СССР 1960–1977 годов*, Москва: Издательство «Изобразительное искусство», 1982, с. 353–383.

С.М. Червонная, *Харис Якупов*, Ленинград: Издательство «Художник РСФСР», 1983, 160 с. с илл.

С. Червонная, *Театр в Улан-Удэ*, «Декоративное искусство СССР» 1983, № 6, с. 7–10.

С. Червонная, *Тепло родного дома (Творческий портрет дагестанского художника Хайруллаха Курбанова)*, «Советская культура» 1983, 4 октября.

С.М. Червонная (автор-составитель альбома и автор вступительной статьи), *Изобразительное искусство Советской Татарии*, Москва: Издательство «Советский художник», 1983.

С.М. Червонная, *Художники Советской Татарии. (Мастера изобразительного искусства Союза художников ТАССР)*, Казань: Татарское книжное издательство, 1984, 464 с.

С.М. Червонная, *Автономная республика: горизонты искусства*, «Труды Академии художеств СССР» 1984, Выпуск 2, с. 30–44.

С.М. Червонная, *Нити золотого руна (Как развиваться художественным промыслам)*, «Советская культура» 1984, 16 октября, с. 3.

С.М. Червонная, *Пётр Васильевич Павлов. Жизнь и творчество*, Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1984, 64 с. + илл.

С.М. Червонная, *Эскиз и сцена (О реализации творческих замыслов художников на сцене театров)* // *О художниках театра, кино и телевидения*, Сборник статей, Ленинград: Издательство «Художник РСФСР», 1984, с. 74–89.

С.М. Червонная, *Казанская художественная школа в революции 1905 года*, «Искусство» 1985, № 10, с. 26–29.

С.М. Червонная, *Художники Ульяновска*, Ленинград: Издательство «Художник РСФСР», 1985, 200 с. с илл.

С.М. Червонная, *О революции, о войне и мире, о родной земле. Очерки развития советского изобразительного искусства на современном этапе*, Москва: Издательство «Изобразительное искусство», 1985, 191 с. с илл.

С.М. Червонная, *Из истории связей марийского искусства с художественной культурой Казани*, «Проблемы изучения марийского фольклора и искусства», Труды Марийского НИИ языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола) 1986, Выпуск 5, с. 69–87.

С.М. Червонная, *Тувинская народная скульптура. (Истоки, история, мастера, проблемы современного развития)*, «Труды Академии художеств СССР» 1987, Выпуск 4, с. 65–84.

С.М. Червонная, *Современное советское изобразительное искусство (Живопись)*, Москва: Издательство «Знание», 1986, 56 с. с илл.

Светлана Червонная, *«На том стою и не могу иначе...» (О творчестве скульптора К. Богданаса)*, «Советская Литва» 1987, 19 февраля, с. 4.

Svetlana Červonaja, Vytautas Mačiūnka, Vilnius: «Vaga», 1987, 15 с. + 34 илл.

С.М. Червонная, *Искусство Татарии. История изобразительного искусства и архитектуры с древнейших времен до 1917 года*, Москва: Издательство «Искусство», 1987, 352 с. + илл.

Светлана Червонная, *На арене нашего цирка (О картине Т. Назаренко «Циркачка»)*, «Московский художник» 1987, 15 мая, с. 2.

М.Н. Соколов, С.М. Червонная, *К 80-летию первой русской революции 1905–1907 годов: новое в исторической науке и искусствоведении*, «Советское искусствоведение'23» 1988, Москва: Издательство «Советский художник», с. 379–383.

С.М. Червонная, *«...Там вековая тишина»? О современном искусстве Российской Федерации*, «Искусство» 1988, № 7, с. 6–14.

С.М. Червонная, *Искусство Татарии. История изобразительного искусства и архитектуры с древнейших времен до 1917 года*, Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения, Москва: Академия художеств СССР, 1989 (защита состоялась 17 апреля 1989 г.).

С. Червонная, *Парад не состоялся – бал продолжается (О всесоюзной выставке живописи 1989 года)*, «Советская Литва» 1989, 2 марта, с. 4.

С. Червонная, *Загадка Жоромскиса. Неизвестная литовская живопись в Москве*, «Советская Литва» 1989, 21 сентября, с. 4.

С.М. Червонная, ...*И конь, и трепетная лань* (Заметки с выставки «Художники автономных республик, автономных областей и национальных округов РСФСР»), «Советская культура» 1989, 3 октября, с. 6.

С.М. Червонная, *Искусство российских автономий*, «Искусство» 1990, № 2, с. 11–16.

С.М. Червонная, М.В. Иордан, *Национальный вопрос: испытание перестройкой // Национальные процессы в СССР в условиях перестройки: вопросы теории и практики*. Москва: Институт философии Академии наук СССР, 1990, с. 134–150.

С.М. Червонная, *Полиэтнический комплекс искусства народов СССР и пути его исследования*, «Советская этнография» 1991, № 6, с. 13–25.

С.М. Червонная, *Обреченное искусство: нэп и национальная художественная культура в автономиях РСФСР // Россия нэповская: политика, экономика, культура, Тезисы Всесоюзной научной конференции 25–27 июня 1991 г.*, Новосибирск: Сибирское Отделение Академии наук СССР, 1991, с. 205–208.

С. Червонная, *Заглянув в бездну...*, «Набат» (Минск) 1991, № 9, с. 3.

С. Червонная, *«Пример весьма поучительный...»*. Страницы истории литовских татар, «Эхо Литвы» 1991, 30 июля, с. 3.

С. Червонная, *Кто зажигает звезды. Последний романтический и первый иронический взгляд на зональную художественную выставку «Большая Волга»*, «Советская культура» 1991, 20 июля, с. 11.

С. Червонная, *Шествие по кругу или вперед? Новое десятилетие и марийское изобразительное искусство*, «Марийская правда» 1991, 5 июля, с. 2–3.

М.Н. Губогло, С.М. Червонная, *Крымскотатарское национальное движение*, Том 1, *История. Проблемы. Перспективы*, Москва: ЦИМО (Центр по изучению национальных отношений Института этнологии и антропологии Российской Академии наук), 1992. 331 с.

М.Н. Губогло, С.М. Червонная, *Крымскотатарское национальное движение*, Том 2, *Документы. Материалы. Хроника*, Москва: ЦИМО (Центр по изучению национальных отношений Института этнологии и антропологии Российской Академии наук), 1992. 340 с.

С.М. Червонная, *Идея национального согласия в сочинениях Исмаила Гаспринского*, «Отечественная история» 1992, № 2, с. 24–42.

С.М. Червонная, *Исмаил Гаспринский – выдающийся крымскотатарский просветитель и гуманист*, «Этнографическое обозрение» 1992, № 1, с. 158–165.

С.М. Червонная, *Ахмет-Заки Валиди и Джафер Сейдамет: две концепции национальной автономии // Востоковедение в Башкортостане*,

II: История, культура (Международная научная конференция по проблеме «История и культура народов Евразии: древность, средневековье и современность», 22–24 сентября 1992 г.), Уфа: 1992, с. 24–27.

Светлана Червонная, *Новая концепция колонизации Северного Кавказа*, «Юйге Игилик / Üyge igiglik» 1993, № 16, с. 2–3.

С.М. Червонная, *Абхазия-1992: посткоммунистическая грузинская Вандея*, Москва: Мосгорпечать, 1993, 190 с.

С.М. Червонная, *Гражданские движения в Литве*, Том 1, *Молодой Саудис*. Москва: ЦИМО (Центр по изучению национальных отношений Института этнологии Российской Академии наук), 1993, 287 с.

С.М. Червонная, *Федеральный Союз народов Европы. Конвенция об основных правах европейских народов*, «ЭТНОПОЛИС (Этнополитический вестник России)» 1993, № 2 (4), с. 71–79.

Svetlana Chervonnaya, *The Technology of the Abkhazian War*, «Moscow News» 1993, № 42 (October 15), с. 1, 4.

Swetlana Tscherwonnaja, *In den Grenzen vor Stalins Säuberungen. Karatschai will selbstständig sein*, «Pogrom» 1993, № 172, с. 38–39.

Swetlana Tscherwonnaja, *Krimtatarische Kunst. Ein steiniger Weg ins Europa*, Ausstellung. Duisburg: Cubus-Galerie, 1994, 8 с.

Swetlana Tscherwonnaja, *Blumen den Siegern. Blumen mit Blut*, «Mitteilungsblatt der Berliner Georgischen Gesellschaft e.V.» 1994, № 24 (Januar), с. 2–6.

Swetlana Tscherwonnaja, *Schmerzen und Hoffnung des Karatschai-Volkes. (Douleurs et espoir des Karatchais. The agonies and hopes of the Karatchay people. Боль и надежда карачаевского народа)*, «FUEV-Aktuell» 1994, № 47, с. 4–8.

С.М. Червонная, *Искусство как аккумулятор символов и ценностей этнического самосознания // Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося общества*, Москва: Институт этнологии и антропологии РАН, 1994, с. 217–236.

М.В. Иордан, С.М. Червонная, *Идея тюрко-славянского согласия в наследии Исмаила Гаспринского // Цивилизации и культуры*. Вып. 1. *Россия и Восток: цивилизационные отношения*, Москва: Институт востоковедения РАН, 1994, с. 239–249.

Svetlana Chervonnaya, Foreword by Eduard Shevardnadze, *Conflict in the Caucasus: Georgia, Abkhazia and Russian Shadow*, London: Gothic Image, 1994, 227 с.

Swetlana Tscherwonnaja, *Der ossetisch-inguschische Konflikt: eine Fallstudie // Krisenherd Kaukasus*, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1995, с. 245–262.

Swietłana Czerwonная, *Problem Krymskotatarski i współczesna sytuacja etnopolityczna na Krymie*, «Rocznik Tatarów polskich» 1995, Tom 2 (Gdańsk), c. 121–170.

С. Червонна, *Відродження ісламської культури в Криму (1990-і роки)* // *Історія релігій в Україні*, Частина 5, Київ-Львів: 1995, с. 488–490.

Swetlana Tscherwonная, *Der ossetisch-inguschische Konflikt*, 1, «Osteuropa» 1995, № 8, с. 737–754.

Swetlana Tscherwonная, *Konflikte im Nordkaukasus: Osseten und Inguschen. Ohne klare politische Motive*. 2, «Osteuropa» 1995, № 9, с. 825–832.

Swetlana Tscherwonная, *Das islamische Antlitz der europäischen Kultur // Wege nach Europa. Ansätze und Problemfelder in den Museen*, 1. Tagung der Arbeitsgruppe Kulturhistorischer Museen in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde vom 4.-6. Oktober 1994. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, 1995, с. 91–100.

Swetlana Tscherwonная, *Die Kunst der tatarischen Krim (Искусство татарского Крыма)*. На рус. и нем. яз. Moskau-Berlin: Herausgegeben von Prof. Barbara Heinkele-Kellner, Institut für Turkologie der Freien Universität Berlin, 1995, 320 + XLII с.

С.М. Червонная, *Крымскотатарское национальное движение в контексте этнополитической ситуации в Крыму (август 1991 – март 1995 гг.)* // *Крымско-татарское национальное движение*, Том 3. 1991–1993 годы, Под ред. М.Н. Губогло, Москва: ЦИМО (Центр по изучению национальных отношений Института этнологии и антропологии Российской Академии наук), 1996, с. 26–101.

С.М. Червонная. *Пробуждение финно-угорского Севера. Опыт Марий Эл*, Тома 1–2, *Национальные движения Марий Эл*, Под ред. М.Н. Губогло, Москва: ЦИМО (Центр по изучению национальных отношений Института этнологии и антропологии Российской Академии наук), 1996., 326 с. + 324 с.

С.М. Червонная, *Выражение этнического самосознания марийского народа в современном изобразительном искусстве*, «Финно-угроведение» (Йошкар-Ола) 1996, № 1, с. 72–81.

Svetlana Czerwonная, *Nikolay Feshin* // *The Dictionary of Art*, London: «Grove», 1996. Vol. 11, с. 33.

Svetlana Czerwonная, *Kaunas* // *The Dictionary of Art*, London: «Grove», 1996. Vol. 17, с. 856.

Svetlana Czerwonная, *Wilhelms Purvits* // *The Dictionary of Art*, London: «Grove», 1996. Vol. 25, с. 744–745.

Svetlana Czerwonная, *Riga* // *The Dictionary of Art*, London: «Grove», 1996. Vol. 26, с. 383–384.

Svetlana Czerwonная, *Art of the Autonomous Regions. Russia* // *The Dictionary of Art*, London: «Grove», 1996. Vol. 27, с. 432–437.

Swetlana Tscherwonaja, *Les peuples musulmanes en Russie contemporaine*, «Lo Straniero» (Napoly, Italy) 1996, № 24, с. 93.

Swetlana Tscherwonaja, *Die Ethnopolitik Rußlands im Nordkaukasus und der Tschetschenienkrieg // Regionalismus und Nationalismus in Rußland* (Hrsg. Andreas Kappeler), *Nationen und Nationalitäten in Osteuropa*, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1996, с. 145–162.

Swetlana Tscherwonaja, *Der Krieg in Tschetschenien: Ursachen, Verlauf, Folgen*, «ETHNOS-NATION» (Köln) 1996, № 1–2, с. 95–96.

С.М. Червонная, *Крымскотатарское национальное движение (1994–1996) // «Исследования по прикладной и неотложной антропологии»* (Москва: Институт этнологии и антропологии РАН) 1997, № 101, 28 с.

Svetlana Červonaja, *Rytprusiu problema Rusujos požiuriu*, «Lietuvos Aidas» 1997, № 69, с. 12; № 70, с. 11; № 74, с. 12; № 75, с. 11.

Swietlana Czerwonnaja, *The Revival of Animistic Religion in the Mari El Republic // New Religious Phenomena in Europe*, Kraków: «Nomos», 1997, с. 359–367.

С.М. Червонная, *Мусульманская эпиграфика (резные надгробные камни) в Крыму*, «Татарская археология» 1997, № 1, с. 107–128.

С.М. Червонная, *Возвращение и интеграция крымских татар в Крыму: 1990-е годы // Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение*, Отв. ред. В.А. Тишков. Москва: 1997, Глава 7, с. 145–182.

Червонная С., *Политический фактор и исторический контекст самоопределения народов // Право народов на самоопределение: идея и воплощение*, Москва: 1997, с. 104–113, 177–183, 193–195.

Swietłana Czerwonnaja, *Wieloetniczny kompleks współczesnej kultury rosyjskiej: dialog czy konfrontacja religii, narodów, państw // Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia*, Pod red. Janusza Muchy, Wojciecha Olszewskiego, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997, с. 119–132.

Андреас Каппелер, *Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад*, Перевод с немецкого: Светлана Червонная, Москва: «Прогресс-Традиция», 1997, 344 с.

С.М. Червонная, *Крым'97: Курултай против раскола*, «Исследования по прикладной и неотложной этнологии» (Москва: Институт этнологии и антропологии РАН) 1998, № 113, 32 с.

Swietłana Czerwonnaja, *Etniczne i religijne otoczenie polskiej diaspory na Syberii // Syberia w historii i kulturze narodu polskiego*, Pod red. naukową Antoniego Kuczyńskiego. Wrocław: «Silesia», 1998, с. 496–503.

С.М. Червонная (автор-составитель), *Ислам и этническая мобилизация: национальные движения в тюркском мире*, Москва: ЦИМО (Центр по изучению межнациональных отношений Института этнологии и антропологии РАН), 1998, 449 с.

Swietłana M. Czerwonnaja, *Od «Lietuvninkai» do «Neoprusów»*. *U źródeł unikalnego eksperymentu etnograficznego*, «Komunikaty Mazursko-Warmińskie» 1998, Nr. 3 (221), с. 459–468.

Svetlana Chervonnaya, *The Problem of the Repatriation of the Meskhet-Turks // Fact-Finding-Mission of FEUV-Delegation*, Flensburg: FUEV, 1998, с. 18–27.

Svetlana Červonnaja, *Die Bürgerrechtsbewegung der Krimtataren in den neunziger Jahren*, «Osteuropa» 1999, № 2, с. 175–186.

С.М. Червонная, *Украинский свободный университет в Мюнхене как центр поддержки и развития украинской послевоенной культуры в эмиграции // Социально-экономическая адаптация российских эмигрантов (конец 19–20 вв.)*, Сборник статей. Москва: Институт российской истории РАН, 1999, с 253–265.

С.М. Червонная, *Все наши Боги с нами и за нас (Этническая идентичность и этническая мобилизация в современном искусстве народов России)*, Москва: Центр по изучению межнациональных отношений института этнологии и антропологии РАН, 1999. 298 с.

Swetlana M. Tscherwonnaja, *Das Gespenst der Jeanne d'Arc im postkommunistischen Osteuropa. Die Frau im Krieg und in der Politik am Ende des 20. Jahrhunderts // Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur*, Hrsg. Christel Köhle-Hezinger, Martin Scharfe, Rolf Wilhelm Brednich, 31. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Marburg 1997, Münster, New York, München, Berlin: Waxmann, 1999, с. 347–360.

Swetlana Tscherwonnaja, *Die Karatschaier und Balkaren im Nordkaukasus. Konflikte und ungelöste Probleme*, «Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien» 1999 (Köln), № 32, 40 с.

Червонная С.М., *Тюрко-исламские народы Северного Кавказа: проблемы культурной общности, политической консолидации, мусульманской солидарности // Москва-Кавказ: диалог культур*, Москва: 1999, с. 91–104.

Червонная С.М. (автор-составитель), *Тюркский мир в центре Северного Кавказа. Парадоксы этнической мобилизации*, Москва: Центр по изучению межнациональных отношений Института этнологии и антропологии РАН, 1999. 326 с.

Swetlana Tscherwonnaja, *Die Turk-Mes'cheten. Ein Volk ohne Land. Probleme der Repatriierung*, «Ethnos-Nation» (Köln) 1999, № 1, с. 27–40.

Svetlana Chervonnaya, *Islam in the Crimea today. The Islamic Factor in the Modern Political Platforms of the Crimean Tatars // Church – State Relations in Central and Eastern Europe*, Edited by Irena Borowik, Kraków: «Nomos», 1999, с. 252–267.

С. Червонная, *Языческая символика и мифология в марийском искусстве*, «Финно-угроведение» (Йошкар-Ола) 1999, № 2–3, с. 148–151.

Светлана Червонная, *Татарский Крым в пламени Второй мировой войны*, «Ас-Алан» 2000, № 1 (3), с. 259–285.

Светлана Червонная, *Die Welt der Turkvölker zwischen der Krim und dem Nordkaukasus / Тюркский мир юго-восточной Европы: Крым – Северный Кавказ* (на русском и немецком языках), Hrsg. Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, Berlin: «Das arabische Buch», 2000, 346 с.

С.М. Червонная, *Современное искусство тюркских народов России в парадигме возрождающегося тюркизма* // *Пунинские чтения – 2000*, Материалы международной научной конференции: доклады и сообщения, Санкт-Петербург: 2001, с. 177–186.

М.В. Иордан, Р.Г. Кузеев, С.М. Червонная, *Ислам в Евразии. Современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России*. (Коллективная монография). Москва: «Прогресс-Традиция», 2001, 518 с.

Светлана Червонная, *Единство в языке, делах и вере: испытание временем (Тюркизм и пантюркизм в российской и мировой историографии)*, Симферополь: издательство «Оджакъ», 2001, 36 с.

Swetlana M. Tscherwonnaja, *Die Rückkehr des «Panturkismus» (Absichten, Mythen, Realität)* // «Orient» (Hamburg, Deutsche Zeitschrift für Politik und Wirtschaft des Orients) 41. Jahrgang, 2000, № 4, с. 593–615.

С.М. Червонная, «Сады ислама» в современной художественной культуре народов России тюрко-мусульманского ареала // *Восток – Россия – Запад: мировые религии и искусство*, Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 2001, с. 194–198.

З.М. Кадырова, С.М. Червонная, *Общетюркская и индивидуально-этническая идентичность тюркских народов: парадоксы двойственного самосознания* // *Культуры мира*, Москва: Российский институт культурологии, 2001, с. 72–76.

Svetlana Červonnaja, *Geschichtswissenschaft im Rußlands in den 1990r Jahren. Problematik, Methodologie, Ideologie*, «Osteuropa» 2001, № 6, с. 695–715.

Светлана Червонная, *Мустафа Джемилев против империи зла // Шестой процесс Мустафы Джемилева. (Материалы следствия и запись судебного процесса). 1983–1984 гг. г. Ташкент*, Симферополь: Фонд «Крым», 2001, с. 473–481.

С.М. Червонная, *Фольклорные образы, символы и ценности в современном профессиональном искусстве (сравнительный анализ культур Центрально-Азиатского и Восточноевропейского регионов)* // *Отражение символики традиционной культуры в искусстве народов Байкальского региона и Центральной Азии*, Улан-Удэ: издательство Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, 2001, с. 207–242.

С.М. Червонная, *Александра Платунова: казанский авангард* // «Амазонки авангарда», Москва: Наука, 2001, с. 281-299.

Swetlana M. Tscherwonnaja, «*Heiße Punkte*» statt «*Völkerfreundschaft*». *Zu einer Typologie der Konflikte im postsowjetischen Raum*, «ÖMZ (Österreichische Militärische Zeitschrift)» (Wien) 2002, № 1, с. 37–44.

С.М. Червонная (ответственный редактор и составитель научной программы и сборника), *Город – контрапункт цивилизаций: европейское, азиатское и российское измерения (Опыт миллениума)*, Материалы Международной научной конференции, Москва: Российская Академия художеств, 2002, 204 с.

Svetlana Tchervonnaia, *Ismail Gasprinskij im Kontext aktueller Probleme von Wissenschaft und Politik des postsowjetischen Raums*, «Orient» (Deutsche Zeitschrift für die Politik und Wirtschaft des Orients, Hamburg) 2002, № 2, с. 239–279.

Червонная Светлана, *Тюркский мир Северного Кавказа: этнические вызовы и тупики федеральной политики*, «Казанский федералист» (Казань) 2002, № 1, с. 36–60.

С.М. Червонная, *Мустафа – сын Крыма*, Симферополь: «Оджакъ», 2003, 188 с. с илл.

С.М. Червонная, И.А. Гилязов, Н.П. Горошков, *Тюркизм и пантюркизм в оригинальных источниках и в мировой историографии: исходные смыслы и цели, парадоксы интерпретаций, тенденции развития*, «Ас-Алан» (Москва) 2003, № 1 (10), с. 3–478.

Swetlana Czerwonnaja, *Die Baltikumsforschung in der modernen Geschichtswissenschaft Russlands*, «Litauisches Kulturinstitut», Jahrestagung 2002: *Deutsche und litauische Literatur; eine Begegnung*, Lampertheim, Litauisches Kulturinstitut, 2003, с. 117–139.

Светлана Червонная, *Тат/ЛЕФ и творческие лаборатории экспрессионизма в Казанской художественной школе 1920-х годов // Русский авангард 1910–1920-х годов и проблема экспрессионизма* (Научное издание), Отв. редактор Г.Ф. Коваленко, Москва: Российская Академия наук, Государственный институт искусствознания, Издательство «Наука», 2003, с. 531–566.

С.М. Червонная, *Академия художеств и регионы России* [Монография]. Москва: НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, 2004, 288 с.

С.М. Червонная, *Финно-угорский мир России, его религиозный «перформанс» и вызовы современной культуры // Феномен Удмуртии*, Том 3, *Идеология и технология этнической мобилизации*, Книга 2: *Удмуртское национальное движение и финно-угорское общество*, Москва-Ижевск: издательство «Удмуртия», 2003, с. 16–66.

Svetlana M. Tchervonnaia, *Çocuk Cözüyle 1943–1944 Kırım Tatarı, Karaçay ve Balkar Sürgünü // Savaş Çocukları öksüzler ve yetimler*, Edit. Prof. Dr. Emine Gürsoy-Nalkali, İstanbul: [2004], с. 211–238.

С.М. Червонная, *Наследие Исмаила Гаспринского в контексте актуальных проблем науки и политики постсоветского ареала (к итогам 150-летия со дня рождения) // Ислам и общество: история, философия, культура (феномен Исмаила Гаспринского)*, Научное издание, Москва: Институт востоковедения РАН, 2003, с. 4–44.

Swietlana Czerwonnaja, *Liga Prometejska Karty Atlantycznej (z archiwum Dzafera Sejdamera)*, «Wrocławskie Studia Wschodnie» 2003, № 7, с. 109–145.

Рамазан Керейтов, Светлана Червонная, *Эпиграфика Ногайской степи, «Татарская археология»* (научный журнал, издание Института истории Академии наук Республики Татарстан, Казань); выпуск: *Казанское и другие татарские ханства: археология, эпиграфика и искусство*, 2004, № 1–2 (10–12), с. 168–209.

Swietlana Czerwonnaja, *Kriwonikolskij 8 – dom polski, «Zesłaniec»* (Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków) 2004, № 17, с. 63–79.

Светлана Червонная, *Искусство и культура российских мусульман. Введение в проблему, «Собрание»* (Иллюстративный журнал по искусству, Москва) 2004, № 3, с. 72–79.

Светлана Червонная, *Мечети в современной России*, Москва: «Татарский мир», 2005, 25 с.

С.М. Червонная, *Ваххабизм на Северном Кавказе и в Крыму: различия, совпадения, контакты // VII Конгресс этнографов и антропологов России*, Санкт-Петербург 28 июня 3 июля 2005 г. Тезисы докладов, Санкт-Петербург: Ассоциация этнографов и антропологов России, Институт этнологии и антропологии РАН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого / кунсткамера РАН, 2005, с. 364–365.

С.М. Червонная (составитель и ответственный редактор), *Галиаскар Камал: 125 лет со дня рождения и 125 лет в новейшей истории культуры и искусства тюрко-мусульманских народов России*, Сборник материалов Всероссийской научной конференции. Научное издание, Москва: НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 2005, 250 с.

С. Червонная, *Триумф разрушающего дизайна (выставка «Берлин – Москва 1950 – 2000»: взгляд из нашего времени) // Проблемы дизайна – 2*. Сборник статей, научное издание, Москва: НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, Национальная Академия Дизайна; Издательство «Архитектура – С», 2004, с. 387–396.

Пётр Штомпка, *Социология. Анализ современного общества*, Перевод с польского С.М. Червонной, Москва: Логос, 2005. 656 с.

С.М. Червонная, *Искусство как инструмент тоталитарной идеологии // Социальное согласие против правого экстремизма*, Выпуск 3–4, Отв. Редакторы Л.Я. Дадияни, Г.М. Денисовский, Москва: Институт социологии РАН, 2005, с. 245–312.

Svetlana Çervonnaia, *İdil ve Kırım'daki Tatar ve Nogayların hayat- ölüm kavramları ve diğer Türk boyları ile benzerlikleri*, «Tarih» (Türk dünyası Tarih, İstanbul) 2005, № 220, с. 40–43.

Swietlana Czerwonaja, *Idea «Miast Słońca» w kontekście procesów globalizacyjnych // Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii*, Red. Anna Nadolska. Wrocław – Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, 2005, с. 221–231, 285.

Светлана Червонная, *Новые мечети российских мусульман*, «Собрание» (Иллюстрированный журнал по искусству, Москва) 2005, № 1, с. 74–81.

Червонная Светлана, *Литовское искусство «в изгнании» (1940-е годы) // Пути и перепутья. Исследования и материалы по отечественному искусству XX века*, Редакторы-составители: А.В. Дехтерева, Н.С. Степанян, Москва: «Индрик», 2006, с. 201–225.

Червонная С.М., «Другие» граждане – «другие» мусульмане? (Крымские татары в современном украинском государстве: первые итоги массовой репатриации и проблемы интеграции) // *Россия – Иран: диалог культур*, Международная научная конференция (г. Москва, 27–28 октября 2006 г.), Тезисы докладов и выступлений, Москва: Российский институт культурологии, 2006, с. 152–157.

С.М. Червонная, *Исламский фактор в крымскотатарском национальном движении конца XX – начала XXI в.*, «Вестник ВЭГУ (Восточного Института экономических, гуманитарных наук, управления и права)», Специальный выпуск «Мир Востока», часть I. Уфа: Издательство «Восточный Университет», 2006, с. 30–51.

Chervonnaia Svetlana, *Wahhabism in the Post-Soviet Space in the Context of the Islamic Factor in the National Movements of Russia's Muslim Peoples // Challenges of Religious Plurality for Eastern and Central Europe*, Edited by Miklos Tomka and Andrij Yurash, Lviv: International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association, Ivan Franko Lviv National University, 2006, с. 142–148.

Светлана Червонная, *Вкус заздравной чаши. Из истории создания Союза художников Татарстана*, «Казань» 2006, № 8–9, с. 19–42.

Удо Штайнбах, *История Турции*: Перевод с немецкого: Светлана Червонная, Москва: Издательство «Прогресс-Традиция», 2006, 258 с.

Svetlana Červonnaia, *Litauer in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Zur Situation der litauischen Kultur im Exil // Displaced Persons. Flüchtlinge aus den baltischen Staaten in Deutschland*, Hrsg. Christian und Marianne Pletzing, München: Academia Baltica (Colloquia Baltica 12. Beiträge zur Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas), Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2007, с. 107–138.

Swietłana Czerwonная, *The Islamic Factor in the Crimean Tatar National Movement in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries*, «Religion, State & Society (RSS)» (Oxford, UK) 2007, Volume 35, № 3, с. 195–230.

Червонная С.М., *Село Канглы как модель жизни ногайского народа в России // Современное положение и перспективы развития ногайского народа в XXI веке*, Материалы Международной научно-практической конференции 2–4 ноября 2006 г., Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Государственный университет, ИД «Петрополис», 2007, с. 72–85.

Swietłana Czerwonная, *Litewska kultura w warunkach emigracji powojennej (literatura i sztuki piękne w obozach dla Displaced Persons)*, «Archiwum emigracji. Studia. Szkice. Dokumenty» (Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) 2007, № 1 (9), с. 145–164.

Svetlana Chervonnaya, *Russian Policy Towards the North Caucasian Peoples: Its Trans-Caucasian Address and Context*, «The Caucasus Globalization» (Journal of Social, Political and Economic Studies. Sweden, CA & CC Press) 2007, Volume 1 (4), с 34–47.

С.М. Червонная, *Литовцы в Польше: этнокультурная идентичность национального меньшинства и зигзаги культурной политики восточноевропейского государства*, Москва: Министерство культуры РФ, Российский институт культурологии, 2007, 189 с. + илл.

Swietłana Czerwonная, *Litwini w Polsce: Historia i stan dzisiejszy mniejszości narodowej* / Светлана Червонная, *Литовцы в Польше: история и современное положение национального меньшинства*, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, [2008], 252 с + илл.

С.М. Червонная, *Современное исламское искусство народов России*, Москва: Российская Академия художеств, издательство «Прогресс-Традиция», 2008, 552 с.

Swietłana Czerwonная, *Отношения между Литвой и Польшей конца 1980-х – 1990-х годов в контексте проблем Вильнюсского края и положения польского меньшинства в Литве*, «Acta Historica Universitatis Klaipedensis» 2008, XVI (*Baltijos regiono istorija ir kultura: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologija, filologija / History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Political sciences, Philology*), с. 141–154.

Светлана Червонная, *Обнаженное тело в татарском искусстве: современный художник между европейской свободой и мусульманской нравственностью*, «Казань» 2008, № 1, с. 119–136.

Swietłana Czerwonная, *Litewska emigracja i litewska kultura w Niemczech po II wojnie światowej: zmieniające się granice etnicznej enklawy*, Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, 171 с.

Светлана Червонная, *Из колыбели Казанской художественной школы. Художник Дмитрий Павлович Моцевитин (1894–1974), Жизнь и творчество*, Москва: Российский институт культурологии, 2009, 189 с. + илл.

Swetlana Czerwonaja, *Islam und Christentum auf der Krim heute: Ein «Kampf der Kulturen»? // Christen und Muslime in südosteuropäischen Peripheriegebieten*, Hrsg, Thede Kahl, Cay Linanu, München – Wien – New York: 2009, c. 327–346.

Swietłana Czerwonaja, *Islam na Krymie jako zjawisko religijne, kulturowe i polityczne końca XX – początku XXI w. // O wielowymiarowości badań religioznawczych*, Redakcja naukowa Zbigniew Drozdowicz, Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM (Uniwersytetu Adama Mickiewicza), 2009, c. 89–104.

С.М. Червонная, *Ангажированное исламское искусство войны и мира, любви и ненависти, политических страстей и гуманистических идеалов // Искусство тюркского мира*, Выпуск первый: Истоки и эволюция художественной культуры тюркских народов, Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2009, c. 38–55.

Swietłana Czerwonaja, «Realizm bez brzegów» Rogera Garaudy'ego a kategoria granicy i brzegów w ideologii radzieckiej // *Granice i świat współczesny*, pod red. Zbigniewa Karpusa i Beaty Stachowiak, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010, c. 157–171.

Swietłana M. Czerwonaja, *Zwierzęce motywy w islamskiej mitologii i ich odzwierciedlenie w literaturze i sztuce pięknej narodów muzułmańskich // Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej*, pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011, c. 49–62.

С.М. Червонная, *Из эмигрантской дали спасти Отчизну... Литовское искусство и литовские художники в эмиграции (1940–1990)*, Москва: Прогресс–Традиция, 2012, 565 с. с илл.

Светлана Червонная, *Национальные и этнические меньшинства в культурно-политической стратегии польского государства: позитивный и негативный опыт последней четверти века (с конца 1980-х до начала 2010-х годов)*, «Nowa polityka wschodnia» 2012, № 2 (3), c. 129–151.

Swietłana Czerwonaja, *Czeczeńscy uchodźcy w krajobrazie wolnej Polski // Krajobraz kulturowy wolnej Polski*, Zbiór studiów, Pod redakcją Dominiki Czernieckiej & Johanny Książek, Seria «Toruńskie studia antropologiczne», t. 2. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, c. 125–154.

Swietłana Czerwonaja, *Probleme der nationalen Minderheiten im postsowjetischen Russland*, «Europäisches Journal für Minderheitenfragen» (Wien) 2013, Vol. 6, № 2, c. 78–100.

Swietłana Czerwonaja, *Мизары и надгробия польско-литовских татар на фоне искусства исламской эпиграфики их соседей с Востока // Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze*, Pod red Johanny Kulwickiej-Kamińskiej i Czesława Łapicza, Toruń: Towarzystwo naukowe w Toruniu, 2013, c. 319–340.

Swietłana M. Czerwononaja, *Inspiration from the Folk Art in Lithuanian Art in Exile after the World War II // The Inspiration from the Past in the Art of the 20th and 21st Centuries*, Edited by M. Geroń and J. Malinowski, Cracow, Studies of Modern Art, volume 4, 2013, c. 329–338.

С.М. Червонная, *Мечети в Западной Европе*, «Вестник Московского исламского Университета» 2013, № 1 (5), с. 40–54.

Swietłana Czerwononaja, *Azjatycka Rosja u progu XXI wieku // W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości. Dilematy i wyzwania*, Red. Johanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, c. 236–261.

Swetłana Czerwononaja, *Die Krim im «schwarzen Frühling» 2014. Etappen der Annexion der Krim und Aufgaben zu ihrer Befreiung im Kontext der Rechte und Bestrebungen ihrer Völker*. I, «EJM (Europäisches Journal für Minderheiten) (Wien)» 2014, vol. 7, № 3, c. 173–196; II, «EJM (Europäisches Journal für Minderheiten) (Wien)» 2014, vol. 7, № 4, c. 255–295.

Светлана Червонная, *История белорусского народа в интерпретации польской эмиграции (из наследия Юзефа Мацкевича) // The Third International Congress of Belarusian Studies. Working Papers*, Volume 3, Kaunas: Vytautas Magnus university, 2014, c. 256–260.

С.М. Червонная, *Архитектура деревянных мечетей литовских татар*, «Tatarica» (Казань) 2014, № 1 (2), с. 179–194.

Светлана Червонная, *Неизвестная страница в истории послевоенной художественной эмиграции: творческая судьба белорусского художника М. Пашкевича*, «Archiwum emigracji (Studia, Skice, Dokumenty)» 2013 (Toruń, Biblioteka Uniwersytecka UMK), Zeszyt 1 (18), c. 143–155.

Светлана Червонная, *Крутые маршруты русских художников-эмигрантов, ушедших на Запад в конце Второй мировой войны // Polscy i Rosyjscy Artyści i architekci za granicą i na emigracji politycznej. 1815–1990*, red. Jerzy Malinowski, Irina Gawrosh & Dominik Ziakowski. *Sztuka Europy wschodniej*, Tom III, Warszawa – Toruń: Polski Instytut studiów nad sztuką świata; Wydawnictwo TAKO, 2015, c. 421–431.

Светлана Червонная, *«Социалистический реализм» в художественной практике и теории (печальный отрицательный опыт России 1930 – 1980-х годов) // Польша – Россия: искусство и история. Польское искусство, российское искусство и польско-российские художественные контакты XX – XXI веков*, Red. Jerzy Mlinowski, Irina Gawrosz & Zofia Krasnopolska-Wesner, Warszawa – Toruń: Polski Instytut studiów nad sztuką świata, Wydawnictwo TAKO, 2014, c. 247–254.

С.М. Червонная, *Каменное сакральное зодчество литовских татар как органическая составная часть мировой исламской цивилизации и татарской культуры*, «Tatarica» 2014, № 2 (3), с. 204–216.

Светлана Червонная, *Татарская скульптура XX века: миф или реальность* // Третьи казанские искусствоведческие чтения. К 110-летию со дня рождения С.С. Ахуна, Казань: Государственный Музей изобразительного искусства РТ, 2014, с. 37–52.

Swietłana M. Czerwononaja, Selim Chazbijewicz, *Tatarzy Krymscy – Tatarzy Polsko-Litewscy*, Toruń: Wydawnictwo naukowe UMK, 2014, 292 с.с илл.

Swietłana Czerwononaja, *Białoruś Zachodnia w interpretacji polskiej: wybrane wątki historyczne i motywy liryczne*, «Nowa Polityka Wschodnia» 2014, № 2 (7), с. 246–272.

Светлана Червонная, *Второй Всебелорусский Конгресс (июнь 1944). Забытая страница истории наших восточных соседей*, «Studia Orientalne» (Toruń) 2015, № 2 (7), с. 215–240.

Светлана Червонная, *Поэзия и журналистика Селима Хазбиевича* // *Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)*, Edited by Grzegorz Czerwiński & Artur Konopacki, Colloquia orientalia bialostocensia, № 14. Studia Tatarskie, Białystok: Uniwersytet Białostocki, Związek Tatarów RP, 2015, с. 143–163.

Swietłana Czerwononaja, *Współczesny meczet i jego symbolika. Kontekst problemowy i historiograficzny*, «NURT» (półrocznik misjologiczno-religioznawczy) 2015: *Oblicza Islamu*, cz. 1, rocznik 49, zeszyt 2, с. 86–111.

Светлана Червонная, *Современная мечеть Африканского континента: традиции и новаторство в архитектуре, декоративном искусстве и символично-теологической интерпретации*, «Olsztyńskie studia afrykanoznawcze» 2015: *Dziedzictwo materialne i niematerialne Afryki i jego znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kontynentu*. Red. Bara NDiaye, Tom II, Wydawca Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, с. 121–150.

Светлана М. Червонная, *Современная мечеть. Отечественный и мировой опыт Новейшего времени*, Варшава – Торунь: Польский Институт исследований мирового искусства, Издательство ТАКО, 2016, 478 с. с илл.

Swietłana Czerwononaja, *Meczety jako sacrum i dzieło sztuki we współczesnej kulturze muzułmańskiej* // *Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej*, Pod red. naukową Jana Adamowskiego i Marioli Tymochowicz, Lublin – Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016, с. 107–119.

Swietłana Czerwononaja, *Meczety Krymu*, «Rocznik Tatarów polskich» seria 2, tom III (XVII), 2016, с. 59–84.

Swietłana Czerwononaja, Martin Malek, *Umstrittene Probleme der Deportation und Verbannung der Krimtataren*, «Europa Ethnica» (Zeitschrift für Minderheiten, Wien) 2016, № 3/4, с. 80–84.

Светлана Червонная, *Личность и деятельность Исмаила Гаспринского в перспективе времени // От религиозного реформаторства к европеизации культуры мусульман. К 155-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского*, Сборник статей, Ред. З.А. Имамутдинова, Москва: Государственный институт искусствознания, 2016, с. 11–33.

Светлана Червонная, *Врата рая под тенью земного ада: резные каменные надгробия крымских татар в культурном ландшафте Крыма и в контексте мемориального искусства тюркского мира*, «Искусствоведение Татарстана» (Альманах), Казань: Министерство культуры РТ, Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ, 2017, с. 99–113.

Светлана Червонная, *Мухиры литовских татар – шамаили казанских татар. Дискуссионные проблемы исследований // święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Historia – Socjologia – Sztuka*, Pod red. naukową M. Krajewskiej, J. Kulwickiej-Kamińskiej, A. Szulz, Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, с. 207–230.

Swietłana Czerwonnaja, *Krym w strefie politycznych konfliktów i sprzeczności kulturowych // The World of Islam. Politics and Society*, Vol. 1, Edited by Izabela Kończyk, Magdalena Lewicka, Agata Nalborczyk, Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, с. 253–274.

Светлана Червонная, *Польша – Крым: исторические параллели, контакты, перспективы сотрудничества // Wschód Muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – Teksty – Historia*, Red. naukowa Grzegorz Czerwiński & Artur Konopacki. Naukowa seria wydawnicza Colloquia orientalia Bialostocensia, Białystok 2017, с. 349–372.

Swietłana Czerwonnaja, *Between Kraków and Istanbul: the art and architecture of the Crimean Khanate as the connecting link between Ottoman and European culture*, «Art of the Orient» 2017, Vol. 6, Toruń: Polish Institute of World Art Studies, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, с. 91–107.

Червонная С.М., *Основы идентичности литовских татар: исторический фундамент и современный ракурс*, «Историческая этнология» / «Historical Ethnology» 2017, Том 2, № 1, с. 28–63.

С.М. Червонная, *Искусствоведческая кафедра МГУ середины 1950-х годов: профессора, ученики, проблемы // История искусства в России – XX век. Интенции. Контексты. Школы*, Сборник материалов (Международная научная конференция, XVIII Алпатовские чтения 7–8 декабря 2017 года), Составители Д.О. Швидковский, Е.О. Романова, Москва: Российская Академия художеств, 2018, с. 37–46.

Swietłana M. Czerwononaja, *Tatarska toponimia Krymu w warunkach panowania rosyjskiego* // *Amakin wa-asma, Miejsca i nazwy/ Geografia historyczna i toponomastyka świata muzułmańskiego. Odkrycia, interpretacje, podsumowania*, Red. Maciej G. Witkowski, Edyta Wolny, Bogóslaw R. Zagórski, Warszawa: Instytut kultur śródziemnomorskich i orientalnych PAN, 2018, c. 27–54.

Swietłana Czerwononaja, *Meczety Krymu* (2), «Rocznik Tatarów Polskich» 2018 (1439/40), seria 2, Tom V (XIX), c. 13–44.

Swietłana Czerwononaja, *Współczesny meczet arabski na czterech kontynentach świata* // *świat arabski w języku, literaturze i kulturze*, Red. Naukowa: Magdalena Kubarek, Magdalena Lewicka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, c. 307–319.

Swietłana Czerwononaja, *Der Blaue Reiter (Błękitny Jeździec) i echo jego tryumfalnego marszu w narodowych szkołach artystycznych Europy Wschodniej* // *Pamiętnik sztuk pięknych, Wokół 1918 roku, Niepodległość i Awangarda / The Fine Art Diary, Around 1918 year, Independence and the Avant-Garde*, Red. J. Malinowski, Warszawa – Toruń: Polski Instytut studiów nad sztuką świata, UMK, Nowa seria, № 13, 2018, c. 173–188.

С.М. Червонная, *Альфия Ильясова (Саргин) в зазеркалье современного мира* // *Альфия Ильясова. Образы исламской мифологии*. Казань: «Заман», 2018, c. 8–17.

Светлана Червонная, *Национальный лидер («отец народа») в европейском и азиатском восприятии (на примере вождей национального движения крымских татар)*, «Nowa Polityka Wschodnia» 2018, № 3 (18), c. 7–40.

Светлана Червонная, *Вклад польских архитекторов в развитие исламского сакрального зодчества на границах между Азией и Европой // Между Азией и Европой. Мысли о культуре и политике*, Научный ред. Антонина Козырская, Иоанна Маршалек-Кава, Торунь: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, c. 9–50.

Светлана Червонная, *Образ мечети в мухирах литовских татар: захир и батин* // *Tatarskie dziedzictwo kulturowe. Historia. Literatura. Sztuka*, Red. naukowa Johanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miśkiene, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, c. 77–111.

Swietłana Czerwononaja, *Duchowe źródła historycznego romantyzmu współczesnej poezji tatarskiej – transformacja motywów i obrazów zbiorowej pamięci historycznej narodowej Tatarów WKL* // *Tatarskie dziedzictwo kulturowe. Historia. Literatura. Sztuka*, Red. naukowa Johanna Kulwicka0Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miśkiene, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, c. 179–192.

Светлана Червонная, *Стефан Кричинский: его вклад в архитектуру Петербурга и других городов России начала XX века* // *Sztuka Europy Wschodniej / The Art of the Eastern Europe*, Tom VI, *Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku*, Red. Jerzy Malinowski, Irina Garrash, Agnieszka Pospiszyl, Svetlana Levoshka, Warszawa – Toruń: Polski Instytut studiów nad sztuką świata, Wydawnictwo TAKO, 2018, с. 155–180.

Червонная С.М., *Мечети сибирских татар* // «Сибирский сборник», Выпуск 4, Под ред. З.А. Тычинских, Тобольск: Центр по изучению историко-культурного наследия сибирских татар, Тобольская комплексная станция УРО РАН, 2019, с. 429–470.

Swietłana Czerwonnaja, *Pierwsza Tatarka w Wileńskiej Akademii Sztuki*, «Przegląd Tatarski» 2019, № 3 (43) с. 18–22.

Червонная С.М., *Из истории творческой интеллигенции литовских татар-мусульман: по материалам биографии художницы Ольги-Лейлы Пётровиц* // *Ислам и исламоведение в современной России*. Сборник докладов Всероссийского исламоведческого форума 27–28 сентября, Махачкала: Министерство науки и высшего образования РФ, Дагестанский Государственный Университет, Министерство по национальной политике и делам религии Республики Дагестан; Издательство «Алеф», 2019, с. 115–122.

Czerwonnaja Swietłana, *The Image of the Turkish City in the Shamails of the Kazan Tatars and in the Muhirs of the Lithuanian Tatars – an Outside Perspective* // *ICTA – UTSK 16th International Congress of Turkish Arts/ Abstracts / Özetler*, Ankara: Haceteppe University, Editor Serpil Bağcı, 2019, с. 105–107.

Swietłana Czerwonnaja, *Polska – Azerbejdżan: związki polityczne i kulturowe oraz rola Polskich Tatarów w ich rozwoju*, «Rocznik Tatarów Polskich» 2019 (1440 / 41), Seria 2, tom VI (XX), с. 55–86.

Swietłana Czerwonnaja, *Olga Lejla Piotrowicz (1919 – 2009): pierwsza Tatarka litewska – profesjonalna artystka malarka na tle historii Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych (próba rekonstrukcji biografii)* // *Tatarskie biografie. Indywidualne losy – ich wpływ na budowanie i podtrzymywanie tożsamości grupy*, Redakcja naukowa Artur Konopacki, Białystok: Polskie Towarzystwo Historyczne, 2019, с. 211–249.

Swietłana Czerwonnaja, *Muhiry tatarskie jako źródła sztuki: semantyka, stylistyka, poetyka*, «NURT» 2019, rocznik 53, zeszyt 2, tom 146, с. 23–42.

Swietłana Czerwonnaja, *Polacy w Moskwie (XX w.)* // *Z Ojczyzny do Ojczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego*, Pod red. Rafała Klesty-Nawrockiego, Marcina Lutomińskiego i Artura Trapszycy, Toruń: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Toruniu, 2019, с. 93–120.

С.М. Червонная, *Между Россией, Литвой и Польшей: судьба художника Вильнюсской школы XX века (Жизнь и творчество Стефана Нарембского)*, Монография, Чебоксары: Издательский Дом «Среда», 2020, 80 с. с илл.

О Светлане Червонной – публикации в справочниках, словарях, энциклопедиях

Червонная Светлана Михайловна // Кто есть кто в политической науке России, Справочник, Москва: Академия политических наук, Издательство «Мысль», 1996, с. 314.

Червонная Светлана Михайловна // Татар энциклопедиясенн шәхесләр исемлеге, Казан: Татарстан Республикасы Фэннер Академиясе), 1997, с. 263.

Червонная Светлана Михайловна // Татарский энциклопедический словарь, Главный редактор М.Х. Хасанов, Казань: Институт татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан, 1999, с. 644.

Червонная Светлана Михайловна // Кто есть кто в науке об искусстве Республики Татарстан. Справочник, Казань: Академия наук Республики Татарстан, Научный Совет по искусствознанию и эстетике; Издательство «Фэн», 1998, с. 102.

Cervonnaja Svetlana // Mažosios Lietuvos Enciklopedija, Pirmas tomas (1), Vilnius: Mažosios Lietuvos Fondas, Mokslo ir Enciklopedijų Leidybos Institutas, 2000, с. 255.

Červonnaja Svetlana // Visuotinė Lietuvių Enciklopedija, [tomas] IV (C – D), Vilnius: Mažosios Lietuvos Fondas, Mokslo ir Enciklopedijų Leidybos Institutas, 2003, с. 322.

Červonnaja Svetlana // Lietuva. Biografijos, [tomas] I, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010.

Červonnaja Svetlana // Lietuvos istorija. Enciklopedinis žinynas, I tomas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011.

Червонная Светлана Михайловна // Художники Татарстана. Справочник, посвященный 75-летию Союза художников Татарстана, Казань: «Заман», 2011, с. 290.

Czerwonnaja Swietlana // Złota księga nauk humanistycznych, Red. naczelny Krzysztof Pekon, Głowoc: «Helion», 2013, с. 56.

Działalność Prof. Swietlany Czerwonnej, «Sztuka i krytyka» 2019, № 1, с. 55.

Червонная Светлана Михайловна. Россия – Польша / Czerwonnaja Swietlana, Rosja – Rzeczpospolita Polska // В.Л. Гентшке, И.В. Сабенникова, А.С. Ловцов, Исследователи русского зарубежья. Биобиблиографический словарь, Выпуск 2, Москва – Берлин: Всероссийский Научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела, Издательство «Директ Медиа», 2020, с. 393–400.

Czerwonnaja Swietlana // Złota Księga Nauki Polskiej (w 100 rocznicę odzyskania niepodległości), tom 1 (A – L), redaktor naczelny Krzysztof Pikoń, Gliwice: Polski Instytut biograficzny, Polskie Towarzystwo biograficzne, wydawnictwo HELION, 2020, с. 191.



Михал (Михаил) Мечислав Червонный – выпускник
4-й Варшавской гимназии и Тверского кавалерийского училища,
прапорщик Гродненского уланского полка, участник
Первой мировой войны, принимавший участие в боях
на Юго-западном фронте, после ранения и эвакуации в Москву студент
Московского университета, 1916



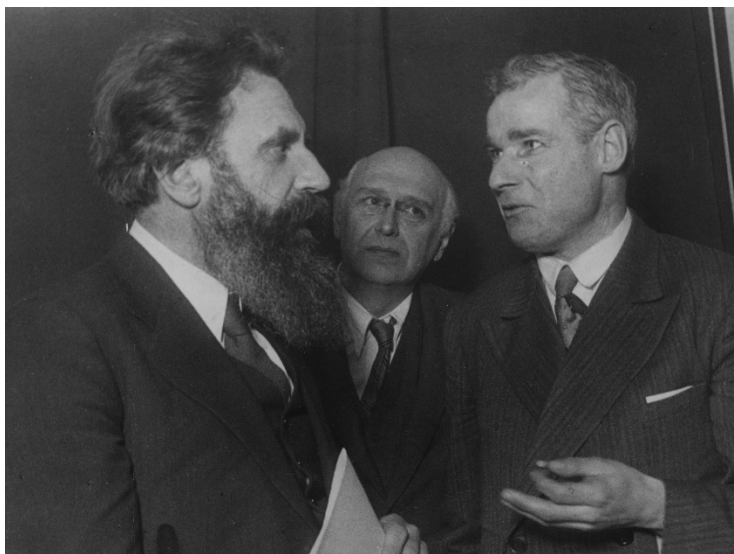
Михаил Червонный – командир
Отдельной Кавказской кавалерийской бригады на Южном фронте
Гражданской войны, член Военного трибунала, 1919



Херсонский Ревком (Революционный комитет – высший исполнительный орган советской власти в Херсонском уезде, юг Украины), 1920 год. Стоят (слева направо): Н.Г. Милюков (секретарь Херсонского Укома – уездного комитета – КП(б)У – Коммунистической партии большевиков Украины); М.А. Червонный (председатель Херсонской Чрезвычайной Комиссии), Павел Григорьевич Лин (заведующий юридическим отделом, редактор газеты, впоследствии москвич, писатель, член Союза писателей СССР), Королев (?); сидят: И.Г. Новиков (начальник милиции), П.Г. Карпенко (Заместитель Председателя Херсонского Ревкома), Кузьма Григорьевич Орлик (Заведующий земельным отелом), Николай Федорович Доброхотов (Председатель Херсонского Ревкома и Укома КП(б)У – репрессирован в 1936–37 гг., реабилитирован посмертно), П.Г. Харитонов (член Бюро Укома КП(б)У, зав. Орготделом), П.А. Свинцинник (зав. Горхозикоммунотделом); сидят на земле: П. Мусатов (председатель профсоюза строителей), Е.Ф. Тыльнер (секретарь Херсонского Ревкома, М.М. Сленченко (управделами). Фото в архиве ЦК ПОРП в Варшаве, в Херсонском отделении Центрального Гос. Архива Украинской ССР



Михаил Червонный и его жена Зоя Любина,
свадебная фотография, Москва, май, 1932



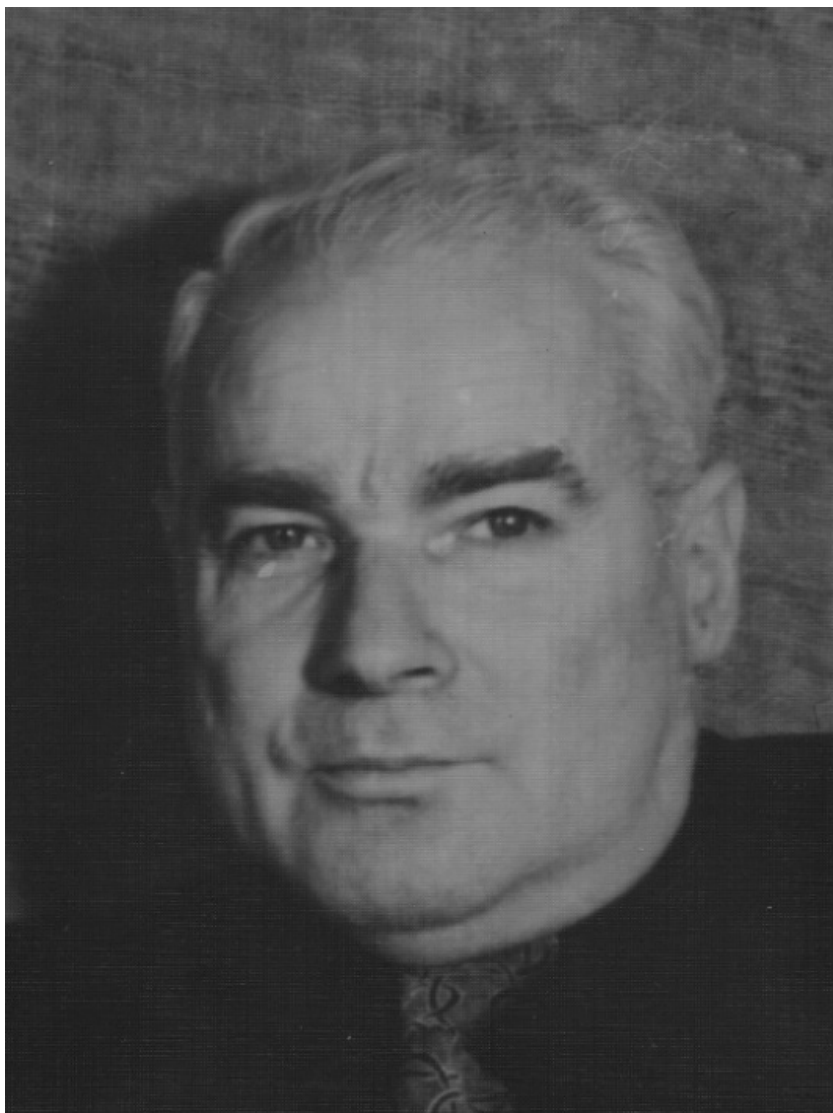
Отто Юльевич Шмидт, Рыбников
и Михаил Александрович Червонный в Центральном Доме
Красной Армии, Москва, 1935



Заседание Художественного Совета МТХ
(Московского Товарищества Художников, бывшего частью
Всесоюзного кооператива художников),
М.А. Червонный (с правой стороны в центре) –
председатель Совета, Москва, 1950-е годы



Горельеф *И.В. Сталин – творец Конституции победившего социализма* (экспонировался на Всесоюзной художественной выставке в Третьяковской галерее) и его авторы (слева направо) В.А. Артамонов, П.З. Фридман, М.А. Червонный, В.М. Терзибашян, П.И. Добрынин, Москва, декабрь, 1950



Михаил Александрович Червонный, Москва, 1967



Капитолина Ивановна Селиванова, актриса Воронежского театра
в последние годы своей жизни, Воронеж, 1890-е годы



Анастасия Ивановна Шетунова («Снегурочка»)
в свои 18 лет в день свадьбы с Георгием Алексеевичем
Морозовым («Дедом Морозом»), Воронеж, 1897



Анастасия Ивановна Морозова со своими сыновьями
Колей (стоит) и Витей (сидит на столике), Тифлис, 1902



Подруги Анастасии Ивановны Морозовой
(слева – француженка Габриэль), Владикавказ, 1900-е годы



Подруга Анастасии Ивановной Морозовой актриса
Евдокия Антоненко. На оборотной стороне фотографии надпись:
«На добрую память дорогой моей Настеньке от любящей
ее Дуни Антоненко, 1897, 8 марта, Харьков»



Георгий Алексеевич Морозов в форме инженера
Министерства путей сообщения, на оборотной стороне надпись
«Моему сыну Николаю», 22 октября, 1915



Уральская экспедиция, Оренбург. Руководитель экспедиции
Георгий Алексеевич Морозов (сидит на земле, второй слева)
держит на руках сына Колю; Анастасия Ивановна Морозова
(стоит, третья слева). 1900



Николай Морозов (родился в Оренбурге в 1899 году,
погиб в Анапе в 1920 г., находясь в рядах «белой армии») –
ученик Реального училища, Владикавказ, 1910



Отчим Георгия Алексеевича Морозова со своей сестрой и женой
(мачехой Георгия Алексеевича Морозова)
Виктор Алексеевич Милеев после эвакуации из Рославля в начале
Первой мировой войны. Надпись на обороте фотографии,
присланной во Владикавказ, адресована Николаю
и Зое Морозовым: «На добрую память нашим внучатам
от любящих дедушки и бабушки. 1915 г., 2 марта,
Борисоглебск Тамбовской губернии»



Николай Морозов (стоит справа) со своей учительницей французского языка и подругой детства Вале́й Шабловской, которая стала его невестой, Кусары, 1908



Зоя Морозова (родилась в Тифлисе в 1903 г.) –
ученица гимназии, Владикавказ, 1912



Зоя Георгиевна Морозова в 16 лет, конец детству,
проведенному на Кавказе, начало «хождений по мукам»
революционной России, 1919



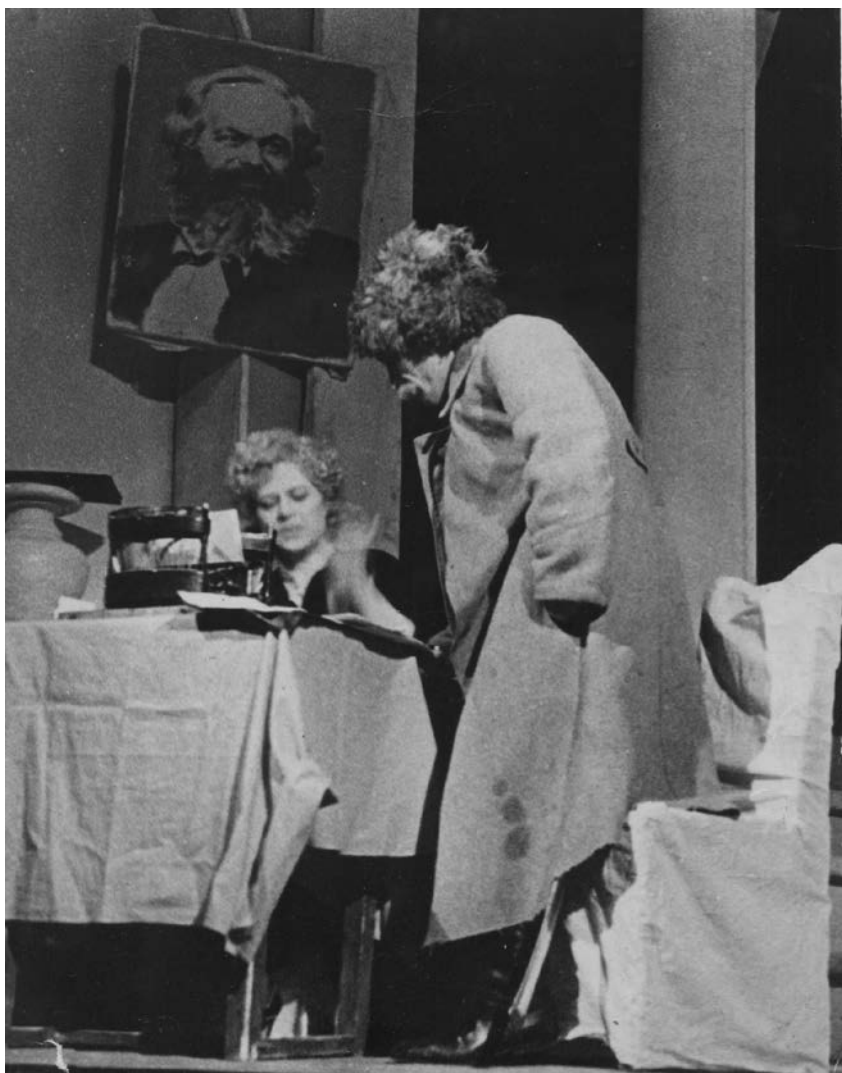
В Крыму, у моря. Сидят на песке Михаил Червонный (справа),
Зоя Любина (рядом с ним). Начало их любви,
первая встреча. Евпатория, август, 1927



Зоя Георгиевна Любина, Москва, около 1936



Живописный портрет Зои Любиной,
автор – Николай Михайлов (Диомиди), в личной коллекции
С.М. Червонной, холст, масло, 1936



Зоя Георгиевна Любина в роли Пановой
в спектакле «*Любовь Яровая*» на сцене Народного театра,
Москва, 1938



Светлана Червонная, первый выход на прогулку
в Кривоникольском переулке, Москва, 1939



Зоя Георгиевна Любина и ее дочь Светлана Червонная
около станции метро «Сокольники», надпись рукой мамы
в семейном альбоме фотографий: «Любительница путешествий
в метро», Москва, 1939



Лилечка Ивлева (5 лет) и Светлана Червонная (3 года)
в «польском доме», Кривоникольский, 8, Москва,
конец 1939 – начало 1940 года



Светлана Червонная в 5 лет.
Война, первая эвакуация, город Владимир, август, 1941



Михаил Александрович Червонный, Светлана Червонная
(в канун поступления в первый класс школы),
Зоя Георгиевна Любина, Ашхабад, конец августа 1943 года



Третий класс школы №71. В верхнем ряду первая слева Марина Супрун, вторая слева Наташа Кабахидзе, четвертая слева Валя Иванова, пятая слева Светлана Овчинникова, седьмая слева Людмила Кочеткова, вторая справа Искра Подвойская; во втором сверху ряду – первая слева Алла Крацевич, вторая Наташа Николаева, третья Нонна Эстрина, седьмая слева Луиза Токарева, восьмая слева Светлана Червонная (уже пионерка), десятая слева Мила Шуляк (смеется), одиннадцатая слева (крайняя справа) Тамара Самойлова; в третьем сверху ряду: первая слева Люся Шепелёва, вторая Галя Еремеева, пятая Светлана Симонова, шестая – наша учительница Мария Степановна, восьмая Светлана Пискунова. Дети войны и Победы. Москва, 1945



Книжка Ванды Василевской «Комната на чердаке»
(первая польская, первая самостоятельно прочитанная и любимая
книжка, с которой я не расстаюсь до сих пор).
Москва, Детгиз, 1940



4-й класс А 71-й школы. Ученицы за партами. Все поднимают руки, все готовы отвечать на вопрос учительницы, все – пионеры.
За третьей партой в правом ряду Светлана Червонная, за ней в четвертом ряду Наташа Николаева; в центральном ряду за второй партой слева Галя Еремеева, за третьей партой Люся Шепелева: в правом ряду Нонна Эстрина и Люда Кочеткова (сидят рядом), за ними Нина Янкина.
Москва, весна 1947 года



Светлана Червонная и Люся Шепелева.
Пятый класс, 1947–1948



Светлана Червонная, Москва, 1946



Эмма Шепелева. детдомовская девочка, 16 лет



Дом творчества художников в Дзинтари
(Латвия, Юрмала). Сидят Светлана Червонная
и Милчка Федотова, стоят (слева направо) Ира Трофимова,
Миша Кузаян, Валя Томский, Гена Тиханович,
Вика Серебрянная. Лето 1951 года



Игорь Вучетич, 7 июня 1952 года
(мой день рождения, нам 16 лет), Москва



Наш курс на историческом факультете Московского Государственного Университета. Абитуриенты 1953-го, выпускники 1958-го года. Встреча через 30 лет в Доме художника на Гоголевском бульваре. Сидят на полу, в первом ряду, слева направо: Сева Володарский, Лара Ермашина (Самойленкова), Юра Карпов, Рауф Бадретдинов, Володя Киселев, Светлана Червонная, Сережа Астахов (археолог), Валя Гребенюк (из Краснодара), Роза Карнишкова (приехала из Праги); сидят во втором ряду слева направо: Лия Савиина, Светлана Богданова, Римма Семенова, Ира Власова, Рита Никольская, Ира Коссова, Марина Калинина (внучка «всесоюзного старосты» М.И. Калинина), Нонна Киселева (финно-угровед), В. Чернухина, Римма Воронина, Эла Павлуцкая; стоят в третьем ряду слева направо: Александрова, Эмиль Дабагян (исследователь Латинской Америки, активист «перестройки»! В 1990–91 годах), Н. Филимонова, Хельга Хеердеген (ГДР), Хайнц Дойчлвнд (ГДР), Клава Моисеева (Красильникова), Володя Богатов, Юлия Черняховская, Тома Сидоренко, Юра Макаров, Люся Блатова, Светлана Орешкова, ..., Нелля Лещенко, Галя Ручкина, (Демидова), Дима (Владимир Иванович) Васильев (этнограф), Мария Толокнова, Юра Кобишанов, Мила Грекова, Слава Портнов, Леша Захариков, Вася Хорошилов, Аркадий Осыкин, Гурцев, Москва, 29 октября 1988 года



Поляки нашего курса (истфак МГУ). Вверху Марьян Логовский (Вроцлав), ниже Збигнев Иванчук (Варшава), в центре Ванда, слева Владислав Сенюта (Новая Гута), Москва, 1957



Скульптор Эндель Танилоо, Тарту, *Автопортрет*, цветная керамика, около 2010 года



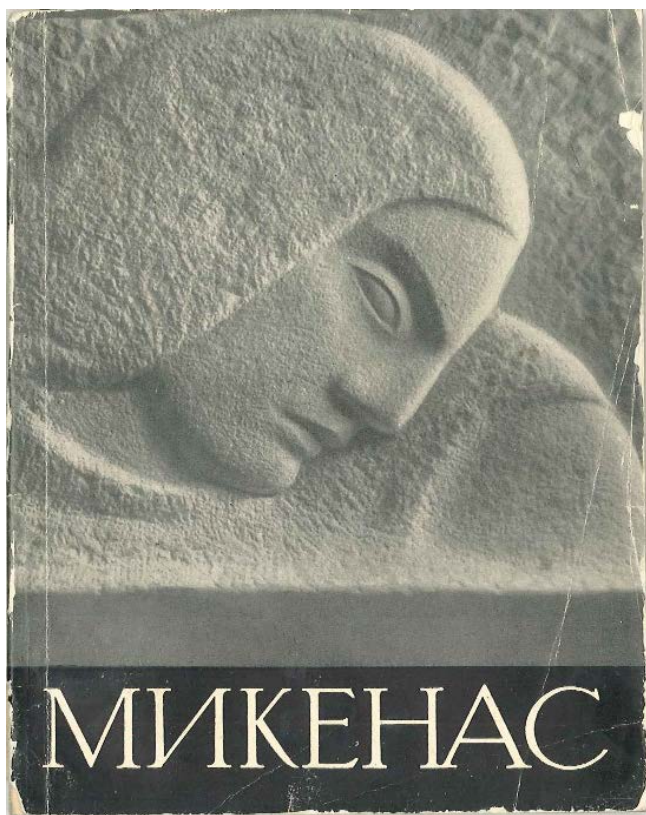
Экспедиция в Эстонии. Скульптор Юхан Раудсепп, искусствовед, инспектор Министерства культуры Эстонской ССР Калью Кирме, Светлана Червонная. Дорога в Хаапсалу, начало лета 1959 года



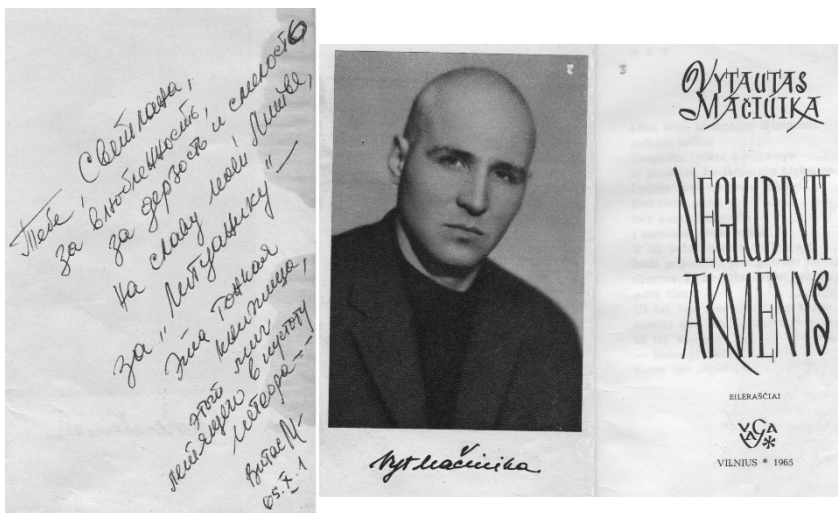
Скульптор Константинас Богданас. Вильнюс, 1958



Стасис Красаускас и Константинас Богдана, Вильнюс,
начало 1960-х годов



Скульптурный рельеф Юозаса Микенаса *Мать* (мрамор, 1935 год) –
репродукция на обложке книги: С. Червонная *Микенас*
(Ленинград: Издательство «Искусство», 1963).



Витаутас Мачюйка, разворот книги стихов
«*Negludinti armenys*» («Неотесанный камень»). Вильнюс: Вага, 1965.
Посвящение Светлане Червонной



Профессор Юозас Микенас. Паланга, 1962



Секретарь ЦК Компартии Литвы по идеологии Антанас Баркаускас.
Трудный разговор с художниками. Сидящий справа – скульптор
Пятрас Делтува. Литва, конец 1960-х годов



Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Литвы
Антанас Снечкус, Вильнюс, 1965



Президиум Пятого съезда Союза художников РСФСР. В первом ряду второй слева Д. Налбандян, далее Н. Пономарев, С. Ткачев, Е. Зверьков (у микрофона), В. Кочемасов (зам. Председателя Совета Министров РСФСР), М. Аникушин, могучая троица – Кукрыниксы; в верхних рядах – слева господа из высших органов партийной и советской власти, справа – во втором ряду – В. Шауро (ЦК КПСС), Ф. Решетников, П. Сысоев (Академия художеств СССР), А. Мыльников, в третьем ряду первый слева Б. Угаров, рядом с ним В. Кеменов... Москва, Кремлевский Дворец Съездов, ноябрь 1981



Делегаты Пятого съезда Союза художников РСФСР. Во втором ряду Светлана Червонная, справа от нее Анас Тумашев – Председатель Союза художников Татарской АССР. Москва, 1981



Рай в Закопанах – подарок Секретаря Краковского
воеводского комитета ПОРП Марьяна Смуги. Ранняя осень, 1971



Рай в Закопанах (продолжение), Польша, Закопаны, 1971



Международный молодежный лагерь «Волга» под Казанью.
 На катере. Сидят (слева направо) Рафаэль (крупный хищник),
 Валера Демидов (дерзкий мальчик), Миша-милиционер, безмянный
 матрос. Над ними капитанша Светлана Червонная (вооружена и опасна).
 Татарстан, лето 1976 года



Выставком в Казани в Союзе художников на Большой Красной улице.
 Отбор произведений на зональную выставку «Большая Волга».
 В первом ряду сидят за столами (слева направо) Светлана Червонная,
 Александр Бакулевский, Люциан Шитов (Министерство культуры
 РСФСР), Ефрем Зверьков, Нелля Альбова. 1975



В городе Горьком. Десант российской делегации, 1974



Светлана Червонная – «Мисс Вассерски»,
королева воднолыжного спорта. Болгария, Золотые пески, 1978



Участники Всесоюзной сессии по итогам полевых этнографических исследований 1984–1985 годов. Крайний слева Евгений Прокопьевич Бусыгин (Казань), рядом с ним Светлана Червонная, в центре директор Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР Юлиан Владимирович Бромлей, слева от него Ксенофонт Никанорович Сануков (Марийская АССР), третья справа – Леокадия Михайловна Дробижева. Начало «перестройки», Йошкар-Ола, 1986



В Бразилии, на Международной конференции Общества исследований устной истории (Oral History) «Вызовы 21 века» в Рио-де-Жанейро и не только в залах конференции. Катер на пути к Амазонке. Июнь, 1997



Экспедиция в Карачай и Балкарию, Кавказ,
Верхняя Балкария, короткий отдых у горного ручья, 1998



Российская делегация на 42-м Конгрессе европейских
национальных меньшинств. Слева направо – Д. Григорович
(представитель балкарского народа), С. Червонная, Мустафа Джемилев
(Председатель Меджлиса крымскотатарского народа), рядом с ним
два его соратника, которые скоро от него отрекутся: в центре
Ленур Арифов (Симферополь, представитель крымских татар
в правительстве Автономной Республики Крым), справа Эмир Меджитов
(Ялта). Австрия, Пёртшах-ам-Вёртерзее, 1997



Делегация (Fact-Finding-Mission – миссия поиска и исследования фактов Федерального Союза народов (национальных меньшинств)) Европы в Азербайджане. Слева направо – Светлана Червонная, Ромеди Арквинт (Швейцария), Ханс Хайнрих Хансен (Дания). Азербайджан, 2000



Светлана Червонная, Искандер Гилязов (Казань).
В Президиуме 13-го Международного Конгресса Германского Общества исследования Ближнего Востока (DAVO), Гамбург, 2006



Ректор Тбилисского Государственного Университета
имени И. Джавахишвили Ройн Метревели вручает
Светлане Червонной диплом Почетного доктора
(Doctor Honoris Causa) этого Университета, Тбилиси, 1996



В исследовательском центре современного пантюркизма,
Медресе (Университет) Мехмеда Эфенди. Профессор Язган Туран,
Светлана Червонная, Лейсан Шахин, Стамбул, 2002



В доме хранителя архива Джафера Сейдамета. Светлана Червонная, Исмаил Отар. Стамбул (азиатская часть города), 2003



В горах Испании. Директор Института европейской культуры в Памплоне Эррико Банус, Светлана Червонная. Восточная Испания, 2000



На Канарских островах в сопровождении попугаев,
Канары, 1999



В Европарламенте. Эрик Кудусов, Светлана Червонная. Брюссель, 2000



На Шестом Всемирном Конгрессе исследователей
Центральной и Восточной Европы, Хельсинки, 1 августа 2000 года.
Слева направо: Кузьма Куликов (Ижевск), Светлана Червонная
(Москва), Петер Хилькес (Мюнхен). Август 2000



Делегация немецких ученых в Крыму. Справа профессор Адольф Хампель, рядом с ним Светлана Червонная. Крым, Евпатория, 2003



В Институте «Наука и политика», в Президиуме конференции, посвященной защите прав народов России. Справа налево профессор Барбара Кельнер-Хайнкеле (директор Института тюркологии в Свободном Берлинском Университете); Уво Хальбах – научный сотрудник берлинского Института «Наука и политика»; Мустафа Джемилев – Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, Народный депутат Верховной Рады Украины; Светлана Червонная, Берлин, 2003



Делегаты Всемирного литовского конгресса в Замке Ромува –
центре литовской культуры в Германии. Германия, Лампертгейм,
Хюттенфельд, июль, 1999



В Центре литовской культуры в Германии на ежегодном
конгрессе Института литовской культуры. Справа Герхард Лепа –
председатель прусского Общества «Толкмита».
Лампертгейм, Хюттенфельд, 2012



Во Фрайбурге на 13-м конгрессе Германского Общества исследований Ближнего Востока. Светлана Червонная, Рафик Мухаметшин (Казань). Германия, Фрайбург, сентябрь, 2003



В Университете города Гвадалахары, под фресками Сикейроса. Мексика, Гвадалахара, сентябрь, 2008



На западном берегу Атлантического океана. Мексика, 2008



Литовские и крымские татары с Президентом Польской Республики Брониславом Коморовским в день открытия памятника татарскому улану в Польше, Гданьск, 2010



Делегация крымских татар в Германии. справа налево:
Али Хамзин, Мустафа Джемилев Светлана Червонная... Берлин, 2011



«Татарская юрта» – центр культуры литовских татар,
Польша, Крушиняны, 2017



Перед деревянной мечетью литовских татар. Литва, посёлок Сорок Татар, июнь, 2018



На конференции, посвященной истории и культуре литовских татар в Вильнюсском университете. В верхнем ряду стоят Томас Блащчик (пятый слева), Станислав Дубин (шестой слева), Гжегож Червинский (седьмой слева; во втором сверху ряду стоят Светлана Червонная (первая слева), Галина Мишкенене (пятая слева), сидят за столом Иоанна Кульчинская-Каминская, Чеслав Лапич (третий слева).
Вильнюс, июнь, 2018



На мосту, ведущему к замку. Литва, Тракай, 2019



Робертас Антинис Младший, Светлана Червоная,
Дайва Антините. Через 60 лет после первого знакомства
в Паланге. Литва, Каунас, 2017



Светлана Червонная в Анкаре на Всемирном конгрессе исследователей турецкого искусства. Август, 2019



Светлана Червонная и Анджей Дрозд – участники Всемирного Конгресса исследователей турецкого искусства. Анкара, август, 2019



С Мустафой Джемилевым в Варшаве, лето 2014 года.
Крым потерян, но высокая премия польского правительства
получена и надежды на освобождение Крыма остались. Варшава, 2014



Светлана Червонная в окружении шейхов и королей
Объединенных Арабских Эмиратов. Бурж Араб, Дубай, 2012

Червонная Светлана Михайловна

**СВЕТОТЕНИ МИНУВШЕГО ВЕКА
CV (Curriculum Vitae)
на смутном политическом фоне**

Книга печатается в авторской редакции

Чебоксары, 2020 г.

Компьютерная верстка *Е.В. Кузнецова*
Дизайн обложки *Н.В. Фирсова*

Подписано в печать 21.10.2020 г.

Дата выхода издания в свет 06.11.2020 г.

Формат 60х90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Times. Усл. печ. л. 23,25. Заказ 1834. Тираж 500 экз.

Издательский дом «Среда»
428005, Чебоксары, Гражданская, 75, офис 12
+7 (8352) 655-731
info@phsreda.com
<https://phsreda.com>

Отпечатано в ООО «Типография «Перфектум»
428000, Чебоксары, ул. К. Маркса, 52